

**НОВЫЙ
Журнал**

151

**THE NEW
REVIEW**

THE
NEW REVIEW
Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль

*С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Г. Андреев, Л. Ржевский*

Сорок второй год издания

РЕДАКЦИЯ: РОМАН ГУЛЬ И Е. Л. МАГЕРОВСКИЙ
СЕКРЕТАРЬ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW. JUNE 1983

Quarterly No. 151
2700 Broadway, New York, N. Y. 10025
Subscription Price \$24 — for one year
Publisher New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Ю. Кашкаров</i> — Егорьевск	5
<i>О. Анстей</i> — Три стихотворения	27
<i>Ю. Иваск</i> — Внуку	29
<i>В. Писарев</i> — Кизиловое дерево (окончание)	30
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	65
<i>В. Филип</i> — Тема бегства у Василия Аксенова	68
<i>И. Елагин</i> — Стихи	75
<i>Восемь американских поэтов.</i> Переводы <i>А. Радашкевича</i>	76
<i>А. Опельский</i> — Лев Толстой в работе над агнографической литературой	84
<i>А. Иванов</i> — Судьба перстня-талисмана <i>А. С. Пушкина</i>	103

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>М. Шапиро</i> — Женский концлагерь	116
<i>С. Пушкарев</i> — О русской эмиграции в Праге	138
<i>Б. Павлов</i> — Воспоминания Ди-Пи	147
<i>М. Гольдштейн</i> — Мемуары двадцатилетнего музыканта	164
<i>М. Волошин</i> — Воспоминания о Черубине де Габриак (Публикация <i>А. Тюрина</i>)	188

ПАМЯТИ УШЕДШИХ. БОРИС НАРЦИССОВ

<i>Т. Фесенко</i> — Памяти друга	209
<i>О. Анстей</i> — Мастер и Они	215

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

<i>А. Федосеев</i> — Что хочет и чего не может Андропов?	222
<i>Д. Штурман</i> — Социализм и иерархия	243
<i>И. Белоусович</i> — Русская Православная Церковь в СССР	255
<i>Н. Ивлюшкин</i> — Обращение ко всем христианам	273
<i>Соглашение достигнуто.</i> Из истории советско-германских отношений. (Публикация <i>Ю. Фельштинского</i>)	276

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Охота на эмигрантов. — *В. Южин* — О ген. Б. А. Штейфоне 288

БИБЛИОГРАФИЯ

С. Голлербах — Записки Русской Академической группы в США, т. 15;
Р. Петнев — Новое об иконостасе; *А. Сумеркин* — Русско-немецкий
"Крысолов"; *Ю. Троль* — "Кролики и улавы" Фазилья Искандера 290

ЕГОРЬЕВСК

Егорьевск. Город как город. "Посад, а в нем церковь, Стратотерпец Егорий, Что За Лавками". Красная кирпичная гимназия, куда ходили кузины. Они были чернявые, смешливые, бойкие, совсем большие. Городской Сад — он же Сад Трезвости: летом — гулянье и духовой оркестр Моршанского Пехотного полка, а зимой — каток. Тихая русская, затянутая ряской речушка. Поздней весной там под желтыми кувшинками вдохновенно пели лягушки и блестела на солнце выметанная ими в камышах икра. Под горой, за Хлудовской мануфактурой, за базаром, где, среди прочего, торговали расписными подносами, — круглый год теплый пруд. Женский монастырек — просто так, безо всякой древней истории. С толстой игуменьей, страдавшей водянкой. С переросшими бальзаминами в окнах келий. Там пахло иссопом, петрушкой, укропом, ладаном, базиликом, свежими коврижками, старым женским телом, и в жару угощали — он это помнил — квасом, сладким, терпким, чуть хмельным.

На площади за пузатым белым собором — Бардыгинские дома покоем. Напротив собора, у ресторана "Париж", всегда томилась две извозчичьи пролетки. Высокий ресторанный зал расписан бледными водорослями и бледными девицами в развевающихся кисеях с венками из лилий на свободных волосах...

Городок как городок. Воспоминание торговых рядов, запаха канифоли, дегтярного мыла, приказчиков в полосатых жилетках и с цепочками, пьющих бесконечный чай в прохладном сумраке лавок. Красная пожарная каланча. Воображаемая шарманка: "Разлука ты, разлука, чужая сторона". А может, шарманка была позже, в Москве? Или в Рязани?

Михаил Георгиевич Тиньков едет на могилу матери. У него рак. Золотое обручальное кольцо не держится, норовит упасть с

безымянного пальца левой, тоже исхудавшей руки. Он зачем-то дорожит этим кольцом, хотя нигде, никогда, ни с кем не был обвенчан. Дома, в чужой Риге, у него советская жена, армянская жадная женщина с крупным носом, злыми волосами цвета воронова крыла, в меру полная, — и квартира, чужая немецкая квартира, которую он ей скоро оставит со всем тем, тоже чужим, что там нашел в 44-ом году, что ненавидел и крушил по-пьянке, среди чего так долго задыхался, а теперь, вдруг, незадолго перед смертью и семидесятилетием обнаружив, что бежать — некуда, — почти научился беречь и лелеять.

Полупустая электричка тянется к Воскресенску медленно, тяжело. На соседней лавочке вкусная русая женщина — в прежние времена он, быть может, за нею бы и приударил — рассказывает своей подруге нескончаемые истории, то и дело украдкой поглядывая в его сторону. Ее речь, как и весь облик, тепла и кругла.

— ... Пришел, пьяненький. Подпил, ох подпил, на ногах едва держится. Я ему говорю: "Ах, Паша, опомнись, полно, брось чудить. Мы ведь с тобой стареем, а совсем скоро начнем и угасать. Ты посмотри на свои глаза. Хочешь, сейчас зеркало принесу? У тебя глаза художника... абстракциониста... Я что, я ничего, я тебя и такого жалею, потому что люблю. Ты же знаешь, я натура возвышенная..."

Наискось, через проход, на полосатых коленях косоглазого парня надсадно хрипит магнитофонный Высоцкий. Над головами рассеянных там и сям по вагону старух болтаются тяжелые авоськи с апельсинами, хлебом, отрезами любительской, начиненной соей и горохом, колбасы. За окном — серенький, ненастный пейзаж, какой бывает под Москвой холодной поздней весной. Зелень совсем свежа, но страшно неуютна.

Опять накатывает прилив слабости, дурноты. Михаил Георгиевич обильно потеет, у него кружится голова. Он закрывает глаза и погружается в полусон, полузабытьё.

Видит себя маленьким мальчиком, оставленным у дяди Лели в этом вот Егорьевске. Его родители уехали на месяц в Париж. С ним возятся две его старшие кузины, вздорные и добрые, и курочка Анисья.

Вот он просыпается утром, мокрый в своей постели. В

отчаянии от случившейся опять слабости, громко и безнадежно плачет. Прибегают кузины-подростки, смеются, утешают:

— Ты ведь еще маленький, Миша. Это ничего, это бывает, это извинительно.

Он не унимается, хнычет и, сильно картавя, просит кузин:

— Стаггухе Анисье не говоггите! Засмеет стаггуха!

Ох уж это дворянское "р"! Сколько труда ему потом стоило от него избавиться! Как и от свидетельства о рождении.

Вот они идут через Соборную площадь в баню, на Хлудовскую фабрику. Тетка, Марья Александровна, сырая седая женщина с большими, печальными, всегда удивленными карими глазами, кузины-гимназистки, и он, Миша, косолапый, в матроске и шапочке с красным помпоном. В бане он страшно страдает оттого, что женщины его не стесняются. Вчера был мужской день, но ему не с кем было пойти: дядя Леля на охоте, а кучер Андрей был мертвецки пьян, спал весь день во дворе под телегой.

В парной краснотелые тугие работницы поддают пивка на шипящие угли.

— Еще поддай, не желей! — кричит с верхней полки крупная, веселая баба. — Дух покеда тяжелый. Не уходит. Больно мужиками пахнет!

Она самозабвенно хлещет себя веником, то и дело ныряя головой в шайку с холодной водой. Еле дыша от жара, Миша ползет вверх, подкрадывается к ней, маленькой своей с узким запястьем дворянской детской ладошкой шлепает по вислomu бабьему заду и кричит слова, которым его научил кучер Андрей —

— Тггевога, левки! Пожахх! Полиция!

Электричка долго стоит в Раменском. Говорливой соседке Михаила Георгиевича кажется душно, она опускает оконную раму, и в вагон врывается тревожащий запах весенней гнильцы.

— Родительская была... А я ни на кладбище, ни в церковь... Ах, Тоня, Тоня, нехорошо мы живем, суматошно. А какая такая Неделя о Блудном Сыне? И когда?...

В вагон входят две женщины, молодая и старая. Садятся против Михаила Георгиевича.

— Слава Богу, успели. Теперь скоро будем дома, — говорит старая, надевая на нос висевшее на шнурке пенснэ, и достает из сумки книгу "Русская природа в русской поэзии". В руках у молодой только что распутившиеся веточки березы. Она смотрит в грязное, заляпанное окно. Говорит почти забытым Михаилом Георгиевичем старинным московским говором:

— Вот, мама, и еще одна весна, вместе... Дожили, слава Богу.

Михаил Георгиевич присматривается — у дочери сетка морщин вокруг печальных серых глаз, заметный горб. "Ба, старая девушка!" — как это он сразу не узнал!

По платформе с оглушительным ревом носятся два юных мотоциклиста.

— Пожалуй, лучше закрыть окно, Наташа, — нерешительно говорит старшая, вопросительно посматривая на соседей. — Вы не против?

Горбатенькая встает на цыпочки, пытаясь поднять заклинившуюся раму. Говорунья с подругой уходят в тамбур — то ли они против, то ли готовятся выходить.

— Позвольте, я вам помогу. — Михаил Георгиевич напрягается изо всех сил. "Умереть бы сейчас, что ли". Рама нехотя поддается. С его лба градом катится пот. Он заметно бледнеет. С пальца соскакивает кольцо, со слабым треньканьем убегает под сиденье.

— Ах, Наташа, пожалуйста, подними скорее, — волнуется старая дама. — Вам что, нехорошо? Сердце? Может, валидолу? — Она озабоченно смотрит на Михаила Георгиевича поверх пенснэ.

— Черт, привязалась хвороба. Поздно, уже ничто не поможет.

Чтобы переменить разговор, Михаил Георгиевич кивает в сторону мотоциклистов:

— С мотоциклами они теперь, наши пролетарии...

— Замечательно, не правда ли? — радостно откликается старая дама. — Социальный прогресс. Могли ли их отцы...

— Прогресс чего? — кривится Михаил Георгиевич. — Пролетарию, ему надо на речке сидеть. С удочкой.

— Ах, правда?! Вероятно... Но согласитесь, они прежде

жили ужасно! Вы — молодой человек, может и не помните. А я... Вы что, родом из Москвы?

— Когда-то, — неопределенно откликается Михаил Георгиевич. — Теперь таких, как я, в Москве, наверное, и не осталось. Теперь одних только татар в Москве пропасть, как при Батые. Не говоря о прочих.

— Ах, правда, — кивает старая дама. — Но ведь татары и прежде в Москве жили. Половые, старьевщики. Не в таком числе, конечно. Помнишь, Наташа, очаровательного татарского князя, Алим Абдулыча? Боже, какой был живописный старьевщик!

— Теперь бери выше! — усмехается Михаил Георгиевич. — Подались в дипломаты Алим Абдулычи... из дворников. Зимой — в столице! — через сугробы не перелезешь, летом — грязь, пыль, безобразия. Вот при Сталине...

— Мы тоже когда-то жили в Москве, — вступает в разговор старая девушка. У нее виноватая, милая улыбка. А потом застряли тут, на даче, в Березках. Отсюда третья остановка. Уже лет сорок.

— Лишенцы? — быстро спрашивает Михаил Георгиевич.

Мать и дочь заметно смущаются.

— А знаете, я ничуть не жалею, — находится старая дама. — Все что ни делается, к лучшему. С этим безумным развитием техники... В городе стало положительно нечем дышать... Я до пенсии работала в детском саду. А дочь — в библиотеке... Вы знакомы с трудами Фребеля? Ах, нет? Как жаль! Он, разумеется, сейчас непопулярен. Как жаль, что вы не знаете Фребеля! У вас что, есть дети? Как вы их воспитывали? По этому, как его, доктору Споку?

— У меня — сын, — угрюмо отвечает Михаил Георгиевич. — Плавает у Кубы на подводной лодке. сторожит черт знает кого. Никто его не воспитывал. Оренбургский волк его воспитывал. И моя жена-армянка. У него только пятки в меня, а так — весь в мать.

Электричка, наконец, трогается, набирает скорость.

— У нас в Березках — замечательно! Скоро запоют соловьи. Зацветет сирень. Будет молодой салат, — говорит старая девушка. — Пожалуйста, приезжайте, будем очень рады!

— Ах, пожалуйста, приезжайте, — подхватывает старая дама. — Ведь вокруг нас забываемая русская природа. Не за горами — солнечные дни. Как это у Плещеева — “Вот и гроза прошла, и небо просветлело, приветно солнышко на Божий мир глядит”.

— Спасибо на добром слове. Нет уж, отъездился! — слабо машет исхудавшей рукой Михаил Георгиевич. — Хорошо еще, если до материнской могилы доберусь, это скоро, тут же под Егорьевском. Ослаб я очень.

Женщины готовятся выходить. Вагон бросает из стороны в сторону. Старая девушка пропускает вперед мать, бережно ее поддерживая за локоть.

— Мама, пожалуйста, будьте осторожнее, не оступитесь. Вы вечно всюду спешите, — просит дочь.

— Ах, оставь, мой друг, я еще не так безнадежно стара.

Михаилу Георгиевичу становится стыдно своей неприветливости, неразговорчивости. На прощанье ему хочется сказать женщинам что-нибудь приятное.

— Вы похожи на мою мать, — говорит он старой даме, почти не привирая. И вдруг, неожиданно для самого себя, добавляет тихо: — Храни вас Бог. — И сам удивляется последним своим словам, которых не слышал от себя лет уже с шестьдесят.

Остаток пути Михаил Георгиевич сидит, снова закрыв глаза. Видит мать — худую чахоточную женщину, скуластую и горбоносую, в таком же, как у старой дамы, пенснэ. Мать расчесывает на террасе длинным гребнем золотистых колли и обещает Мише связать из их шерсти шарф.

Видит материнское лицо в гробу, между жарких, трещащих свечей. В воздухе — сладкий аромат тлена, едва уловимые запахи березы и белой, только начавшей лопаться сирени.

На церковном дворе под цветущей черемухой сидит молоденькая няня Поля. У нее на коленях Катя, маленькая Мишина сестричка, пухлощекая, черноглазая; в коляске — бледный братик Митенька, уже с месяц страдающий кровавым поносом, а на земле, свесив шершавые розовые языки набок и истекая слюной, колли — Кинг и Кэнди.

— Отошла панихида-то? — спрашивает Поля. — Прикладываются, Мишанька?

Пггикладываются, — важно отвечает Миша. — Ты иди в церковь, Поля, я с ними посижу.

Теперь он чувствует себя и, правда, большим, облеченным ответственностью. А ему самому в церковь больше не хочется. Материнское мертвое тело ему, как чужое, и он сейчас искренно не помнит, что любил ее.

Знойное, страшное лето переваливает за половину. У забора белые мелкие цветы могучей крапивы. Жужжат злые зеленые мухи. Всего два месяца прошло, а вот, уже умер и Митенька; их выселяют из старого прадедовского дома. Миша затаился в малиннике, среди солнечных бликов и жирных, переспелых, опадающих от легкого прикосновения ягод. Ему кажется, что он надежно спрятался, что его здесь не найдут, оставят, не возьмут в Москву.

Под забором, в дальнем углу валяется дохлая кошка Машка с мелкими зубами в страдальческом оскале и для развлечения вспоротым красноармейским штыком животом, полным белых, деловитых червей. Он ее очень любил когда-то, эту теплую кошку, брал с собой в постель, крестил и потом хоронил в углу сада ее котят под самодельными крестами. А теперь она ему тоже странно безразлична. "Вот она какая бывает, смеххть" — говорит вслух Миша и пробует языком приятную прохладу еще нескольких ароматных малиновых ягод.

Всего несколько минут. А сколько прошлой жизни. Того, о чем не хотелось, или было некогда вспоминать.

Бегство из Дмитровского Погоста. Услышав впереди топот, отец, верхом на лошади, круто забирает в лес. За ним трусит легавая, Флейта.

— Смотри, Мишка, не выдай! Ты теперь большой! — просит отец на прощанье и исчезает в лесу.

— Куда это поехал папа? — вертит во все стороны головой Катя. Она собирается заплакать. На подводе набросано сено, а под сеном свернутые в трубку холсты — Ван Дейк и наивные портреты прашуров в париках и камзолах.

— Не веггти головой, дура! И говогги по-ггуски! — бранит Миша сестренку. Он по-хозяйски забирает в маленькие кулачки вожжи и важно оттопыривает узкую нижнюю губу.

Красноармейцы беззлобно проезжают мимо их подводы —
— Не заблудитесь, мальцы! Вечереет!

За поворотом дороги, из березняка, наконец, появляется Флейта, потом и сам отец.

— Слава Богу, пронесло! Ты у меня, Миша, молодец!

Москва с разобранными заборами, порубленными садами. Ржавеющие купола церквей, из-под которых уже начинают прорастать первые березы. Пробивающаяся сквозь треснувшие или выломанные мостовые трава. Люди в старье и люди в коже с чужим, странным, незнакомым говором. Много красного цвета. Ободранные трамваи.

Катю кухни увезли на юг. Они с отцом одни. Миша ходит в трудовую школу, а отец — на службу, в какую-то бухгалтерию. Вечерами в их комнату, часть бывшей залы, разгороженной жидкой фанерной стенкой, просачиваются странные люди, с новыми, незнакомыми Мише доселе именами, жирными пальцами в чужих кольцах и с жирными затылками. Графиня Грабовская в накинутом на плечи старом драповом мужском пальто разливает чай. Чайник прохудился, на егорьевском подносе всегда стоит лужица.

— Черт! — громко вздыхает отец. — Неудобно, а где прикажете залудить в этой Содоме и Гоморре?

Графиня живет комиссионными, но плохо, не преуспевает. К жирным новым людям с плюющей речью мало-помалу уплывает фамильное серебро, какие-то миниатюры, бабушкины и материнские драгоценности. Ван Дейк бережется до поры на полатях, среди полуистлевших обоев, а деревенские портреты прашуров не имеют успеха.

— Нам бы Маковского, Константина. Семирадского, что ли. Ну, на худой конец, Гогенчика какого-нибудь, — вздыхают нэпманы.

Графиня обычно молчит. У нее вечно обиженное выражение лица. От скуки Миша разглядывает ее горбоносый профиль и вдруг зорким своим детским глазом замечает жирную вшу, балансирующую над графининым бледным высоким лбом, на самом кончике седого волоса.

— Гафиня, вша! — радостно кричит Миша.

Всем страшно неловко. Графиня краснеет, молчит и удаля-

ется в давно бездействующую ванную комнату — там висит пол-зеркала — ловить, наверное, вшу.

Только раз, перед пролетарским весенним праздником, графиня нарушает привычное молчание. Она появляется одна, оживленная весной и надеждами, и сообщает отцу, думая, что говорит шопотом:

— Сегодня опять вывесили красные тряпки, но, верьте моему слову, Жорж, птички скоро улетят!

— Черта с два! — роняет отец. — Как вы это знаете?

— Мне был провизуарный сон-н, — томно говорит графиня и кокетливо делает отцу ручкой в дырявой кружевной перчатке. О ревуар, Жорж!

— Ну и дура! — жалеет отец, запирая за графией дверь. К ее родословной, да ей бы хоть немного ума...

Через месяц Миша с отцом сидят в приемной Новинской тюрьмы. Они пришли навестить графиню, взятую заложницей.

— Виноват-с, позднеенько пришли-с, — потупясь, говорит вышедший, наконец, к ним старый тюремный смотритель. — Некому передать... —

— Ну, все равно кому, — досадливо отмахивается отец, протягивая узелок с хлебом и двумя тощими воблами. — ...На помин, что ли... Нишим...

Первый раз в жизни отец покупает "Известия", брезгливо разворачивает серую, в занозах, бумагу, держа газету самыми кончиками пальцев. Читает вслух список расстрелянных —

— Вот тут и наша дура. Кабы был верующий, сказал бы ей царствие небесное. А так что, все сгнием.

Натыкается еще на одно знакомое имя:

— А этого за что? Ну да, конечно, французенку держал. Шпион.

На школьной сцене, под Троцким и Лениным, два испуганных лысых трубача и старая скрипачка в бархатном пыльном казакине играют Интернационал. На середину сцены выскакивает вдруг "старый" пионер, вожатый Толя Петров и повелительным жестом останавливает музыкантов. Он маленький, как Наполеон, и потому ему удобнее говорить с табуретки.

— Мы — новые люди, ребята! Нам нужно перестраивать страну! А для этого мы должны переменить себя, снять старую

кожу, стать настоящими большевиками! Попы нас крестили. Дали имена — Терешка, Марфушка, Митрошка. Мы больше таких имен не хотим!

— Долой имена! — радостно вопит зал и стучит ногами.

По углам испуганно таятся учителя — два Ивана Ивановича в пенснэ и с бородками клинышком, Генриетта Карловна (теперь вместо французского преподает труд) и седая, полная Олимпиада Семеновна, дочь соборного протопопа с Заяузья, преподавательница русского и литературы.

— Долой, к черту! — бушует зал. Толя Петров жестом останавливает шум.

— Слушайте, с сегодняшнего дня я больше не Толя, а — Набат! Долой имена, данные нам Богом и попом!

Бурные детские аплодисменты. Свист, рев. Музыканты с перепугу играют на всякий случай туш. Олимпиада Семеновна краснеет — она стоит неподалеку от Миши, — судорожно комкает в руках муслиновый платочек.

Теперь на сцене появляется Лиза, дочь совторгслужащего из Денежного переулка, Мишина соседка, тоже вожатая, белокурая и крепкая девушка. Она ставит перед собой ведро воды, подернутой сизой пленкой. Лиза — высокая, ей табуретка не нужна. Она давно нравится Мише, но ему стыдно признаться ей. В руках у Лизы "Спутник пионера".

— Пацаны! — Она тоже умеет повелительно говорить. — Я больше не Лиза, а Коммунара!

Ладонью она зачерпывает воды из ведра, льет на свои коротко стриженные светлые волосы, оттирает руку о платье и, обращившись к портретам Ленина и Троцкого, отдает им пионерский салют.

Выглядев в первом ряду маленького татарчонка, Лиза повелевает:

— Ахмед! Марш на сцену! Живо!

Стриженный наголо, веснушчатый, в непомерно широких штанах Ахмед покорно встает и пытается протиснуться в узком проходе к ведущей на сцену лесенке. Ему дают подножки, он несколько раз падает. Наконец, его дружно подсаживают и он, миная лесенку, на четвереньках вползает на сцену.

— Встань, Ахмед! Пролетариат должен разогнуться!

велит Лиза. — Подойди!

Она кропит его водой из ведра и ныряет носом в "Спутник пионера":

— Вот что, товарищ Ахмед, с сегодняшнего часа ты будешь называться Гео, что значит Земля!

Одиннадцатилетний Ахмед громко ревет. По его рыжим веснушатым щекам текут крупные слезы.

Дома Миша требует, чтобы отец называл его теперь "Маггленом".

— Марлен?! Что это такое? — изумляется отец, брезгливо поднимая бровь. — Какое-то собачье имя? У меня сеттер был, по верху брал ничего. Так его хоть звали прилично — Марс.

Отцу сейчас не до Миши. У него бурный роман с Павлой Богдановной, женой соседа, бывшего присяжного поверенного, живущего за фанерной перегородкой в другой половине залы. Отец страшно страдает — особенно когда из-за тонкой фанеры слышно, как присяжный поверенный отправляет свои супружеские обязанности. Тогда отец встает с постели и, босоногий, ходит из угла в угол, ероша свои сильно поседевшие за последний год волосы. Миша любопытно следит за отцом, высунув глаз из-под одеяла — "Что-то будет?".

Наутро Павла появляется на общей кухне со своим примусом и, виновато опуская глаза, шепчет отцу, обжигающемуся ледяной водой у ржавого умывальника — "Простите, Юрий Николаевич, что поделаешь, я не хочу... Но у него все права...".

— Я его убью! — заходится отец в бессильном дворянском гневе и хлопает дверью — он, как всегда, опаздывает на службу.

Миша чувствует себя забытым, никому не нужным. Ему хочется убежать из дому, уехать далеко, а пока он проводит все дни в своей трудовой школе или на улице.

— Опять болтался в своем обезьяннике? — безразлично осведомляется вечерами отец и возвращается к чтению "Князя Серебряного" или Данилевского.

Осенью, наконец, Мише удается поговорить с Лизой по душам. Они идут по Зубовскому бульвару, моросит мелкий теплый дождь, пахнет мокрым старым листом, и хочется жить, как никогда. Миша только что признался Лизе, что давно ее любит. Это далось нелегко. Перед тем они долго обсуждали дела дру-

жины, "Зойкину квартиру", ели мороженое, просто молчали.

— Я всецело голосую за свободные отношения полов! — категорически говорит Лиза. — Брак — это глупость, отживший классовый институт.

Значит, Лиза его не отвергла, и он готов ради нее на все.

— Тебе, Марлен, абсолютно необходимо порвать с разлагающим влиянием реакционной семейной среды, — учит Лиза. Она останавливается, морщит высокий лоб, сдвигает на затылок мужскую фуражку с красной звездой.

— Эти люди, твой отец, например, — они свое отжили. В целом, я против левацких загибов в деле разрыва с родителями. Но в твоем случае с ними надо прямо и решительно порвать — раз и навсегда! — И вдруг Лизу осеняет. Она хлопает себя по лбу:

Знаешь что ? Айда в Ташкент! К моей старшей сестре!

Вставай, батя! Приехали! Ты как, ничего? Может, скорую вызвать? — Вагон пуст. Над Михаилом Георгиевичем склонился парень с магнитофоном. У него озабоченное лицо.

Только что Михаил Георгиевич млеет перед горами арбузов и душистых чарджуйских дынь, ел мясистые терпкие помидоры, видел трепет серебристых тополей, слышал вой муздына в Старом городе, продавал за червонец на Алайском базаре украденного с полатей в Денежном переулке в Москве Ван Дейка, и в него обильно плюнул презрительно прошеествовавший мимо вислогубый верблюд.

— Куда тебе, батя? В Егорьевск? Постой, я тебя посажу в автобус. Чего доброго, откинешь сандалины посреди площади. Я на тебя, доходяга, всю дорогу смотрю. Кончаешься ты, что ли?

Михаил Георгиевич окончательно приходит в себя. Он жалеет, что поехал так далеко, не рассчитал своих сил. Парень повелительно разрезает толпу, штурмующую автобус с обеих площадок — "Граждане, несознательные, дайте сесть заслуженному ветерану! Слепые, что ли, — папаше плохо".

Посадив Михаила Георгиевича, парень по-военному берет под козырек:

— Если что, пиши!

Узкоколейка, некогда ведшая в Егорьевск, заросла травой,

шпалы повыпали и вдруг круто прерываются у незнакомого Михаилу Георгиевичу серого двухэтажного скучного дома. На этом месте, он вдруг ясно вспомнил, стояла деревянная станция затейливой резьбы, где их с отцом столько раз ждали кузины и тетка. Красный, тряпичный, еще не успевший вылинять лозунг "Ленин и теперь живет всех живых!" действует вдруг на Михаила Георгиевича раздражающе.

— Вот, поди же, сволочь, упырь! — сплевывает Михаил Георгиевич в сторону.

Но он уже душевно обмяк и ему все равно. Впереди больше не будет ни повышений по службе, ни подписок на заем, ни партсобраний, ни сплетен сослуживцев по министерству, ни распределения путевок к профкоме, ни обысков чужих квартир («Говорите по-русски, сволочи!»), ни животного страха перед женой, когда она, в пылу очередного скандала, кричит: "Погоди, дворянский сын! Я тебя выведу на чистую воду! Пусть все узнают, кто ты такой!".

"А что будет впереди? А ничего не будет. Зарюют тихо в рижский песок. Хорошо еще, если жена похоронит, как есть, не сожжет. Смотри по тому, что ей выйдет дешевле. К отцу бы под бочок, на Ваганьковское. Или к матери и Митеньке здесь, под Егорьевском".

Ему немного грустно своей оставленности, жалко себя, но это не прежняя раздражительная обида, а спокойная, почти примиренная грусть. "Печаль моя светла, мне грустно и легко", — вспоминает Михаил Георгиевич забытые в суете зрелых лет стихи. И вздыхает. "Все мы кем-то сегодня преданы. Погодой — вон, дождь не унимается, хлещет. Природой, воспитанием, судьбой. Собой".

В приземистой Егорьевской гостинице стоит робкий запах мышей, сырого белья, кислой капусты. Толстая женщина в синем халате устало вылезает из-под чахлой пальмы и портрета Брежнева и, тяжело переваливаясь на отекавших слабых ногах, идет показывать Михаилу Георгиевичу его номер люкс.

В номере на плюшевой зеленой скатерти — графин мутной желтой воды и два тонких стакана. В углу висит черный, покрывшийся паутиной диск радио. Он такого не видел давно, отвык. Михаил Георгиевич закрывает за собой дверь и ложится под Пе-

ровскими "Охотниками на привале", как пришел — в сапогах и плаще, бросив в кресло без ручки спортивную сумку сына.

Оглушительная тишина действует рассеивающе, мешает сосредоточиться на болезни. В безразличную дремоту ключьями ползут обрывки памяти. "Садись, Юша, поврем, — говорит отцу дядя Леля. — Если бы не было воспоминаний, мы бы всякий день начинали новую жизнь. Маше нынче очень удалась наливка". И начинаются бесконечные охотничьи истории.

У обоих, отца и дяди — желтые янтарные мундштуки, одинаковые бисерные кисеты... А тетя Маша любила венецианское, расписанное золотом стекло... Какие там были собаки, в будках, на дворе — Флейта, Затейка, Громобой, Фрина... Да, как же он забыл, — в старой бане — Бушуй. Он любил с ними возиться, играть с их шенятами. Приходил домой, полный блох. Няня собирала их на нем, бросала в печь, а когда было далеко — в горшок. Он страшно огорчался, ревел: "Не тггогай! Они тоже жить х-о-о-чут!".

Почему вспоминается это, а не то долгое, недавнее, длинное, как египетская казнь — пьянки, грубость, френчи, команды, жесткие лица, к которым пришлось долго привыкать, ночная работа, мат, рапорты и отчеты, женщины из тех, кого он любил за их уязвимость и другие, помыкавшие им; дурные вопли ташкентского павлина, у которого ошалевшие от водки гости-энкеведисты вырывали для развлечения перья, норовя вставить своим подругам в причинное место; уход Лизы к комбригу Абдулову; облавы на басмачей; просвещение темных мусульманок; устройство детских домов для беспризорных; и опять ночная работа (нет, он сам никого не убивал!), и опять — пьянки, и опять — нескончаемая — и до сегодня — ложь.

Как хорошо, что время так возвращается неожиданно. Что вдруг можно схватить за хвост эту птицу — детство. Вдруг запахнет до обморока знакомым ароматом бабушкиных пачулей, теплыми бубликами из Козловского переулка, во рту окажется сладость марципанов от Трамбле, и ты опять полон детскими невинными тревогами.

Бабушка опять приехала из имения на Пасху в Егорьевск. В Страстной Четверг он стоит с нею в церкви Воскресения Словущего, барочной, затейливой церкви. Его разморил жар свечей

вокруг и монотонное чтение первых длинных евангелий. Он то и дело роняет голову, засыпая. Очнувшись, вздрагивает, боится закапать воском муслиновое старинное бабушкино платье. Бабушка нет-нет, да и наклонится к нему, поправит свечу в его розовых пальчиках, в который раз шепнет: "Уже немного осталось, милый друг, потерпи. Теперь пойдет быстрее". На "Разбойнике" бабушка не может удержаться от слез, гладит его русую голову: "Русачок мой, Мишанька! Соло-то какие, я просто дивуюсь! Грешные мы все, грешные".

Михаилу Георгиевичу хочется сейчас, тотчас же пойти к этой церкви. Откуда-то берутся силы встать и выйти на улицу. Да целали она? По дороге в гостиницу он уже заметил, что Бардыгинские дома выкрасили чужой, противной краской, на месте собора — сквер, в сквере бегают желтая, бездомная, должно быть, собака, и стоит маленький по размерам площади, неистребимый, крашенный злой серебристой краской Ленин.

В гостиничном дворе почему-то валяется ржавая сеялка, потерянно бродят жилистые куры и на залатанном ржавыми жестяными листами сортире крупная смелая надпись: "Фурцева — пицца". Сеет дождик. Сереет. Михаил Георгиевич идет по Московской улице, внимательно смотря под ноги. Ему не хочется увидеть новые пропажи. Он узнает старые, устроенные Городской Думой чугунные решетки, но стоявшие в их середине липы срубили и, наверное, давно: кое-где торчат почерневшие от времени пни, а кое-где под дождем мокнут чахлые молодые клены. Их почки сильно набухли, но еще не распустились. Он никогда не предполагал, что Московская — такая длинная улица.

Сад Трезвости теперь называется Парком культуры и отдыха имени Клары Цеткин. Облезшая за зиму, сиротская раковина сцены. И опять лозунг: "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!". Прошлогодний плакат на стене кассы — "Профессор иллюзии Михаил Ацтеков". Кусты бузины и боярышника в бледной, едва начинающейся легкой зелени. Под теплым дождем сильно пахнет недопревшим осенним листом. Он сидит на бетонной скамье, смотрит, как вылезают из-под старых листьев розовые черви, быстро отсыревает и ему страшно хочется выпить.

Что же, церкви Воскресения Слодушего, может, нет уже и в

помине. А идти туда еще далеко, порядочно. И что вспоминать? Прошлое ведь все равно с ним. И оно болезненно. Обременительно.

Ресторан "Париж" теперь называется "Цна". Бледные девы в развевающихся одеждах закрашены желтой больничной краской. На стенах висят какие-то вымпелы, "Три богатыря", "Мишки в сосновом лесу" и все те же "Охотники на привале". Войдя в зал, Михаил Георгиевич озирается в поисках места. Маленький, в следах оспы, небритый заскорузлый мужичок в телогрейке ласковым угрем подкатывается к Михаилу Георгиевичу.

— К нам, полковник! Ждем тебя, как царя! В автобусе тебя увидел, подумал: вот хороший человек! Пивом угостишь? Пиво у нас свое, егорьевское, без дураков, без воды...

Михаил Георгиевич пьет с ним и его приятелем, одноруким инвалидом, кружку за кружкой. Пиво и правда, хорошее. Он быстро пьянеет, жалуется на болезнь, на то, что еле доехал, что жена у него дрянь. Но и пьяным старается не говорить лишнего. Однорукий инвалид все больше умиляется, часто и невпопад спрашивает-хвалит:

— Так ты пердячим паром и доехал?! Вот это молодец! Вот это я люблю! Бабушка, говоришь, твоя тут жила? Труженица, небось, была. На медные гроши тебя растила... А ты вот из одной благодарности, на пердячем пару?! Вот это я люблю! Патриот своих родимых мест!

— Сиди тихо, клизма, и пей молча, когда угощают, — урезонивает рябой. Но и сам вдруг вдохновляется:

— Э-эх, мужички! Красоты какой-то хочется! Может, споем? Они поют, как могут, первые несколько слов "Позабыт-позаброшен", а больше не знают; опять пьют, ругают жен, жалеют свои загубленные кем-то жизни, хвалят военное время, хвалят Сталина и опять поют молодецкими, пьяными дурными голосами — "Когда б имел золотые горы и реки, полные вина".

Рябой мужичок провожает Михаила Георгиевича до гостиницы, норовит исповедаться, оправдаться в чем-то своем. Михаил Георгиевич и не прислушивается, так, обрывки чего-то —

— Злой я, говорят. Злой? Ну и что? Ведь если без злобы быть, так меня эдак любой комар нынче задавит...

Ночью ему снятся в очередь все его жены, кроме последней, и

он снова — так свежо — плачет над оставленным Лизой на плечиках в шкафу нелюбимым ее розовым платьем. И видит отца в кресле, больного, обложенного лекарствами и романами Крестовского, Мордовцева и Салиаса. Отец пробует поднять белую, с сильными голубыми жилами руку, и не может.

— Черт с ним, с Ван Дейком, — говорит отец. — Жизнь у тебя паскудная, вот что скверно. Шинель эта... Ну да не горюй. Переболеешь — к лучшему.

Понурившись, Михаил Георгиевич уходит, и на пороге слышит, как отец говорит ему на прощанье:

— Скоро увидимся, Мишка. Ты не бойся. Сон это. Радость.

Утром Михаил Георгиевич встает с чувством страшной легкости во всем теле. Похмелья нет, и боль, как будто, отпустила. Умываясь, обнаруживает, что потерял обручальное кольцо. Недолго ищет в постели, нехотя заглядывает под кровать, но не старается найти, потому что не помнит, было ли оно с ним, когда он вернулся в гостиницу. "Черт с ним, с кольцом, еще одним враньем меньше".

Принимая от него ключ, дежурная советует:

— Вы бы в музей зашли. Чучела там, портреты. Вообще, показывают, как прежние бары жили.

В чайной он с отвращением ест холодную яичницу, выуживает из бледного чая утонувшего таракана. День удивительно хорош, солнечен. Пожалуй, лучше сегодня съездить в Дмитровский Погост, кончить со всем этим, и "домой".

В честном провинциальном музее пусто и холодно. Запах нафталина и вымытых керосином полов. Несколько ампирных кресел, рескрипты Александра I его прадеду в Отечественную войну 12-го года, пыльные, слегка объединенные молью образцы местной фауны, диаграммы и фотомонтажи. Михаил Георгиевич бродит по залам в одиночестве. Узнает портрет этого самого прадеда, флигель-адъютанта, что висел у них в имении в круглой зале и почему-то назывался "Артемон". Бисерную коробочку бабушки. Но эти, давно забытые и теперь вновь увиденные вещи его не трогают — не радуют и не печалят. Он задерживается только у хлудовских ситчиков звонких, так и не полинявших за столько лет цветов и вспоминает летние платья кузин, точно такого же рисунка.

Сзади к нему неслышно подходит женщина в старой кофте, с

усталым лицом — смотрительница или сотрудница.

— Простите, вас, наверное, интересует этап первоначального развития капитализма в России? — спрашивает она, как ему кажется, виновато.

— Этап — чего? — Михаил Георгиевич не понимает. Он будто очнулся от сна. — Нет, спасибо. Так, кое-что вспомнил. Платье у моей матери было. Похожее.

— Теперь таких ситцев не делают, — понимающе вздыхает женщина. И называет себя: — Эстер Яковлевна, директор музея. Посетители у нас редки. Я подумала, быть может, вам нужны объяснения, я свободна.

Спасибо. Я уже все посмотрел. Да и времени нет. Давно вы здесь?

Пятнадцать лет. — У Эстер Яковлевны печальные библейские глаза, остатки восточной красоты. Михаил Георгиевич замечает дыру на локте ее старой кофты. — Осела здесь после реабилитации. А теперь и в партии восстановили... Я вас заметила, как будто интеллигентный человек. Если что интересует, с удовольствием объясню.

— Что же объяснять, объяснять нечего. Спасибо. Мне пора. Эстер Яковлевна провожает Михаила Георгиевича до выхода, по-мужски, крепко жмет его слабую руку.

"Ну вот, милая ты моя, увядшая саронская роза, — думает, шагая к автобусу, Михаил Георгиевич. — Вот и мы с тобой теперь в одной лодке. Стоило ли так стараться? Нам? Вам?"

Выйдя из автобуса в нескольких верстах от города, он недолго стоит на развилке, припоминая, и, узнав наконец, уверенно идет по старой булыжной дороге в сторону Дмитровского Погоста. Но его скоро подбирает молодой мотоциклист с коляской, —

— Садись, папаша, с ветерком подвезу.

Под жарким весенним солнцем синеют поля, во всю поют жаворонки, легкие облака нежны в звонкой голубизне неба. Мотоцикл у парня новенький, только что купленный, и Михаил Георгиевич предлагает такое дело обмыть. Они останавливаются в Смыкове, в совхозе, там когда-то и было бабушкино имение. Михаил Георгиевич узнает ворота парка, а за ними ничего нет: торчит какая-то каланча, должно быть, — водонапорная башня, кудахчут куры, из развороченной ямы фундамента старого дома

бурно лезут иван-чай, крапива и молодой чертополох. Он сидит у этих ворот в коляске, не хочет выходить, ждет, когда мотоциклист купит в сельпо водку, помадку и кильку и читает вдруг уцелевшую надпись на чугунной доске: "Сие созидали по милости Всевышнего князь Иван Петрович, да князь Матвей Петрович".

Потом они отъезжают, недалеко, с километр, к Рязанской границе и пьют Стрелецкую водку на сухом, в золотистой россыпи одуванчиков, первоцвета и медуницы пригорке. Мотоциклисту надо к теще, в Дмитровский Погост, и потому он совсем не спешит. Михаил Георгиевич рассказывает ему о войне, на которой никогда не был, о бабах.

Дмитровский Погост — село большое, целый поселок. Еще издали, с холма, виден знакомый силуэт церкви Дмитрия Солунского, теперь, конечно, без крестов. На площади — столовая, книжный магазин, библиотека — ее когда-то устраивала мать. Дома нет, еще один пустырь, но об этом он знал давно.

Михаил Георгиевич с трудом вылезает из коляски, разминает затекшие ноги. Сильно кружится голова — от солнца, от выпитой водки, от болезненной слабости.

У крыльца знакомого поповского дома — это теперь богадельня — сидят в креслах на колесиках два дурака с большими головами и тихо подвывают, растроганные весной. Михаил Георгиевич присаживается на лавочку рядом с выводком любопытных старух. Одна из них, как ему кажется, рассматривает его особенно пристально, и Михаилу Георгиевичу это неприятно. Спросит еще чего. К нему снова возвращается пережитый здесь пятидесятилетней давности страх, когда он, уже комсомольцем, приехал сюда на могилу матери, был узан и чуть не отправлен в ГПУ. Чтобы избыть страх, Михаил Георгиевич спрашивает у старух, хотя потеряться ему тут трудно:

— А какой путь до кладбища будет прямее, гражданочки?

— К Дмитрию-то Салынскому? — хором уточняют старухи.

Идиоты радостно мычат и пускают слюни. Старухи наперебой объясняют, и только одна, самая старая, голубоглазая, тихо спрашивает:

— К кому же вы в гости, добрый человек?

— Так, к знакомой одной, — уклончиво отвечает Михаил Георгиевич. — Она давно там лежит.

Он встает, забрасывает сумку через плечо — “Прощайте, мамыши, с Богом!”. Хотя и торопится уйти, но идет медленно, с трудом: ноги как чугунные и в ушах стоит звон.

За углом, в переулке, у церковной облупившейся ограды его окликают:

— Мишанька! Я за тобой не поспеваю.

— Поля? — Михаил Георгиевич прислоняется к холодному кирпичу ограды и плачет.

Голубоглазая старуха гладит его по плечу, грязной тонкой тряпицей оттирает его слезы.

— Я тебя сразу не признала. Седой ты у меня стал, плеши-вый. Худой какой. А заговорил — я и вспомнила.

— Плохо мне, Поля, — жалуется Михаил Георгиевич. — Скоро помру. Приехал вот, на пепелище. Зачем — черт его знает...

— А я вам с батюшкой писала, писала. Думала в Москву съездить. Потом отложила. Город большой, иголку в стогу легче найти. Батюшка, Юрий Николаевич, поди, давно умер?

— Да порядочно, — отвечает Михаил Георгиевич и внимательно разглядывает Полю. — Ты, Пелагея, против меня хоть куда, молодцом. Лет на десять старше, если не больше?

— Годы не уроды, — уклончиво отвечает Поля. — У тебя, наверное, уже внуки ведутся?

Внуков нет, а сын, болван, существует.

— Ну а Катя, Катя-то как?

— А Катя далеко, Катя за границей. Пока отец был жив, он с нею переписывался, до войны. А мне было нельзя, служил я, знаешь... Последние лет десять она меня нашла, прислала две-три открытки. Ответить бы надо, и все никак не соберусь. Теперь мне можно. Теперь я человек конченный... Ну а ты-то как? Отчего в богадельне?

Теперь приходит Полин черед грустить. В ее голубых, чуть отиветших глазах встают на мгновение слезы, но она не дает им воли.

— Терентия, Мишанька, помнишь, денщика? Муж мой был. На войне убили, на последней. И двух сынов следом... Теперь ничего, теперь мне пенсия вышла, 24 рубля — и на всем готовом. На помадку старухам, на чай. Хорошая жизнь пошла. Дай Бог, не знаю кому, счастья.

Они оба молчат. Наконец, Поля спохватывается:

— Когда вас разбирали, я кой-чего унесла. Все думала, как передать... После что продала, что люди украли. Ты уж не пеняй, Миша, прости, жизнь сам знаешь, какая. А карточки да письма — храню. Днем в тунбочке, а когда лягу, так под матрасом. Старухи у нас есть, некоторые такие попадают — что ворюватые. Абы что стибрить. Я сейчас, обернусь мигом.

— Постой, Поля, — просит Михаил Георгиевич. — Может, сперва материну могилу покажешь. Забыл. Я бы там посидел, подождал.

— Нету, Мишанька, могилки, извини. Убрали. В прошлом году фундамент вырыли — под зоотехникум, на нутрий будут учить. Сей год под крышу подвели, а еще не крыли.

Они идут по уцелевшей части кладбища к пустой церкви. Прибитые временем и дождями могильные холмики осели, на немногих оставшихся крестах — бурые прошлогодние пасхальные венки. Сразу за церковью начинается стройка: серый кирпич недостроенного дома и на почерневших лесах еще один лозунг: "Вперед к победе коммунизма!"

— Их могилка вот тут была, — указывает Поля на кучу щебня под стеной строящегося дома. — Тут они и лежат, Митенька и Анна Александровна. Я к ним всегда на Пасху ходила с яичком, и к Митеньке, и к Анне Александровне, Царствие им Небесное... Ты посиди, если хочешь, Мишанька, я мигом.

Михаилу Георгиевичу не хочется сидеть в тени, ему там зябко. Куча щебня под гнилыми лесами не будит в нем воспоминаний, не растревляет лишней печали. Он обходит забитую церковь и устраивается на паперти, на солнце, на шербатых ступеньках, из под которых во всю лезут упрямые жирные одуванчики.

Михаил Георгиевич хочет поскорее уехать отсюда. Это место слишком близко ему — и чуждо. В углу тлеет мусор, синеватый дымок путается в полуголых еще ветках черемухи и старой сирени. К нему торопливо семенит Поля, ловко маневрируя среди могильных холмов. В руках у нее что-то, похожее на бабушкин ридикюль.

— Это тебе, Мишанька! Ты меня прости. На обед кличут. Пропустишь — и до вечера ни маковой росинки. Как управлюсь — приду. Вспомним старину-то.

Михаил Георгиевич не говорит Поле ни "до свиданья", ни "прощай", хотя знает, что никогда ее больше не увидит.

Да, ридикюль — бабушкин. В нем — фотографии матери, отца, каких-то людей с гитарами или на лошадях, дам в кринолинах, офицеров, собак, нянь. Письма. Он рассеянно берет отцовскую фотографию в тужурке правоведа и читает на обороте посвящение матери: "Дорогой Анне Александровне в память, к сожалению, о минутной встрече и, смею надеяться, в залог будущих хороших отношений".

У Михаила Георгиевича нет сил все это читать. Перебирая листки, он узнает старинный бабушкин почерк, заставляет себя прочесть хоть несколько строк: "Я была так напугана и убита для дня своего Ангела, — у крестьян моих был пожар. Их бедствие меня сильно огорчило; весь хлеб, какой был, овес, греча, семенные, — все сгорело. Их убыток пал тяжелою тягостью на меня, а нужно помочь им, когда и сама-то дышишь с трудом...".

Михаил Георгиевич идет к тлеющей куче мусора. Вытряхивает в нее содержимое ридикюля. Замечает среди вытрянутого детский, перевитый ленточкой, локон. Чей? Митеньки? Его? Родителей? Кати? Огонь вспыхивает скоро. Михаил Георгиевич шепчет — "Простите! Никому это теперь не нужно". Он не знает, что делать с самим ридикюлем, почему-то бросать его в огонь — жалко. Кладет на ребро церковной ограды и торопится уйти, стараясь миновать стороной богадельню, поскорее выбраться на большую дорогу к Егорьевску.

К вечеру он уже высчитывает в воскресенской электричке, успеет ли на ночной рижский поезд. В вагоне во всю гремит радио — "...Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек". Электричка мчится навстречу холодному закату. Он пробует задремать, и не может. Вспоминает, что ему еще осталось привести в порядок, кому написать, как оформить завещание по совету Соломона Моисеевича и не забыть попросить, чтобы не клали в красный гроб. Спыхватывается: "Да, Кате надо, наконец, написать, в Нью-Йорк. Что скоро помру".

Все дальше на Восток, в весенние сиреневые сумерки уходят Воскресенск, темные леса, притихшие поля, а за ними — Егорьевск, Сад Трезвости, потерянное кольцо, ресторан "Париж-Цна", куча щебня на материнской могиле, и церковь Воскресения Словошного, куда он так пока и не дошел.

Юрий Кашкаров

ДОРОГА ИЗ НЬЮ-ЙОРКА В ЛОС-АНЖЕЛЕС

Убегает все направо и направо
Утра серого прохладная оправа,

Круглый свет листвы на липах сонных,
Дождевинки ли, росинки ли на кленах.

Уплывает рябью тучек и росую
И серебряно-белесой полосую

Наша майская до-дрожи-холодинка,
Осыпь капель, в белом лифчике калинка,

Малый двор крестьянский пригородный,
С ясенем, с трубой водопроводной,

Дрозд, шагающий у каменного бака,
Девочка, серьезная собака —

Что на холст, бывало, впишет Вайет
Уплывает под колеса, уплывает...

*

Едем в край, где всё как на картинке,
Нет у мая целомудренной заминки,

Заморозка нету спозаранья,
Раскрыванья нету, просыпанья...

Не покинь нас там, в неподвижности пустынной,
Май лесной, стыдливый май долинный!

В нашу память свежести накапай,
Оботри нам щеки липы легкой лапой,

Чтоб всегда, до гробовой постели
В твой прозор зеленый сердцем мы глядели...

Ольга Анстей

А может уже и хватит.
Насмотрелась.
Налюбила.
Правда, здесь остается венок розовых рук
Моих девонек,
Моих крохоток.
Но до них теперь трудно добраться.
А больше пожалуй
И нет такого, что было бы очень жалко оставить.

Вот разве только —
Преждеосвященных в Посту жалковато.
Преждеосвященные — это хорошая вещь.

Так неожиданно,
На стебле долгого подвига чтений,
И поклонов земных, и полонов
После дебрей ветхозаветных,
После проклятий Исайи

Вдруг распускается,
Как цветок предрассветный,
Обеденка дивно-короткая:
Папа Григорий ее написал.

Наверно, мне скажут: "Дура ты, право!
Ведь там, за порогом —
Таких ли обеден услышишь ты звуки!
О чем же жалеть?"

Оно-то и так.
Да кто его знает,
Как это там заведено?

Наверно не всех пускают на эти обедни.
Без номерка не пройти.
Очерель верно большая.

В общем, не выяснено еще,
Как это будет.

Ольга Анстей

ВНУКУ

Леониду Р.

Естественно стариться, охладевая
К какому-то ближнему, даже к себе.
Зеваю: ни ада тебе и ни рая!
Что толку восьмому десятку в судьбе?

А всё же словечко лелею: *однако*:
Мальчишеский голос из сада звенит.
И время шевелится поступью рака,
И снова полуденный вешний зенит.

Прославиться хочется рыжему внуку:
И десятилетия все впереди.
Я жму, оживая, ответную руку:
Ничтоже сумняшеся: дальше иди!

Шепнула бы бабушка: — Лёня, касатик!
Пылали герани у ней на окне.
А лед улыбнется, кряхтя: — Математик,
Однако, не всё одинаково мне.

Ю. Иваск

КИЗИЛОВОЕ ДЕРЕВО

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ "ЛЮБИМЧИКА")

17. Пацаны

Славка вошел в холодный класс и, не глядя на ребят, плотным кольцом окруживших потухающую буржуйку, прошел к своему месту. Его сосед по парте, Ленька Попов по кличке "Поп", уже сидел на своем месте и рисовал в школьной тетради (что категорически запрещалось) успешное наступление советских танков на фашистские твердыни. Поп был личностью примечательной. Он был увлечен военной романтикой и мечтал стать офицером. Страстным его желанием было увидеть Кремль и парад на Красной площади. Желание это было настолько сильным, что подчинило себе все помыслы Леньки. Незадолго до ноябрьских праздников он исчез из детского дома. Чудом одолел безбилетный пассажир расстояние в две тысячи километров и шестого ноября был в Москве.

Все ноябрьские праздники Ленька провел в камере предварительного заключения. Он ничего не скрыл от милиции: ни фамилии, ни номера детдома, ни причины своей поездки в Москву. Но дежурный милиционер лишь усмехался в ответ на его просьбу посмотреть парад, а после праздников Леньку отправили обратно в детдом.

Славка сел на место и, привалившись к подоконнику, наконец-то сбросил проклятые калоши. Расстелив на скамье пальто, он забрался на нее с ногами, аккуратно обернув их одной полой. Пальто он натянул на плечи и, чтобы оно не свалилось, связал

См. кн. 149, 150 "Н. Ж."

рукава узлом. Так он некоторое время полулежал, отогреваясь и оглядываясь.

Был обычный день детдома с обычными делами и развлечениями его обитателей. У печки по губам ходил окурок. Дым курящие аккуратно выпускали в дверцу буржуйки. Изредка в этой группе вспыхивал смех. Сейчас здесь рассказывали политические анекдоты, вся соль которых заключалась в рифмовании непотребных слов.

Совсем недавно в группе прошел "великий шмон". В тот день на столе воспитателя, проводившего обыск, лежала куча всевозможного добра: самодельные ножи, пара свинцовых кастетов, карты, с полсотни ключей и отмычек, иглы для татуировки, порнографические открытки, махорка, линзы от украденного микроскопа и много всяких других вещей, уже не криминальных, но изъятых из парт и карманов воспитанников просто по случаю повального обыска.

Сейчас группа постепенно оправлялась от последствий налета. В одном углу шаркали напильником по железной полосе, оторванной от кроватной сетки. Любители ножей с интересом наблюдали за отделкой лезвия. Нож был почти готов. Оставалось набрать рукоятку, для которой были припасены целлулоидные пуговицы и обломки зубных щеток.

В другом углу опытный взломщик держал в руке врезной замок и объяснял слушателям, как определить точную форму бородки ключа. Он просовывал в прорезь замка тонкую стальную проволоку и мелком воссоздавал на покато́й поверхности парты форму ключа.

А вот еще группа, где бригадным методом изготавливается колода карт и мнется хлеб для игральные костей. Наиболее нетерпеливые и азартные, не дожидаясь карт и не желая терять драгоценное время, уже играют в "гвозди". Игра в "гвозди" проста и, кроме ловкости и терпения, ничего не требует. Один игрок, зажав в кулаке горсть гвоздей, вываливает их на пол бесформенной кучей. Задача второго заключается в том, чтобы осторожно, не шевельнув кучи, вытащить как можно больше гвоздей. В зависимости от величины, гвозди оцениваются в 50, 100 и 200 граммов хлеба.

Сейчас болельщики с интересом наблюдают, как один из

играющих, лежа пластом на полу, сопя, тянет гвоздь с оценкой в 200 граммов хлеба.

Играли также в камешки и пуговицы. Тянуло вонью: кто-то оторвал резиновый каблук и сжег его. Жженая резина, перемешанная с мочой и сахаром, употреблялась для татуировки.

Славка уместился поудобнее, вытащил из-за пазухи книгу и через мгновение ничего не видел и не слышал. Вместе с Магелланом он переплывал Великий или Тихий океан. Путешествие длилось недолго. Как бы устойчиво ни отключался Славка от окружающей обстановки, он, как и всякий другой детдомовец, мгновенно реагировал на крик: "Шухор!"

В класс вошел старший пионервожатый, который обычно проводил политзанятия. Это был высокий, стройный брюнет, в офицерском костюме со следами снятых погон. Его тонкая талия была перепоясана широким ремнем. Ремень этот часто гулял по спинам воспитанников. За свою жестокость старший пионервожатый получил от ребят прозвище "Пират". Славка вздохнул и спрятал книгу.

18. Политчас

Пират подошел к столу, вытащил из кармана яблоко и громко произнес:

— Пашков!

С передней парты поднялась шуплая фигура. Это был Вовка Пашков по кличке "Барыга", хилый пацан, страдавший эпилептическими припадками.

Жизнь Пашкову постоянно отравляла мысль, что его обвешивают в столовой. Если ему попадалась пайка одним куском, Пашков взвешивал ее на ладони и закатывал скандал, обвиняя дежурных воспитанников в том, что они сожрали его ловесок, пока разносили хлеб по столам.

— А, шакалы! — орал Пашков, готовый забиться в припадке. — Дежурные называются! Летчики-молодчики! Летчик высоко летает, со стола куски сшибает!

Дежурный молча забирал у Пашкова хлеб и относил его в хлеборезку. Следом за дежурным бросалось несколько ребят. Здесь они с нескрываемым удовольствием следили за тем, как

дежурный отрезал от пайки Пашкова кусочек хлеба, клал его сверху и торжественно относил ее скандалисту.

Получив пайку с ловеском, Пашков умолкал, удовлетворенно смотрел на мнимого обидчика мутными глазами и уже спокойно ворчал:

— Знаю я вас! Всегда обвешиваете!

У некоторых воспитателей и у "настоящих босяков" Барыга играл роль записного шута. Сейчас он стоял за партией, и Славка, глядя ему в затылок, видел багровое, с надорванной и гноящейся мочкой ухо, которое несколько дней тому назад открутил Барыге Пират. Тогда он так избил Пашкова, что тот без разрешения ушел из детдома и отправился в город, в детскую комиссию. Там он разделся и показал членам комиссии исполосованную ремнем спину. Члены комиссии внимательно осмотрели жалобника и пообещали принять меры... С тем Пашков и вернулся в детдом.

— Пашков! -- повторил Пират. — Вот яблоко! А ну, подставляй лоб — посмотрим, что крепче.

С этими словами Пират подошел к парте и со всего размаха хлопнул Пашкова яблоком в лоб. Яблоко разлетелось на куски. Одобрительно заржали старшие пацаны. Пашков покачнулся, но устоял на ногах, ухватившись за парту. Затем по приказу старшего пионервожатого он вышел к столу.

— Песню! — приказал Пират.

Барыга высморкался в рукав, прокашлялся и затянул противным голосом:

Когда я был мальчишкой,
Носил я брюки-клеш,
Соломенную шляпу,
В кармане финский нож...

На последней строчке Пашков поднял руку и сильно ударил себя по карману.

Я мать свою зарезал...

Тут Барыга ударил себя сначала кулаком под сердце, а потом — ребром ладони по горлу.

Отца я загубил...

С этими словами Пашков грохнулся на пол, изображая "загубленного отца". Ребята лезли на парты, чтобы лучше ви-

деть. Весело хохотал Пират.

Падение Барыги было гвоздем спектакля. Поднявшись, он уже спокойно допел о несчастной судьбе "сестренки-гимназистки" и отправился на место.

Старший пионервожатый потребовал тишины и развернул газету.

Совсем недавно "Любимому Вождю и Учителю" исполнилось 70 лет. Газеты из номера в номер печатали "Поток приветствий", поступивших в его адрес.

Покончив с перечнем приветствий, занимающих целую газетную страницу, Пират перешел к передовице. Называлась передовая статья "Неустанно овладевать марксистско-ленинской теорией".

Славка внимательно слушал. Он уже и сам читал газеты и журналы. В библиотеке он частенько заглядывал на полки с политической литературой. Как-то раз попались ему под руку стенограммы судебных процессов троцкистско-бухаринского блока, а затем — Хабаровского процесса японских военных преступников. Он прочел их на одном дыхании и был потрясен коварством врагов народа.

У Славки хорошая память. Он знал наперечет всех членов сталинского ЦК. Мало того — он мог без запинки перечислить выдающихся борцов международного коммунистического движения. Целые абзацы из прочитанных им брошюр и политических документов отпечатывались в его голове на долгое время.

Обширные Славкины познания вызывали к нему уважение со стороны педагогов и — неприязнь со стороны остальных мальчишек.

На всех викторинах Славка занимал первое место.

— Дети, придумайте предложение со словом "черный", объявлялось нехитрое задание.

И пока участники конкурса вымучивали убогие фразы типа "У меня есть черный карандаш" или "Пришла черная ночь", поднимался Славка и изрекал:

— Черный замысел империализма не удастся скрыть от народов!

После конкурса Славка получал, согласно условиям, пряник, иногда так даже и банку консервов, а чуть позже бывал бит паца-

нами: чтобы не вылезал и вообще — "чтобы не был таким умным". Он давал самому себе клятву — "не вылезать". Но трудно было удержаться! Подходило очередное "мероприятие" — и Славка опять выступал: читал со сцены стихи Михалкова или длинную поэму о героическом переходе народно-освободительной армии Китая во главе с Чжу Де и Мао Цзе Дуном.

Славка знал наизусть и лирические стихи. Как-то много дней подряд повторял он про себя удивительные строки Жуковского:

Скатившись с горной высоты,
Лежал во прахе дуб, перунами разбитый,
А с ним и гибкий плющ, кругом его обвитый...
О дружба, это ты!

Но читать эти стихи со сцены ему не хотелось...

— Все, политчас окончен, — объявил Пират, дочитав передовицу. — Песню! — опять приказал он, теперь уже обращаясь ко всей группе. И ребята с удовольствием грянули:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И первый маршал в бой нас поведет...

В соседней комнате, за стеной пели: "Дальневосточная, опора прочная". Там тоже кончался политчас.

19. История со шкафом

Пионервожатый вышел, и ребята остались одни. Мгновенно несколько человек стали "на шухоре", остальные вернулись к своим делам.

Ленька Попов уже опять рисовал.

Славка вытащил книгу и начал было читать, как вдруг громкий разговор привлек его внимание. Спорили Солдат и Мамед.

В углу комнаты стоял большой старый шкаф. Славка никак не мог понять, зачем он здесь. Задняя стенка его прогнила, полоч не было. В этом шкафу никогда ничего не держали. Очевидно, это был тот классический случай, когда шкаф стоял для мебели.

Сейчас Солдат и Мамед обсуждали вопрос: сколько сук

поместится в шкафу. Мамед считал, что не больше десятка. Солдат же утверждал, что загонит в шкаф всех сук, какие есть в группе.

Ребята съежились, притихли и с испугом ждали, что будет дальше.

— Суки, выходи, стройся! — приказал Солдат.

Человек двадцать ребят вышли к столу и стали там толпой.

— В шкаф, шагом марш! — заорал Солдат и, хватая малышей за руки и за воротники, а то и просто пинками начал загонять в шкаф.

Из шкафа раздавались крики и громкий плач.

Не лезут! — радовался Мамед.

— Полезут! Дверцы держи, чтобы не раскрывались, кричал возбужденно Солдат, — дави! Дави!

Шкаф покачнулся, с грохотом упал на пол и рассыпался. Из-под его обломков выбирались плачущие дети и бегом бросались на свои места.

Вошел Пират.

— Кто сломал шкаф?

Молчание.

— Кто сломал шкаф?

Ребята продолжали испуганно молчать.

— Группа, выходи строиться!

Мальчишек вывели на заснеженный плац. Став у трибуны, Пират поправил ремень, натянул поглубже ушанку на уши и гаркнул:

— Бегом марш!

Славка сразу же оказался сзади всех. Лопнули веревки, и калоши разлетелись в разные стороны. Славка подобрал калоши и, зажав их подмышкой, запрыгал по снегу в одних носках.

— Соловьев, выйди из строя! — приказал Пират. — Надень калоши и стань в сторону.

Славка облегченно вздохнул, что избавился от кросса, но подумал, что пацаны опять будут злиться из-за того, что он стоит, а они бегают.

Ребята бежали уже четвертый круг. Раздавался надсадный кашель курильщиков. Пират внимательно прислушивался к дыханию бегущих.

— Саркисян, выйди из строя! Стань рядом с Соловьевым!

Цолак Саркисян только что проехался носом по снегу. У него лопнула подошва, и он не удержался на ногах. С головы Цолака свалилась шапка, обнажив голый после стригущего лишая череп. Подняв запорошенную снегом шапку и утирая разбитый нос, Цолак заковылял к Славке.

Вскоре большая часть воспитанников, тяжело дыша, медленно пошла в группу, а старшие и курильщики продолжали бегать по снегу круг за кругом...

20. Новогодние подарки

В небольшом помещении клуба стояла праздничная елка. Между ее ветвями, прикрытыми ватой, тускло светились грецкие орехи, обернутые фольгой, и качались яичные скорлупки с нарисованными рожицами. Поблекший от времени Дед Мороз с мешком за спиной стоял под елкой и смотрел на голый, неприбранный зал.

Еще совсем недавно здесь была веселая суматоха. Через весь зал ребята протягивали цепочки, склеенные из цветной бумаги, а через них перебрасывали бумажные гирлянды. Развесили хлопушки и большие снежинки из папиросной бумаги. Такие же снежинки были наклеены на окнах клуба, а подоконники были украшены узорными салфетками, вырезанными из старых газет.

Но в канун новогодних праздников пришло распоряжение райкома партии: снять с подоконников салфетки и вынести из зала цепочки. Оказалось, что цепочки были украшением идейно чуждым, т. к. символизировали оковы капитализма. А в узорных салфетках кто-то из партийного начальства усмотрел "рецидив мешанства".

Праздничное убранство поспешно сняли, а украсить клуб заново уже не успели. И в пустом, помертвевшем зале остался лишь кумачовый лозунг над сценой с кричащими меловыми буквами: "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!"

Первого января в этом зале был концерт детдомовской самодеятельности. После концерта "артисты", и в их числе — Славка, получили огромные кульки с подарками. В кульке было два пряника, с десяток орехов, полкило каштанов и целый кило-

грамм мелкой сырой моркови.

Пряники ребята съели сразу, орехи и каштаны рассовали по карманам, а морковью сначала стали бросаться друг в друга и играть ею в футбол на длинной веранде. Но наутро, съев орехи и каштаны, подбিরали морковку с полу и ели ее, не вымыв и не очистив.

Вторым новогодним подарком была выдача теплой одежды. Детдомовцев выстроили на плацу, и директор, окруженный свитой воспитателей, обошел строй и отобрал ребят, одетых похуже.

В число счастливцев попал и Славка. Он получил целые, без заплат, темные брюки, сапоги и романовский полушубок, легкий и теплый. На стриженую голову он с удовольствием натянул солдатскую ушанку.

Когда ребята, одетые в фуфайки, полушубки и кожаные куртки, с веселым гомоном покидали складское помещение, директор приказал Славке зайти к нему в кабинет. Слегка подталкивая Славку в спину, Саркис Арменакович вошел вместе с ним в комнату и указал ему на стул.

Сняв шапку и уместив ее на коленях, Славка сел у стола, глядя вниз и вбок. Он сидел и думал, зачем его вызвали: неужели начнут о ком-нибудь расспрашивать?

Директор снял с плеч синюю, толстого сукна шинель с погонами капитана милиции и повесил ее на вешалку возле дверей.

Обнажив крупную, с крутым лбом и плоским затылком голову, которую украшала огромная лысина, он вдруг спросил у Славки, глядя на него из-под густых, сросшихся на переносье бровей:

— Можно сейчас поверить, что в молодости у меня была роскошная шевелюра?

Славка молча пожал плечом и промолчал.

— Молчишь? Значит, не веришь. А ведь была! Бывало — идешь мимо девушек, как тряхнешь кудрями... м-да... ну, ладно!

Директор помолчал, затем усевшись за стол, придиричиво оглядел Славку.

— Ну вот, теперь ты одет нормально.

Он посмотрел в окно на заснеженный двор и продолжал:

— Зима в этом году суровая, очень суровая. Я, во всяком

случае, такой не помню. А у тебя часто пропадает одежда. Я не хочу, чтобы у тебя, как у некоторых ребят, гноились обмороженные пальцы на руках и ногах. Береги одежду и обувь, не вздумай продавать их или обменивать!

— Я не продаю, у меня воруют, — не поднимая глаз, ответил Славка.

— Так вот, смотри, чтобы не крали! Останешься раздетым накажу. Ударю так, что не сразу встанешь.

Славка согласно кивнул головой.

— Покажи руки! — приказал Саркис Арменакович.

Славка протянул через стол руки с опухшими пальцами, которые не сгибались в суставах.

— К врачу ходишь?

— Хожу, — тихо ответил Славка, — марганцевые ванны принимаю.

— Это хорошо. А как у тебя с чесоткой?

— У меня уже нет чесотки, — испуганно ответил Славка. — Чесотка у меня в прошлом году была.

В прошлом... А вши?

Вшей тоже нет. Вши тоже в прошлом году были.

Как учишься?

Хорошо.

Учись хорошо. Запомни: первая двойка, и я тебя вышибу из всех библиотек.

Директор задумался, затем медленно продолжал:

— С музыкальной школой я договорился. Берут туда человек тридцать детдомовцев. Ты тоже пойдешь. Что тебе нравится, пианино или скрипка?

Славка опять дернул плечом в растерянности.

— Не знаешь еще? Значит, запишу я тебя сразу в два класса. Будешь учиться играть на двух инструментах. Справишься?

— Когда Славка вышел из кабинета, его уже ждали шестерки.

— Ну ты, любимчик! О чем с директором разговаривал? Просучил кого-нибудь!

— Не шейте нахалку*, не докажете! — Славка сразу спустил-

*"Шить нахалку" — оговаривать, клеветать (жаргон).

ся с небес на землю.

— Нет, подожди! — шестерки не давали ему пройти.

Неожиданно из-за угла здания показался Пан.

Скособочившись в блатной позе, он медленно подошел и прошипел тихо:

— А ну, валите отсюда! Брысь, уркаганы сопливые!

Сбившись в кучу, шестерки отошли шага на два и остановились. Всем своим видом они показывали, что отошли добровольно, но могли бы и не уходить, т. к. за их спинами стоят "настоящие пацаны".

Не обращая больше на них внимания, Пан отвел Славку в сторону.

— Ну, что там? — он заглянул Славке в лицо. — Спрашивал тебя о ком?

— Нет, — ответил Славка, улыбаясь радостно и смущенно. — В музыкальной школе буду учиться!

21. Бунт

В детдоме били стекла. На кухне, разогнав поварих, выворачивали ломом вмазанные в печь котлы и опрокидывали кастрюли. Двери продуктового склада были сорваны с петель, и все продукты со склада унесены. Во дворе летали булыжники, и во все стороны разбежался обслуживающий персонал.

Солдат разбил Пирату голову камнем и гнался за ним по пятам. Дорогу Солдату преградил детдомовский плотник Ляля-даи*.

Ляля-даи, мужчина лет пятидесяти, прыгал по детдому на костылях; одна нога у него была отнята по колено. В детдоме Ляля-даи был известен забавными наставлениями, с которыми он обращался к ребятам, поступавшим к нему в обучение.

Строго глядя на паренька, которого интересовало не столько плотническое ремесло, сколько возможность украсть инструмент, Ляля-даи говорил:

— А-да, и слушай! И если ты будешь хорошо работать, я

*"Даи" — дядя (азерб.).

тебе скажу: "ай, молодес!" А-да, и если ты будешь плохо работать, я скажу: "А-да, изволочь, сын изволочь!"

Домой Ляля-даи уезжал на ослике. Он долго усаживался в седло, балансируя одной ногой и укладывая костыли на холке осла. Осел в это время скалил рыжие зубы, прижимал уши и взбрыкивал задом.

Наконец Ляля-даи усаживался, успокаивал осла и трогался в путь. Едва ишак начинал переступать ногами, как всадника окружала толпа ребят. Держась на таком расстоянии, чтобы не достал костыль, пацаны хором скандировали:

— Ляля-даи, зырт! Ляля-даи, пырт!*

Сейчас Ляля-даи схватил Солдата за рукав, крича удивленно:

— А-да! Ты ичто изделаешь?

Но Ощепкин яростно блеснул на плотника своим единственным глазом и сбил его с костылей.

Старшие пацаны не забыли, как гонял их по плацу Пират и решили свести с ним счеты. Воспользовавшись отъездом директора, они устроили погром в день, когда старший пионервожатый был дежурным по детскому дому.

Бунт этот был не первым и, очевидно, не последним. Обычно после таких происшествий наезжали комиссии и "чистили" детдом. При разборе личных дел серьезными раздумьями члены комиссии себя не утруждали. Они отбирали переростков и в зависимости от их возраста и поведения направляли их в ремесленные училища, ФЗО и колонии. В колонии и тюрьмы уходили зачинщики бунта — блатная верхушка детдома.

Режим детдома на время ужесточался. Но основная часть воспитанников согласна была терпеть дополнительные часы труда, частые обыски и внезапные построения и поверки — лишь бы убрали из их среды ненавистных тиранов — блатных.

...В расстегнутой шинели, сдвинув на затылок шапку, Саркис Арменакович осматривал изуродованные корпуса. Его сопровождали Ляля-даи и бухгалтер детдома, сутулый и вислоносый Иван Кузьмич.

*"Зырт, пырт" — бранные слова (азерб.).

В тот день серебряная парча директорских погон, казалось, мелькала в нескольких местах сразу. Испуганные ребята прятались от директора по углам, а при встрече быстро сворачивали в сторону, но он не обращал на них никакого внимания.

Широко расставив ноги и задрав вверх голову, Саркис Арменакович стоял перед спальным корпусом и пересчитывал разбитые окна. Кончив считать, он длинно выругался, переменяв армянскую брань с азербайджанской и русской. Ляля-дан сочувственно зацокал языком, а бухгалтер уныло хмыкнул.

К директору подбежал запыхавшийся Пират с перевязанной головой:

— Едут, Саркис Арменакович! Я уже обо всем по телефону договорился!

— Кто едет? — не понял директор.

— Как кто? — удивился Пират. — Прокуратура, милиция, сотрудники летской комиссии.

— Ах, да! Я и забыл! — спохватился директор.

Какое-то время он стоял молча, что-то обдумывая, затем ударом кулака нахлобучил шапку себе на брови и гаркнул:

— Гаджиев, Соловьев, ко мне в кабинет!

И, повернувшись, уверенный в том, что, даже если ни Славки, ни Гейдара сейчас здесь нет, то через пять минут их разыщут и приведут, зашагал в сторону канцелярии.

22. Васька Гайле

Славка с Гейдаром неуверенно постучались и несмело перешагнули через порог кабинета.

— Можно, товарищ директор?

Саркис Арменакович, не сняв ни шинели ни шапки, сидел за столом и что-то писал на листе бумаги. Второй лист, уже исписанный, лежал рядом.

— Можно, можно, заходите, — хмуро бросил он.

Кончив писать, директор скособочился на стуле, открыл ящик стола и достал два чистых конверта. Запечатав письма, он протянул по конверту ребятам.

— Гаджиев, отнесешь письмо директору школы! А ты, Соловьев, отдашь этот конверт Хануме Кязимовне.

Славка с Гейдаром переглянулись. Ханума Кязимовна, или как все ее звали, просто "муаллима", была той самой учительницей, на уроке которой взорвались патроны.

Из всего пятого детского дома лишь один мальчишка ходил в городскую школу, в 5-й класс. Звали его — Васька Гайле.

Жена завуча детдома пошла ему из темной материи сумку, в которую Васька укладывал книги, отправляясь в школу.

Гайле держался очень важно. Иногда Славка, чуть-чуть заискивая, выпрашивал у него почитать географию или хрестоматию.

Учился Васька хорошо, но был уж очень живым и изобретательным — проделки его иногда приводили учителей в настоящее ошеломление.

Только постоянное заступничество Саркиса Арменаковича, напирającego на то, что это единственный в детдоме пятиклассник, приводило к тому, что Васька не вылетал из школы. Наконец, и это не помогло.

Перед уроком азербайджанского языка Васька бросил в печку обойму боевых патронов. Обойма бахнула, едва начался урок. Преподавательница, заслуженная учительница республики с орденом Ленина на лацкане, упала за стол, защищаясь стулом. Класс веселился, а Ваську из школы выгнали.

— Хотел дотянуть дурака до седьмого класса, да боюсь в этот раз ничего не получится, — сказал кому-то директор.

Несколько дней Гайле ходил в ореоле героя. Но, видно, бремя сомнительной славы ему уже порядком надоело, потому что он обрадовался простому, человеческому славкиному вопросу:

Слушай, а зачем ты все это сделал? Ну, в школе, с патронами?

А я и сам не знаю! Что мне в голову шарахнуло? Дай, думаю, брошу — ну и бросил.

— А патроны где взял?

— В воинской части украл. В последний раз, — помнишь? — нас солдаты в кино пустили. Пацаны в тот вечер хороший шмон там устроили. Мин, гранат наворовали. Только это все — учебное. Шашки для дымовых завес. Ну, а мне настоящие патроны попались. Теперь в колонию могут отправить... А я колонии —

знаешь, как боюсь! — неожиданно упавшим голосом сказал Васька.

— Не отправят! Арменакович заступится, — утешал его Славка.

Сейчас, держа в руках конверт с письмом муаллиме, Славка вспомнил об этом разговоре.

— Вы еще здесь? — поднял голову директор. — Даю полчаса срока. Если через полчаса не доложите, что письма отланы в руки, — головы поотрываю!

Ребята бегом бросились из кабинета: они знали, что директор на руку и скор, и тяжел и что никакая комиссия с него за это не спросит. Хорошо хоть то, что еще за дело от него попадает, а не просто так.

23. Комиссия

Члены комиссии расположились на клубной сцене. Возле сцены, лицом к комиссии и спинами к ребятам, сидели директор и воспитатели. Ребята, чьи судьбы сейчас решались, столпились вокруг еще не вынесенной из клуба елки.

Остальные воспитанники стояли у дверей клуба и ждали вестей с судилища.

Через полчаса из клуба вышли Солдат и Безух в сопровождении двух милиционеров и через двор направились к выходу из летдома. Ребята поняли: этим грозит тюрьма или колония строгого режима. За ними стали выходить и другие.

— Ремеслуха, Коллонтайка, ФЗО, — отвечали они на вопросы ребят.

Все они довольно отчетливо представляли себе свой завтрашний день.

Уходящие в колонию и там будут жить по привычным блатным "правам".

В "ремеслухе" не будет ни "сук", ни "активистов", ни "настоящих пацанов": все они будут новичками. Учащиеся старших групп будут отбирать у них новую форму и инструменты, обделять едой в столовой, а в случае протеста — избивать. Правда, мучение это продлится один год: на следующий год они сами отыграются на новичках.

Среди ребят, стоявших у клуба, Славки не было. Он отнес письмо муаллиме и после того, как отчитался перед Саркисом Арменаковичем, попался на глаза Пирату. Его и еще трех неудачников: Бесфамильного, Беренчука и Вальку Орлова — Пират заставил мыть коридор в спальне.

Напуганная бунтом, не вышла на работу уборщица Пюста-хала*.

Русского языка Пюста-хала почти не знала, и вначале ребята безжалостно ее дразнили.

— Пюста-хала, издрате! — с утра вопили они.

Уборщица думала, что ее ругают, выставляла, в знак проклятья зад и визгливо отвечала:

— Дадан, нанан** — издрате!

В конце концов постоянные утренние скандалы надоели воспитателям, и они объяснили уборщице, что дети с ней просто здороваются.

После этого, услышав очередное "Пюста-хала, издрате!", она ласково улыбалась и отвечала: "Селям-алейкум!"

Дразнилка потеряла интерес, и дети оставили уборщицу в покое.

Сейчас Пюсты не было, некому было следить за чистотой и сердито кричать на ребят:

— Снимите ноги!

Славка посмотрел на грязный коридор и чуть не расплакался. Не то, что возить мокрой тряпкой по полу, — страшно было даже на миг опустить отмороженные пальцы в ледяную воду.

— До утра копать будем! — авторитетно произнес Валька Орлов.

— До утра, не до утра, а до ужина — точно, — подтвердил Беренчук и вдруг психанул:

— А ну его к такой матери! Не буду мыть!

— Пират побьет, — сказал Бесфамильный. — Надо мыть!

Минуты две Славка смотрел на грязный пол, на ведра с

*"Хала" — тетя (азерб.).

**"Дадан, нанан" — вашему отцу и матери (азерб.).

тряпками — и вдруг его осенило:

— А на черта нам тряпки? Валерка, тащи воду и лей на пол. Доходяга, бери ведра и носи снег, а ты, Валька, достань веники.

Через несколько минут работа закипела. Беренчук щедро хлюпал водой на пол, Бесфамильный засыпал грязные лужи снегом, а Орлов со Славкой, в два веника, выметали мокрый снег через порог.

Выбросив из коридора последнюю кучу грязного снега, разгоряченные, потные ребята с удовольствием посмотрели на дело своих рук.

— Хорошо блестит, — сказал Беренчук, — не хуже, чем у Пюсты

... Уже вышли из клуба почти все ребята, а Гайле все еще не было.

— Зачем Арменакович вызвал муаллиму? — думал Славка. — Она, конечно же, злитя на Ваську и сейчас шьет ему все, что ей в голову придет. Да и директор школы ей помогает.

Наконец вышел Васька. По лицу его бродили красные пятна, лоб взмок от пота. Он подошел к Славке, судорожно сглотнул слюну и спросил: "Курить есть?"

Сам Славка не курил. Но если попадался ему чистый окурок, не растоптанный и не раскисший, Славка подбирал его и прятал за отворот шапки.

Васька выпустил клуб дыма, еще раз затянулся и сказал наконец:

— Ничего! Оставили в детдоме!

— Что? Арменакович заступился? — возбужденно спросил Славка.

— И Арменакович! Но только черта с два — устоял бы он против этих сволочей из комиссии. Директор школы помог, а главное — муаллима!

— Кто? Муаллима? — удивился Славка. — Никогда бы не подумал.

— Я бы и сам не подумал. Как увидел ее, — ну, думаю, все! Нарочно позвали, топить будут. А тут такое! — Не находя слов, Васька развел руками.

День клонился к вечеру. Небо почти освободилось от туч, лишь в западной его части громоздились кучи облаков. Подмо-

раживало, и снег, днем раскисший на солнце, уже схватывался тонкой корочкой льда.

Ляля-даи, в сопровождении нескольких добровольцев из ребят, заколачивал фанерой разбитые окна. В корпусах, столовой и кухне сразу стало темно. Поварихи заявили Саркису Арменаковичу, что они не могут работать в темной кухне с развороченной печью, и попросились домой. Директор, только что проводивший членов комиссии, с которой ушла и большая часть ребят — будущих колонистов, устало и равнодушно махнул рукой.

В столовую внесли керосиновые лампы, и дети наскоро проглотили немудрящий ужин: хлеб, луковицу и кружку чая.

Расходились по домам воспитатели. На ночь, кроме дежурного педлагага, оставался еще и милиционер — запоздалая реакция на недавний бунт.

Не ушел домой и Пират. Когда директор спросил его, почему он задерживается, Пират ответил, что побудет в детдоме еще пару часов и поможет, если вдруг обнаружится непорядок. Когда стемнело, Пират провел вечернюю поверку, но в спальню ребят не отпустил. Он стоял в нескольких шагах от строя и о чем-то тихо говорил с милиционером.

24. Лятиф

Милиционера, который оставался в эту ночь дежурить в детдоме, ребята знали хорошо. Он никогда не упускал случая при встрече с детдомовцем ударить его или, заташив в отделение, составить какой-нибудь дутый протокол.

Звали милиционера Лятиф. Ребята знали, что Лятифа и в городе многие боялись. Был Лятиф толстый и короткий. Через ремень с бляхой переваливалось огромное брюхо. Лысел он сильно с макушки и слабо со лба — поэтому прическа его напоминала католическую тонзуру. Под крупным, пористым носом Лятифа чернела прямоугольная жесткая щетка усов.

Ходили слухи, что в молодости Лятиф был муссаватистом, но затем явился с повинной и выдал властям местонахождение своего отряда. Позже он принимал участие в ликвидации последних муссаватистов и дашнаков и остался в органах милиции. И

хотя Славка не знал, насколько верны эти слухи, он не любил Лятифа и как предателя, и как своего личного врага.

Однажды Славка, возвращаясь из библиотеки, встретился с ним в городе. Схватив Славку за шиворот, Лятиф заташил его в отделение, где для начала вlepил две звонких оплеухи. После этого он обшарил славкины карманы. Обнаружив в карманах образцы минералов, собранных Славкой летом в горах, Лятиф заявил, что этими камнями Славка бьет стекла и стреляет ими из рогатки в прохожих.

— В честных советских людей! — уставив на Славку выпученные глаза, добавил Лятиф.

Очень обрадовался милиционер, найдя в славкиных карманах медные и серебряные монеты Российской империи:

— Джайшник!* Под деньги играешь: "Раз — моя! Два — моя!..".

Но не было предела торжеству и одновременно ужасу Лятифа, когда из нагрудного кармана славкиного пиджака он извлек тысячерублевую ассигнацию, выпущенную Временным правительством.

Тыча в лицо Славке кредитку, на которой был изображен двуглавый орел, лишенный символов власти, т. е. без короны, скипетра и державы, Лятиф орал, захлебываясь праведным гневом:

— Мы в семнадцатом году этот герб ногами топтали! Мы боролись с врагами советской власти, а ты царского орла у сердца носишь!

Тут же, не сходя с места, был составлен огромный протокол (копия — директору детдома и РайОНО).

До РайОНО Славка не дошел. Его вызвал к себе Саркис Арменакович и, возвращая коллекцию монет (минералы Лятиф выбросил), сумрачно сказал:

— Возьми свои монеты! Я поговорил с Лятифом, больше он тебя не тронет.

*"Джайшник" — азартный игрок (азерб.).

25. Мечь Пирата

Сейчас Лятиф стоял рядом с Пиратом, который что-то тихо ему говорил.

Лятиф согласно кивал головой, нехорошо улыбался и успокаивающе похлопывал Пирата по талии. Ребята услышали, как он со смехом произнес:

— Можно, можно! Сделаем!

Пират и Лятиф подошли к молчаливому строю, замершему в предчувствии чего-то очень плохого, и, внимательно вглядываясь в лица, стали вызывать из строя ребят. Вызвав человек десять, они завели их в помещение.

Вскоре темные окна осветились желтым светом керосиновой лампы и послышались неразборчивый крик Пирата и приглушенный, невнятный плач избиваемого ребенка.

Строй стоял мрачно, но смирно. Ребята пока ничего не понимали. Было ясно, что бьют, но с какой целью?

Но вот вышла первая жертва. Когда избитый дрожащий мальчишка рассказал своим товарищам, что происходит за окнами, строй дрогнул. Такого на их памяти не было.

Ушел в тюрьму Ошепкин, камнем разбивший голову воспитателю. Его могли обвинить в сопротивлении педагогам, в злом хулиганстве и нанесении тяжких увечий. Но Пирату этого показалось мало. Вместе с Лятифом он побоями выколачивал из воспитанников признания в том, что Ошепкин занимался гомосексуализмом.

Тяжелые удары сыпались на пацана, и садист, возбужденный криками жертвы, тяжело дыша, кричал:

— Он тебя насиловал? Я кого спрашиваю, он тебя насиловал?

Спина у пацана горела от ударов ремня. Защищаясь онемевшими руками, не в состоянии согнуть пальцы, он с плачем отвечал:

Не знаю!

Чего ты не знаешь?

Я не знаю, что такое "насиловал"!

Ах, не знаешь! Он тебя ...?

Да! — с отчаянием отвечал пацан, лишь бы прекра-

тилась эта пытка.

Марш под стол! — командовал Ляtif, а Пират принимался за следующего.

Стоявшие на морозе ребята поняли: вышли только те, кто выдержал побои... В детдоме появились новые суки, "пришившие нахалку" настоящему босюку.

К удивлению всех, вышел Бесфамильный. Доходягу спас мочевой пузырь. Парень не выдержал и одного удара и лежал у стола, корчась в луже мочи. Ляtif брезгливо схватил его за ухо и выбросил за двери. Бесфамильный, тихо плача, в мокрых брюках, мгновенно схваченных морозом, стал в строй. В другое время мокрые брюки Доходяги вызвали бы град насмешек, но сейчас было не до этого.

И вдруг Славку пронзила мысль: там же Пан! И он почему-то не выходит!..

Из десяти человек в комнате осталось трое. Сейчас там Пират и Ляtif составляли протокол на основании полученных "показаний".

26. Комка

Вечер. Длинные, темные вечера в детдоме, после отбоя. Прикрутив фитиль лампы, ушел спать дежурный воспитатель. До утра дети остались одни. У раскаленной, гудящей буржуйки, набросив на плечи одеяла, в тесный круг сбились ребята.

По-разному проходят эти вечера. После длительного отсутствия появился в детдоме Николай Комков, по кличке Комка. Он взял себе за правило уходить из детдома после праздников, когда вылавали новые костюмы. Через некоторое время его привозили в детдом в грязных лохмотьях, чумазого, голодного, но с веселым бесшабашным взглядом.

Воспитатели уверяли, что Славка и Комка похожи друг на друга, и предлагали записать их братьями.

— А что тут такого? — спрашивали они. — Так и запишем: тебя — "Соловьев-Комков", а его — "Комков-Соловьев".

Но Славка не испытывал желания заполучить Комку в братья. Внешне миловидный, Комка был личностью с ярко выраженными садистическими наклонностями. Его любимым

занятием было — посадить на забор шенка и сбивать его оттуда камнями. Летом он разорял гнезда и приносил в классную комнату беспомощных, едва оперившихся птенцов. Разместив их на полу в один длинный ряд, Комка пускал кошку и заключал пари: сколько птенцов кошка может слопать за один раз.

Кошка шла вдоль ряда с набитым ртом и с жадностью пыталась схватить очередного птенца, который уже не помещался в ее пасти. Пищали полузадушенные птенцы, раздраженно ворчала кошка, а Комка азартно, со смехом вел счет.

Славка и Комка возненавидели друг друга с первого взгляда. Бывало не раз: Славка сидел и читал книгу — подходил Комка и ударом ноги выбивал ее из рук. Второй удар кулаком Славка получал в грудь.

Согнувшись, с перехваченным дыханием, Славка молча, с ненавистью смотрел на Комку. Ему было очень больно, но ненависть не давала упасть слезам.

— Ну ты, любимчик! Сука! — шипел Комка.

— Не докажешь! — со злобой отвечал Славка.

Комка делал пальцами вилку и подносил к славкиным глазам.

— Опустит глаза, падло! Сейчас заплачешь!

Славка отводил голову, но глаз не опускал. Получив новый удар, с побледневшим лицом, сузившимися глазами и дрожащими уголками губ, он повторял:

— Не добьешься, не заплачу!

... Сейчас Комка сидит возле печки, прямо на полу и, мусоля махорочную самокрутку, ведет неторопливо рассказ.

— Да... ну пошли мы с ней в магазин. Взяли хлеба, вина, папирос. Светла меня эта маруха с настоящими босяками. Присмотрели базу — туда как раз бостон и крепдешин завезли. Меня, как самого худого, в склад послали. Они — на приеме и на шухоре. Намазали окно медом, налепили газету, кирпичом хлопнули — ни одним куском стекла не загремели.

Комка умолкает, морщится от едкого махорочного дыма. Слушатели возбужденно дышат. На лицах — живой интерес к жизни на воле.

27. Песня

А иногда вечерами пели. Пение в детдоме любили. Начиналось все обычно с баловства. Была в детдоме такая забава: ребята разбивались на несколько групп, и каждая группа пела свою песню, стараясь перекричать и заглушить остальных.

Вот в одном углу затянули нарочито противными голосами:

“Не хватило Ваньке керосина,
Он поехал в город по бензин.
Не успел он с горочки спуститься,
Немцы показались перед ним...”

Из другой части команды, чуть бодрее и громче, наперерез первой песне несется другая:

“Завтра я надену майку голубую,
Майку голубую, брюки-клеш.
Три пути-дорожки — выбирай любую,
Все равно от пули не уйдешь”.

И, наконец, явно побеждая в этом соревновании, задорно и громко звучит “Марш защитников Москвы”:

“На марше равняются взводы,
Гудит под ногами земля,
За нами поля и заводы
И красные звезды Кремля!”

Поднимается гвалт, в котором не слышно отдельных слов. И вдруг кто-то предлагает: “Пацаны, песню!”

Ребята умолкают, собираются вместе и вызывают в круг запевал.

Первой, обычно, поют песню о Беломорканале.

По темному помещению плывет тоскливая, плачущая мелодия:

“Ах воля, любимая воля!
Как счастье твое далеко,
Свободы и воли не вижу,
В тюрьме я сижу ни за что...”

Славке эта песня нравилась. И хотя он был убежден, что ни

за что в тюрьму сажать не могут, и коробило его от одной только мысли, что Беломорканал строили не комсомолы-добровольцы, а враги народа, он самозабвенно пел со всеми:

“А сколько костей заклеянных
Упало вот в этот канал...”

В сердца ребят вползала тихая, умиротворяющая печаль. Затем пели “Бродягу”, “Позабыт, позаброшен” и, наконец, чуть не плача от жалости к самим себе:

“Ой вы, люди Советской России!
Ой вы, люди Советской страны.
Если есть среди вас беспризорник,
Он такой человек, как и вы...”

Песня кончалась. Хорошо, тихо и покойно бывало в такие минуты. Но ребята не умели и не хотели долго печалиться. В торжественную тишину врывается шалая, с лихим разбойным посвистом, песня, Бог знает как дожившая до наших дней:

“Кресты и медали звенели на мне,
Ростовские бляды ласкались ко мне!”

После этого несли уже всякую похабшину. Постепенно пацаны уходили из круга и разбредались по своим постелям.

28. Любимчики

Бывали и другие вечера: после отбоя собиралось в спальне детдомовское “вече”. На таком сборище присутствовали все ребята, но правом обсуждения и окончательного решения обладали только настоящие босяки и чистые пацаны.

В этом свободном обсуждении и в кажущейся, на первый взгляд, свободе спора, усматривали некоторые из “любимчиков” справедливость и демократичность блатного “права”.

Первое, с чем сталкиваются ребята, попавшие в детдом, это вопрос: как жить дальше? Они видят перед собой две силы, между которыми никогда не утихает борьба: босяков и педагогов. Каждая из враждующих сторон навязывает ребятам свои правила поведения. И, если основная масса детдомовцев, без

глубоких раздумий, сразу и бесповоротно принимает сторону "улицы", то для "любимчиков" этот вопрос решается не так просто.

"Любимчик" — это маленький, худой и слабосильный человек, наделенный странной и неуместной склонностью думать над жизнью. Мыслит он наивно и неумело, но его упорно не покидает стремление к справедливости. Оно определяет его убеждения и — в меру его слабых сил — поступки. А может быть, и сверх этой меры.

"Любимчики" есть и в нормальных семьях. Но жестокость летломовской жизни ускоряет нравственное созревание таких детей, делая его противоестественно ранним.

У "любимчика" нет собственного жизненного опыта. О большой и красивой жизни, жизни "по справедливости", он знает лишь из книг и кинофильмов, в которых положительные герои так правильно и доступно объясняют, что такое хорошо и что такое плохо, так мужественно борются со злом, что ему остается только удивляться: почему окружающие его люди не берут пример с этих героев и не живут так, как советуют книги и кино?

Жизнь в детдоме страшна. Страшны и дети, и взрослые. И "любимчик" делает свой первый, самостоятельный вывод: это все не настоящее! Настоящая жизнь, без лжи и страха — за стенами летлома. Придет время — и он найдет ее. Но до этого времени нужно дожить. И снова возникает суровый вопрос: как дожить?

На службу к педагогам любимчик не идет. Его уже предупредили, что в случае доносов его будут бить постоянно и беспощадно. Он замечает, что педагоги не защищают своих доносчиков и не интересуются их дальнейшей судьбой. Кроме того, он питает инстинктивное отвращение к доносам. И, наконец, самое главное: он не знает случаев, чтобы воспитатель разумно и благородно использовал добытую им информацию, т. е. чтобы донос послужил справедливости. Взрослые либо жестоки и бесчестны, либо беспомощны. И "любимчик" становится в оппозицию к педагогам. Ему начинает казаться, что блатные и их шестерки ведут себя более честно, чем воспитатели.

Лишенные каких-либо нравственных раздумий и духовно гораздо более примитивные, чем "любимчик", "босяки" словно

говорят ему:

— Нам наплевать на то, нравится эта жизнь тебе или нет, искренне ты разделяешь нашу мораль или только вынужден ей подчиняться. Выполний "права" — и все будет нормально!

Но "любимчик" начинает искать в "правах" логику. Он пытается жить "по правам", убеждая себя, что они справедливы...

Пройдет много лет, и он поймет: ему казалось, что все-сторонне продуманные и подчищенные "права" могут стать основой неписаной детдомовской конституции. Он видел в них некий демократический "общественный договор". Но "любимчик" будет расти и думать (это ведь главное его занятие), постепенно теряя иллюзии, как дерево — листья. И прежде всего он поймет, что "права" — не договор, а заговор, сговор.

Пройдут годы, и воровская ухмылка "прав" начнет распознаваться "любимчиком" в массе обличий: за бешеным "зиг хайль!", в разноязычных "да здравствует!" Он увидит эту ухмылку в тех же книгах и на тех же экранах, откуда светили ему, в бесшадном его детстве, добро и правда. А были это — не добро и не правда, а всего лишь — "права": закон шайки и мафии, охраняющий преимущества главарей, — и ничего более.

И он перестанет ломиться в открытую дверь.

А пока... В круговой поруке он пытается видеть проявление солидарности. Требование невмешательства в чужие споры кажется ему охраной суверенитета спорящих. Смущает лишь то, что спорящие не всегда относятся к одной весовой категории. Он находит справедливым и бесправие "забоженных": это наказание за ложь, хвастовство и неумение держать слово.

"Любимчики" не были даже против суровости по отношению к "сукам", но "суками", по их мнению, надо было считать только добровольных доносчиков. И, конечно же, они разделяли презрительное отношение блатных к тем, кто крал у своих или отнимал у слабых пайки. Высшим же проявлением уличной демократии считали "любимчики" коллективное обсуждение детдомовской жизни. Однако и здесь не все было гладко. От "любимчиков" не ускользала роль "босяков" в формировании общественного мнения. Блатные и их шестерки предопределяли всегда и суд, и расправу. Впрочем, "любимчик", этот прирожден-

ный общественный деятель, не складывал оружия. Он упорно пытался подсказать обиженному ту статью уличного права, по которой можно добиться справедливого решения вопроса. Хлебом его не корми, а дай распутать какой-нибудь кляузный юридический казус. С наслаждением перебирает он пункты прав, припоминает прецеденты и в тот момент, когда кулак босяка готов опуститься на голову жертвы, он подсовывает свое, правильное решение. Кулак повисает в воздухе и... опускается на шею "любимчику". Постепенно принявший, казалось бы, их закон, "любимчик" оказывается в оппозиции также и к блатным.

Живя в такой атмосфере, как не начать приспосабливаться, т. е. не научиться лгать — себе, педагогам, товарищам?..

29. Осечка

Этим вечером общий сбор воспитанников судил Славку. Несчастье, что случилось с Паном, задело и его. По законам улицы "суки" не могли иметь друзей. Нарушившие "закон" не имели права объединяться.

Согласно "правам", вина одного из напарашников автоматически распространялась и на его друзей. И теперь Славка тоже считался "сукой". Кроме того, он должен был публично отказаться от дружбы с Паном.

В тот вечер многие кровати пустовали. Это были места тех ребят, что ушли в колонию. В группе осталось только четверо старших; Мамед, который через день-два, как только оформят документы, уйдет в ремесленное, Салим, остающийся в дет-доме, и двое новеньких: Стасик Недашковский и Аман Карачансков.

С Недашковским у Славки уже была стычка, Аман пока при-сматривался и ничем себя не проявил.

Разбор дела вел Мамед. Он восседал в одном белье на кровати, стоявшей в теплом углу, возле печки. Рядом с ним, на полу скорчился избитый, внешне безучастный Пан.

Несмотря на то, что сидел он у самой печки, его бил озноб. На бледном лице Пана виднелась ясная россыпь веснушек.

Дело было несложным. Оно не требовало особенного разбирательства, но нуждалось в формальном завершении. Пан и

Славка должны были взяться за руки и сказать: "Мы не напарашники". После этого оставалось сделать темную Славке.

Славку вывели в круг и поставили перед Паном.

— Вы напарашники? — спросил Мамед, глядя на Славку холодными, светлыми глазами.

Славка подавленно молчал.

— Никто не слышал, что ты от него отказался. Ты должен сделать это сейчас. Тебе понятно? Или ты "права" забыл?

Славка продолжал молчать.

— Что же ты молчишь? — со сдерживаемой ненавистью произнес Мамед. — Может, ты против "прав" и думаешь остаться его напарашником?

В толпе ребят прошло движение.

Пан поднял голову и посмотрел в тоскливые глаза Славки. Он понимал состояние друга. Последнее время они часто ссорились, и все-таки Пан знал, что Славка, может быть, один из всей этой толпы жалеет его и не осуждает. Но сказать об этом не смеет.

И так же, как Славка не осудил Пана, Пан простил Славке его страх. Он решил в последний раз помочь другу.

— Мы с ним не напарашники! Мы с ним давно поругались, сказал он, обращаясь к Мамеду.

Слова стоят! — дернулся Мамед.

Слова на месте! — угрюмо отозвался Пан.

Где свидетели?

Мы с ним поругались, — упрямо настаивал Пан, обходя вопрос о свидетелях, которых не было.

— Мало ли с кем эта зараза ругается! — возразил Мамед. — Где свидетели?

Ложь Пана была настолько очевидной, что Мамед не особенно обеспокоился.

Пацаны знали, что врать им нельзя. Блатные могли беззастенчиво обмануть кого угодно, но по отношению к себе и своим "правам" требовали безоговорочной честности. Быть лжесвидетелем никто не решится. — В этом Мамед был уверен. Поэтому он спокойно обратился к Славке:

— Ты что — говорить разучился? Права качать ты умеешь, а сейчас молчишь? Напарашники вы или нет?

— Нет, — ответил Славка, предавая не только Пана, но и самого себя.

Так, хорошо! Кто свидетель?

— Я свидетель! — со злобой глядя на Мамеда, в круг вышел Петька.

Петька тоже врал, врал нагло, и все это видели и понимали. Он пошел на огромный риск. Все напарашники, сколько бы их ни было, имели право на один голос — Петьке нужен был второй свидетель.

Гейдар с Мариусом неуверенно переглянулись. Сейчас они раздумывали, стоило ли их другу ввязываться в это безнадежное дело, и не придется ли им сегодня же отречься от него, как Славка только что отрекся от Пана.

Ты — свидетель? — удивился Мамед.

— Да, я!

— Слова стоят... — насмешливо произнес Мамед и сделал паузу, как бы предлагая Петьке отказаться от необдуманного поступка.

Но Петька твердо ответил: "Слова на месте!"

Мамед хохотнул. Все трое: Пан, Славка и Петька — врут, но для того, чтобы выдать ложь за правду, им не хватает второго свидетеля... И Мамед подумал, что этим вечером он, со своими шестерками, сделает темную не одному Славке.

Да, Петька рисковал. Но ценой этого риска он не только помогал Славке — он показывал пацанам, что "права" — не всеильны, что их можно повернуть и так и этак.

А в полумраке спальни что-то происходило: там слышалось приглушенное бормотание и видны были неясные перемещения... Это сбивались в волчьи стаи напарашники. Они пока ждут... Если Петька потерпит поражение, они так и останутся на своих местах. Но если Петька победит, то они обвинят Мамеда в нарушении "прав". А может быть, не предъявляя обвинений, накинется на него с дикими воплями куча маленьких мстителей.

Петька стоял, ссутулившись, в освещенном кругу и злым, беспощадным взглядом обводил толпу ребят.

Не то с сожалением, не то с облегчением повел плечом Орлов. Он "забоженный" и не имеет права быть свидетелем.

Нерешительно, поглаживая подбородок, переминался с ноги

на ногу Цолак Саркисян.

Почти в самый круг на четвереньках вылез Пашков. Мутные глаза Барыги светились сейчас радостным изумлением.

Не сводя с Петьки задумчивого взгляда, отрицательно покачал головой Салим.

— Так ты говоришь, что они разругались? — раздвигая в издевательской улыбке толстые губы, спросил Мамед и тут же перешел на свистящий полусшепот:

Что ж ты, фикстула, парашу пускаешь? Когда и где это было?

Перед политчасом, после которого ты и Солдат шкаф сломали, — отозвался Петька. — Это я говорю, если тебе интересно. А вообще, какое твое дело? Я свидетель — и ты обязан верить мне. Ты что, "прав" не знаешь?

— "Права" я знаю, успокойся! И знаю, что должен верить свидетелям, а не одному свидетелю! И имею право проверять ваши слова! Где второй свидетель?

Я свидетель! — рядом с Петькой, плечом к плечу стал Васька Гайле.

За доли секунды все изменилось. Сжав кулаки, готовые к возможной драке, вступили в круг Мариус и Гейдар.

Детдомовская этика требует выдержки и хладнокровия. Мамед мог сейчас приостановить слушание дела и, приняв Ваську с Петькой свидетелями, заняться проверкой их показаний.

Но он был раздосадован тем, что такое простое дело вдруг обернулось почти откровенным бунтом против святого босяков — против уличных "прав". И сейчас, неожиданно увидев перед собой четырех решительных противников, Мамед на мгновение потерял самообладание и допустил ошибку.

— Что ты свистишь! — в бешенстве заорал он на Ваську. — Тебя там и близко не было!

И тут взорвался Гайле. С великолепно разыгранной блатной истерикой, не дав Мамеду опомниться, он закричал:

— Так ты не веришь мне, свидетелю? Ты говоришь, что я вру? Слова стоят! Слова стоят на месте! Если ты сейчас не докажешь, что я вру, я набыю тебе морду, чтобы не шил нахалки на чистых пацанов.

— И я тоже с удовольствием дам тебе в зубы, — обронил

Петька.

Неосторожно брошенное Мамедом слово испортило все дело. Из обвинителя он сам стал обвиняемым. Следствие зашло в тупик.

30. Победа

Ребята молчали, выжидающе глядя на Мамеда. Мамед был парнем неглупым, он уже овладел собой и сейчас обдумывал свои возможности — и шансы противника.

Ему уже было ясно, что здесь, на судилище, он ничего не добьется. Старших мало, и они почти не скрывают насмешливого отношения к тому, как неумело он повел дело. Поддержки от них не жди. Кроме того, их сейчас беспокоит не это. Скоро появятся новенькие, и среди них, конечно, будут и настоящие босяки. Впереди — интриги, создание и распад различных группировок, возможные драки — пока кто-то не возьмет верх.

— Стоит ли обращаться за помощью в первый детдом? — размышлял Мамед.

В первом детдоме младших групп не было. Воспитанники этого детдома выступали хранителями чистоты "права" и являлись арбитрами в спорных случаях. Довольно часто прибегали они к примитивному, но надежному приему: побоями заставляли свидетелей отказываться от прежних показаний и давать новые, угодные блатным.

Иногда это приводило к тому, что младшие ребята из нескольких детдомов, предварительно сговорившись и набив пазухи камнями, стеной шли на первый детдом. Поводом для драки обычно служил какой-нибудь пустяковый случай, к истинной ее причине не имеющий никакого отношения.

В городе наступал своеобразный "комендантский" час. Из-за летящих камней и яростных побоищ жители не могли пройти по улицам и вынуждены были отсиживаться в домах.

Постепенно пыл угасал. На сцене появлялись демагоги-миротворцы.

— Что нам делить? — спрашивали они. — В первом детдоме — такие же пацаны. Мы сироты — и они сироты. Мы беспризорники — и они беспризорники.

Вояки утирали разбитые носы, шупали синяки и шишки и в молчании расходились.

Мамед думал о том, что будет, если он обратится в первый детдом. Если возникнет драка, то ему, как зачинщику, могут намять бока и свои, и чужие.

Нет, эту схватку он проиграл. Петька лучше его оценил ситуацию и ловко использовал "права".

Спокойно, не показывая раздражения, Мамед повернулся к Петьке и, кивнув головой в сторону Славки, произнес:

Доказано!

Слова стоят? — теперь уже предложил Петька.

Слова на месте! — подтвердил Мамед.

Свидетели?

Все являются свидетелями! — отозвался Мамед.

Петька подошел к Славке, который стоял, понуриив голову, и, взяв его за плечи, повернул спиной к Мамеду.

Иди спать, — тихо сказал он, подталкивая Славку в спину.

31. Суд совести

Славка лежал, заложив руки за голову и сухими глазами смотрел в темноту. Сейчас, когда все кончилось, он вызвал себя на свой суд. Он ни на мгновение не сомневался в том, что поступил трусливо и подло. Из всех областей знания наибольшего совершенства достигли люди в области самооправдания. А Славка был всего-навсего человеком.

— Чего я боялся? — спрашивал себя Славка. — Темной?

Конечно же, и темной. Но ведь сейчас он готов был принять все, лишь бы вернуть то короткое слово "нет". Страшно было попасть в "суки"? Но босяки все равно относились к нему плохо и часто били. Боялся потерять марку "чистого пацана"?

— Да. Хотел остаться "чистым". Гордился тем, что не "забоженный", не "сука". Ведь "чистые" пацаны шли сразу за "настоящими босяками". Но у босяков были сила и наглость. А у "чйстых пацанов" — только незапятнанность перед "законом". Так вот оно что: Он боялся стать нарушителем "закона", блатных "прав". А ведь это — согласно "правам" босяки расправи-

лись с Паном. И он представил себе, как Пан корчится под сапогом Пирата, а вслед за тем его избивает Мамед.

Славка застонал. Тихо, едва слышно...

Потом мысли его потекли дальше. Он увидел вдруг, что в детдоме боятся все пацаны и лгут все. Боятся и он сам — и с облегчением принимает спасительную ложь Пана. Боятся Петька — и вместо правды отстаивает ложь. Боятся блатные. Им страшно, что кто-то с кем-то сговорится — и выплеснет на них всю накопившуюся ненависть. И, чтобы этого не случилось, блатные должны знать все: кто, где, что сказал, что сделал и что собирается сделать?

А "забоженные" скрывают от них правду. Поставляя вместо правды ложь, они делают прорехи в той невидимой паутине, которой опутали всех "права".

Вот такими "забоженными" втайне от всех стали и Васька с Петькой. Счастье, что Мамед не смог этого доказать.

Внезапно Славка вспомнил радостно-изумленный взгляд Барыги. Славка поймал тогда этот взгляд и понял, что Пашков, этот шут гороховый, сразу угадал намерение Петьки.

Неужели есть что-то общее между Барыгой и Петькой? Чепуха какая-то.

И все же этот взгляд повернул шутовскую фигуру Пашкова новой для Славки стороной.

И Славке снова стало стыдно. Прав был Петька, когда утверждал, что справедливость должна быть для всех, а не для отдельных ребят. И дураку Пашкову тоже нужна справедливость. Ведь Пашков ни на мгновение не задерживался возле него, когда Славка отстаивал справедливость на основе уличного "права", а тут...

Раздумья Славки прервал чей-то тихий жалобный плач. Славка дернулся и сел на кровати.

32. Толик Грязнов

Плач доносился с кровати, стоявшей в соседнем ряду.

Ну, конечно, это Толик Грязнов, малыш, появившийся в детдоме вместе с Недашковским и Карачанковым. Славка сразу заметил его. Тоненькие, как веточки, руки и ноги и старческое

личико. Пацаны уже и прозвище для него придумали — “Старичок”.

В больших темных глазах Толика, как у бездомной собачки в стылую погоду, все время стояли слезы.

Славка пересел к нему на постель и сердитым шепотом спросил:

— Ты чего плачешь?

— Плохо здесь и страшно! — донеслось из-под одеяла.

Славка сдернул одеяло с головы Толика и, глядя в смутно белеющее лицо, строго сказал:

Здесь плакать нельзя! Бить будут!

Я не хочу здесь жить, я хочу домой!

Домой? А дом у тебя есть? Родители есть?

Нет! У меня тетя есть. Я сначала у нее жил, а потом она меня в приют сдала...

— А почему ты одетый спишь? — после короткого молчания спросил Славка. — Хочешь, чтобы вши завелись?

— Холодно!

— Эх ты, — холодно! А ну, раздевайся, бери подушку и лезь ко мне в постель.

Славка уложил малыша, укрыл его двумя одеялами, а сверху навалил матрац.

— Лежи, скоро согреешься. И не плачь. Я сейчас...

Славка прошлепал босыми ногами к постели Салимова.

Салим, а Салим, ты не спишь?

— Чего тебе? — отозвался в темноте Салим.

— Слушай, у тебя хлеб есть?

Салим несколько мгновений молчал, всматриваясь в темноту. Затем ответил:

— Нет у меня хлеба, пряники есть. Два пряника за пайку.

— Давай!

Славка нащупал в темноте пряники и покрутил головой по сторонам: кого бы поднять в свидетели.

Видимо, Салим уловил его движение и догадался, что он хочет сделать.

— Не надо свидетелей. И хлеба не надо, бери так, — неожиданно предложил Салим.

В детдоме не принято было благодарить, поэтому Славка

только и сказал:

— Ну смотри, дело твое! — и побежал к своей постели.

Он улегся рядом с малышом, сунул ему пряники, и оба они затихли.

Немного погодя Толик спал, мирно посапывая, и, успокоенный его ровным дыханием, уснул Славка.

Короткая ночь после бурной ссоры не принесла отдыха и не сняла нервного напряжения. Во время подъема невыспавшиеся ребята вспыхивали из-за пустяков, и в разных концах спальни возникали мелочные, дрянные ссоры.

Славка был уже одет и тормошил Толика, когда к его кровати подошли Петька с напарашниками и Васька Гайле.

— Это кто? — спросил Васька, указывая на Толика.

— Это мой друг, — ответил Славка, избегая слова "напарашник".

— Друг?

Васька сел на кровать и, к изумлению Славки, неумело погладил малыша по голове.

— Славка всегда то котят, то кутят пригревает, — засмеялся Гейдар. А Мариус сказал:

— Подкормить его нужно. А вообще — ничего пацан. По глазам видно, что из "любимчиков".

— Из "любимчиков"? — повторил Петька. — Это хорошо. У "любимчиков" не труха в голове.

— Что с того, если напарашники имеют права только на один голос? — подавленно сказал Славка.

— Дурачок ты, хотя и умница! — возразил Петька. — Он зато — свой собственный — не то, что у шпаны. Да и не один он!..

И Славка понял вдруг, что Петька сбивает крепкую компанию, чтобы в будущем дать бой хулиганам. Это было настолько здорово, что Славка чуть было не стряхнул с себя все то, что было вчера.

Но какая-то смутная мысль мешала это сделать. Он скользнул взглядом по спальне, по спящим ребятам и понял, что радоваться мешала мысль о Пане.

Каким бы он ни был завтра, как бы ни вел себя, он не изменит уже того, что было вчера... То зло не отменится.

*

Ни Славка, ни его друзья не знали, когда будет схватка, о которой они мечтали, и чем она кончится.

Не знали они и того, что пройдут годы, и не отдельную группу ребят, а весь детдом поднимет против блатных маленький Толик Грязнов.

Вл. Писарев

Мир, созданный Богом, и мир, возникший

Сам по себе...

Который из них, мой ангел притихший,

Понятней тебе?

Философы лгут. И лгут богословы.

Физик, о чем ты? Брось.

Законы природы, закон Иеговы —

То вкривь, то вкось.

О жизни людей, о жизни растений...

И Зло, и Грех.

Нет, нам не понять ничьих объяснений,

Ни этих, ни тех.

Миллионы лет — светлее, темнее —

Слепы, глухи...

Но луч, возникший на Кассиопее,

Лег на стихи.

Ты думал о смысле жизни, о рае,

И ты удивлен.

На строчки твои полутень бросая,

Желтеет клен.

Игорь Чиннов

*

Я говорил глухому перуанцу
На неизвестном, странном языке:
Вы разучились поклоняться Солнцу
И ваши храмы — в щебне и песке.

И девушек и юношей прекрасных
Вы в жертву не приносите давно
И я узнал из ваших взглядов грустных,
Что вам с богами быть не суждено.

Да, племя кечуа, потомки инков,
Империя — закрытая тетрадь.
Огромных и таинственных рисунков
В пустыне Наска вам не разгадать.

Я под дождем бродил по Мачу-Пичу.
Дождями стерт был идол-ягуар.
Я удивлялся грозному величию
Не города пустынного, а — гор.

Империя? Не храмы, не чертоги
Людишки в бурых тряпках, бурый хлам.
И лепятся хибарки и лачуги
К могущественным скалам и горам.

Ты слышишь, а? Империи не вечны.
Развалины — на фоне гор и скал.
Но перуанец — спал, лежал, беспечный,
И не ему я это говорил.

Игорь Чиннов

*

Болею манией величия!
(Смиреньем не спасаю душу я!) —
И на людское равнодушие
Я отвечаю безразличием.

Сосед любезный homo sapiens,
Обмениваемся поклонами.
Я уезжаю на Галапагос
За черепахами зелеными.

Вот поймана большая партия.
Читаю им стихи (о пьянице).
Ко мне одна с восторгом тянется
Из-под наскучившего панциря.

Другой милей стихи об аисте,
О розе, небе, свете, ласточке.
Она кивает понимающе
И аплодирует мне лапами.

И носороги с осьминогами
Приходят слушать... (Твари Божии!)
Сравни со многими двуногими:
Они совсем не толстокожие!

Игорь Чиннов

ТЕМА БЕГСТВА У ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА

Среди тем Василия Аксенова — молодость, созревание, выбор профессии и поиски места в жизни, — получивших некоторое освещение в советской и американской критике, осталась незатронутой *тема бегства*. В его творчестве она выражена многократно и многообразно. Связана она, с одной стороны, с бегством молодых людей от невыносимого советского быта, с другой, — с бегством от себя самого, от "сомнений в своем искусстве", в "поисках жанра". Тема эта переплетается с проблемами пространства и времени. Пространство переходит во время, а время — в пространство, "время растворяется в пространстве" ("Поиски жанра").

Как известно, на "существенной взаимосвязи временных и пространственных отношений в литературе" основал свою концепцию "хронотопа" (время-пространство) Михаил Бахтин. "Хронотоп дороги и встречи" мог бы быть применен к творчеству Аксенова. Тема пути-дороги богато представлена в русском фольклоре, начиная с былинного эпоса (былина о Вавиле), кончая такими разными произведениями как "Путешествие из Петербурга в Москву", "Мертвые души", "Кому на Руси жить хорошо", "Степь" Чехова и др.

Аксенов использует все преимущества, которые предоставляют хронотопы дороги и встречи: нанизывание эпизодов (композиционно), изменяемость точки зрения (у автора, рассказчика и героев), ввод неожиданных и случайных персонажей, "мгновенные исповеди", сообщающие этим случайным персонажам некоторую глубину и убедительность.

Случайность и фрагментарность прозы у Аксёнова как

нельзя лучше подходит для изображения бегства его героев из родного дома, от привычного быта, от несчастной любви. Им надо "мчаться вперед, на поездах, на попутных машинах, пешком, вплавь, заглатывать километры!" ("Звездный билет"). Цель бегства этих молодых людей из "Звездного билета" неопределенна. Они говорят "нет" всему окружающему и готовятся бежать в "увлекательное будущее", "в прекрасную неведомую страну, где говорят на высоких тонах и все взволнованы и очень счастливы" ("Коллеги"). Время и пространство сливаются в сказке-мечте, в "романтике дальних дорог", возникшей из чтения приключенческих романов и волшебных сказок, любви к музыке и созерцания звезд.

Молодых людей, "рыцарей дорог" (как их не без иронии называют их более реалистически настроенные и вросшие в быт товарищи), влечет прежде всего море, его "теплые, жизнетворные глубины", его сказочность ("Солнце, как купол сказочного дворца, поднималось над сверкающим горизонтом" / "Коллеги"/). *Море* — увлекательное, сказочное будущее для двух молодых коллег-врачей, которых нанимает на корабли дальнего плавания человек, стилизованный Аксеновым под волшебника.

К морю влекутся молодые люди советской Москвы, дети преуспевающих родителей, которые всем своим существом протестуют против советской рутины, лозунгов, штампов. Вместо того, чтобы поступать в институт — итти по проторенной дорожке — они бегут из дому в "декадентский" Таллин подышать воздухом относительной свободы... Море выступает тут не только как цель бегства, но и как средство "разобраться в себе и своей жизни". (Один из трех врачей-коллег, влюбленный в жену другого, тоже хочет "скорее в море: там будет проще: только волны и небо"). К морю влечется простая советская семья Харитоновых, едущая на сколоченном из отдельных частей полумифическом автомобиле, из далекой Тюмени "к умопомрачительному далекому теплему морю", как в некую Мекку. Это тоже бегство из серого советского быта в "страну чудес и солнца".

В "Коллегах" море именуется "мировым океаном", который нельзя забыть. Как стихия, море связано с солнцем, звездами,

луною. Море и луна сливаются в космосе — в "Под небом знойной Аргентины": "луна, необозримая как море, переходит в море", а "море уже переходило в сплошной лунный блеск, м. б. прямо в космос".

Некоторые герои Аксенова стремятся убежать не к морю, а в космос. "Только поскорей придумайте, как забросить человека в космос, и забросьте меня первым", — говорит Димка, герой "Звездного билета", недовольный своей жизнью в советской Москве. Его брат, молодой ученый Виктор, тоже хочет в космос, не только чтобы проверить свои гипотезы о воздействии космических условий на природу человека, но и чтобы уйти из дому... Он, мечтавший о далеких пространствах, глядя на звезды, говорит: "Я хотел уйти.. а ушел мой младший брат". Виктор гибнет во время полета на аэроплане и оставляет свой "звездный билет" младшему брату. Назначение Димы неясно: последние слова романа: "Билет, но куда?".

Другой герой Аксенова, молодой грузин Георгий Абрамашвили, слышит на берегу моря, "под нестерпимым блеском солнца", "какой-то далекий, очень далекий, бесконечный *зов* и бессознательно стискивает кулаки, пытаясь понять, чего же он хочет и что это за звук, услышанный им". ("Жаль, что вас не было с нами"). "Может быть, это был *ветер* древней Месхети, пролетевший по всем грузинским ущельям от неприступной Вардзии сюда, к юноше Абрамашвили?". Подбежав к морю Абрамашвили решает, что хочет быть космонавтом.

Далекий *зов*, древний ветер, "древние сны человечества" о море и небе (возвращение в прародину?) вызывают *древнюю страсть человека — бегство*. Бегство происходит по "нескончаемым дорогам", по "непомерным пространствам" России и Европы (Венеция), бегство с дорожными кострами и катастрофами, и "неизгладимыми впечатлениями" в пути. Направленность пути неопределенна. Павел Дуров в "Поисках жанра" "в тоске направляет колеса" то на север, то на юг, то на северо-запад, то на восток, чтобы иногда "за сутки проскочить несколько стран ...пересечь четыре древних европейских истории!". Он подобен какому-то модернизированному средневековому блуждающему рыцарю, который стремится к неизвестно где находящемуся послевагнеровскому Монсальвату... По дороге он

“нисходит” и “восходит”, совершает добрые дела, меняя свое неопределенное направление на еще более неопределенное: “*Странное* дело, я действительно переменял направление и поехал в *горную* страну”. Или: “Что-то *странное* происходило с ним: он вдруг ощутил неуправляемость своих слов и поступков”. Отправиться к Монсальвату побуждают его стихи случайно встреченного хиппи “Я разобью театрик без рампы и кулис, Входите без билетов — приехал к вам артист”. Долина, “куда он ехал столько лет по бесконечным дорогам мира”, является ему сначала в “полудремотных видениях”: “Теперь пришло мне время искать *Долину*, шептал я и слышалась мне в этом слове неведомая *благодать*”. Дуров надеется, что “там, в Долине, снизойдет, наконец ...истинное вдохновение и он обретет “чудо жанра”.

“Далекие моря” — не только цель бегства и странствий, не только возможность “найти себя, разобраться в себе”, как мы уже видели, это также перспективы “мирового океана”, вечности, бесконечности, “нового времени” и нового пространства, новой земли.

Как показывают его произведения, Аксенов явно предпочитает открытое пространство закрытому. Пространство в литературе изучено гораздо меньше, чем время, но такие видные ученые как Михаил Бахтин, Гастон Башляр, Юрий Лотман и Борис Успенский внесли свой ценный вклад в исследование этой проблемы. В частности, Юрий Лотман писал очень интересно о закрытом и открытом, бытовом и волшебном пространстве у Гоголя.

Открытое пространство, изображенное очень привлекательно и поэтически, как бы приглашает бежать в него не только главных, но и второстепенных героев Аксенова: даже милая Маманя в “Поисках жанра” хочет “утечь в отдаленное пространство”, хотя бы при помощи “автостопа”. Бесконечные поездки Дурова происходят под открытым небом. С неба иногда идет сильный и даже “свирепый” дождь, но потом оно *преображается радугой* и тогда “дорога стремительно проявляется из тумана, будто кто-то трет пальцем переводную картинку. Так обычное открытое пространство преобразуется в волшебное, чудесное. “Это место, волшебным образом возникшее

для волшебства”, думает Дуров, случайно очутившись в поселке Сольцы, “который крестиком раскинулся на лесной поляне”, и где “пятна бледного солнца летали по огородам и крышам”, а “на ветру шаландалось разноцветное белье”. Пейзаж у Аксенова почти всегда динамичен — как у Гоголя, “поэта дорожных созерцаний” — по Анненскому — примеров пришлось бы приводить много. Только один: “Серенький денек вдруг превратился в огромный фантастический вечер. Дуров шел от заката и... радостно принимал лесные и небесные чудеса”.

Закрытое пространство — в противоположность открытому — большею частью неинтересно, непривлекательно, будь то интерьеры лабораторий или комнаты “карантинки”, где живут два молодых врача перед выходом в море (“Коллеги”) или пустой и неуютный дом молодого врача Зеленина в Круглогорье. Молодые люди из “Звездного билета” живут в сущности не в ненавистных им квартирах родителей, а во дворе, где создают своеобразный иностранный “культурный центр”, где звучит иностранная музыка и танцуют модные танцы.

“Огромный, пустой, скрипучий, страшноватый, нетопленный” дом карантинки заставляет доктора Максимова вспоминать все свои временные жилища. Он каждое из них любил, и из каждого ему хотелось поскорей “убраться”. Куда? Конечно, в открытое пространство! “Чтобы идти по сверкающему льду или ощущать необъятность земли...”. Идти, идти, все равно куда — “был бы лишь путь без конца”.

Если это невозможно, выручают воспоминания, воображение, “полудремотные видения” и сны. Человек вспоминает детство и разные периоды прошедшей жизни. При этом границы пространства и времени раздвигаются. Время как бы соприкасается с вечностью, как это происходит в разговорах Дурова с мертвыми автомобилистами на закрытой штрафной площадке. У Аксенова время чаще растекается в пространстве. “Непрерывная чудесная пора жизни, которая то ли была, то ли есть, то ли будет”, становится во сне Дурова непрекращающимся мгновением в пространстве, частью которого он становится. С этим связаны не только сны, но и утопические мечты и поиски чуда.

Очень показательны, что “непространство” и всё, что с ним связано, изображено в гротескном, ироническом и даже сарка-

стическом плане, в то время как открытое, волшебное и "прочное пространство" описаны поэтически и даже лирически с употреблением всех звуков и красок, которыми располагает Аксенов.

Совсем другая поэтика сна и путешествия. "Мне снилась чудесная пора жизни, которая то ли была, то ли есть, то ли будет. ... У той поры был берег моря... У той поры был уходящий в высоту крутой берег с пучками сосен... На горизонте из прозрачного океана уступами поднимался город-остров, и это была цель дальнейшего путешествия... Все три наших печали, прошлое, настоящее и будущее, сошлись в чудесную пору жизни". Последние слова обрамляют весь фрагмент-сон. Повторы, анафоры, "инструментовка на согласных" и, главное, ритм подчеркивают важность сна и его значение для темы бегства и проблемы пространства и времени, связанных с ней.

Яркое противопоставление бытового и чудесного, сказочного дано в предельно разном восприятии двух разных героев "Поисков жанра": представителя "архаического жанра", клоуна, волшебника, Бога? (см. "чудо" на свадьбе швейного цеха!), Павла Дурова, взыскующего свой идеал и ждущего чуда, и офицера МГБ Жукова: "Огромный костер. Другой бы подумал — чудо. Офицер Жуков решил — шлаки жгут". "Женская тонкая фигурка извивалась в огне. Кто-нибудь сказал бы — ведьма, нимфа, саламандра. Офицер Жуков прикинул — здесь сегодня получка". Костер напоминает Дурову "что-то непережитое, то ли будущее, то ли прошлое, что-то несказанно прекрасное, неназванное... Он чувствует, что "близится время чудес", но пока оно настанет "грубая, ржавая, саднящая, с жесткими нечистыми швами и шетиной в складках жизнь надвигается и вытесняет... чудо, созданное уже им, но только не явленное еще миру" (ПЖ, 155). А офицер Жуков и "не подозревал, что въезжает в зону чудес, да, признаться, так и не заподозрил до самого конца, и чудеса, которые ему попадались, таковыми не считал".

Ирония — частая спутница Аксенова — иногда прикрывает и даже заменяет "невыразимое", как часто у Гейне, у Гоголя, "неизвестно, где кончается ирония и начинается небо" (Гейне). Аксенов любит обнажать приемы, любит также романтическую иронию. Ирония иногда соединяется с гротеском в то, что

можно было бы обозначить как "иронический гротеск". Хорошие примеры его есть в "Бочкотаре" (см. сны, особенно Вадима Афанасьевича о Халигалии) и в "Поисках жанра", где из дорожного рассказа мы узнаем, как дикий кабан нарушил "правила обгона", не включив "левую мигалку" и в результате аварии послужил ужином для собравшихся у костра проезжающих... Такие черты гротеска как перестановка признаков одушевленного и неодушевленного (оживотворения, сравнения вниз и т. п.), а также смещение перспективы и нарушение симметрии, встречаются у Аксенова часто и не всегда мотивируются дорожными перспективами — да он и не заботится о т. н. реалистической мотивировке.

Иронический гротеск и стилизация под него роднит Аксенова с экспрессионизмом. Мы находим в его прозе аффектацию, стремление к колоритности языка, "энергию метафор" и их реализацию, символы и мифы. Аксенов любит и остранение снами, словами. Отсюда и любовь к иностранным языкам и словам. В "Под небом знойной Аргентины" «артисто руссо» так обращается к аргентинской красавице: "Фотографирен цузамен, чик-чик, порфабор, май френд мейк пикча — ю энд ай, очень хорошо". Аксенова радует "огромность мира слов", как радовала она деревенскую Маманю, слушавшую по радио "инострannую тарабаршину".

Страницы произведений Аксенова пестрят иностранными заимствованиями, приветствиями и обращениями: "гуд-бай с концами", "сэр, милэди, каррамба, доннерветтер, хайболл, эр-кондишн" и т. п. Он виртуозно пользуется и бранной лексикой: охламон, сушеный крокодил, хмырь с ушами и т. п. Особенно хорош у Аксенова заумный язык: механик Михин так обращается к Дурову: "Ты где, артист-шулулуев, заферагался с чернотурданным радиатором-сулуятором? Сейчас поедешь на кулукуй, если патрубок големанный не сгнил к фуруруям" ("Поиски жанра").

Аксенов любит звуковые образы и часто оформляет образы при помощи звуков. Музыкальность его прозы местами не подлежит сомнению, она притягивает своим ритмом, аллитерациями, ассонансами, повторами. Конечно, к такой музыкальности не стремилась проза социалистического реализма. Да и

другие приемы, выделенные здесь мной, говорят о "запредельности" Аксенова по отношению к социалистическому реализму.

Валерия Филипп

Университет Сен Джонс, Джамейка, Нью-Йорк

Что должно было случиться,
То случилось на веку.
Жизнь, как старая волчица
Засыпает на боку.

И на дне глубокой ямы,
Головой к корням припав,
Полусонно лижет шрамы
От капканов и облав.

Пусть плывет над облаками
Месяц светел и высок.
Мы урвем еще клыками
Мяса красного кусок.

Иван Елагин

ВОСЕМЬ АМЕРИКАНСКИХ ПОЭТОВ

Н. Д. (ХИЛДА ДУЛИТЛ, 1880—1961)

КОРМЧИЙ

Торопись же
мы знали всегда: ты хотел нас.

Вглубь страны мы спасались со стадами своими,
где пасли их в лозинах,
заслоненных от ветра
и соленого брода болот.

Мы землю эту боготворили
и, ступая мимо лесных цветов,
позабыли твой привкус строгий;
мы лесную траву расчесали руками.

Мы брели от сосновых холмов
сквозь дубраву, сквозь колючий дубовый валежник
и помяли иссоп с ежевикой;
и поймав волосами цветок или
новую ягоду, мы смеялись
всякой ветке, хлестнувшей назад;
мы поранили ноги о полузарытые камни,
заплели по корням желудевые чашечки...

Мы забылись — забоготворили,
отличали мы зелень от зелени
и искали мы чаши все дальше,
погружая лодыжки в землю

сквозь лежалые прошлые листья;
и морочил нас лес и лесистый берег,
и ощущение в коре расселин,
и дальний склон, взятый в раму стволов,
и узкая тропка, бегущая в поле из поля,
и к лесу из леса,
и к холму от холма,
и роща, и роща
за всем за этим.

Так позабылись мы на мгновенье;
древесная смола и кора в морщинах,
и слеза на сорванной ветке
были на вкус так сладки.

Поля околдовали нас
пучками жестких трав
из травы покороче —
и мы возлюбили все это.

Но теперь наша лодка карабкается колеблется
падает —
карабкается — колеблется — срывается обратно —
карабкается — колеблется. — О,
торопись же —
мы знали всегда: ты хотел нас.

ДЖЕЙМС ЛОХЛИН (род. 1914)

МНЕ ЭТО НА БЛАГО

Склонять свое тело в земном
поклоне когда император проходит я
один из садовников в этом
дворце но я никогда не видел
его лица когда он вступает в
сад предшествоваемый мальчиками кои

звенят маленькими колокольчиками и я
 низко кланяюсь когда услышу
 что колокольчики ближе и ближе
 говорят что император очень
 добр и не слишком легко оби-
 жается он мог бы улыбнуться мне
 если я подниму глаза или даже
 заговорить со мной но мне кажется что
 император властен над моим смирением
 и что мое смирение само у власти

Э. Э. КАММИНГС (1894—1962)

*ГДЕ-ТО, КУДА Я НИКОГДА НЕ ДОБРАЛСЯ,
 пренебрегая всяким опытом*

где-то, куда я никогда не добрался, пренебрегая всяким опытом
 на радость, твои глаза берут свое молчание:
 в твоём слабейшем жесте есть нечто пленяющее меня,
 к чему я не могу прикоснуться, потому что оно слишком близко
 твой самый мимолетный взгляд легко меня освободит,
 пусть даже я сжался, как пальцы в кулак, —
 ты всегда открываешь меня, лепесток за лепестком, как весна
 (трогая умело и таинственно) открывает свою, первую розу
 а если ты пожелаешь меня закрыть, то я и
 жизнь моя замкнемся так великолепно и неожиданно,
 как сердце этого цветка, если бы представило себе
 снег, осторожно покрывающий все вокруг;
 и ничто из того, что в этом мире постижимо, не равно
 власти твоей напряженной хрупкости, чья ткань
 подчиняет меня дальним соцветием стран,
 воплощаясь то в смерть, то живя в каждом вздохе

(я не знаю, что же в тебе такое, что закрывает
и раскрывает; только нечто догадывается во мне,
что голос твоих глаз глубже всех роз)
и даже у дождя нет таких маленьких рук

ТЕОДОР РЁТКЕ (1908—1963)

*ЭЛЕГИЯ ДЛЯ ДЖЕЙН,
моей ученицы, сброшенной лошадью*

Я помню завитки на шее, нежесткие и влажные, как лепестки;
И как однажды, во время горячей случайной беседы, легкие фразы
Прыгнули к ней и укачали ее упоением собственной мысли —
Долгоперую птицу, счастливую, хвост по ветру,
Чьи песни трепещут в ветвях за листвою.
И полумрак с ней пел;
А листья — их шелест обернулся целованьем;
И сырая земля запела в серебристых долинах под розой.

О, когда грустна бывала, она бросалась в такую чистую глубь,
Что даже отец не мог ее отыскать:
Водила по щеке соломинкой,
Волнуя кристальную воду.

Мой воробышек, тебя здесь нет уже,
Ожидающей словно папоротник, бросающий колкую тень.
Ни мокрые бока камней меня не утешают,
Ни мох, израненный светом последним.

Если б тебя только мог растолкать я от этого сна,
Моя изувеченная любовь, мой играющий с волнами голубь.
И я произношу слова своей любви над свежей могилой,
Без всякого права на это:
Не отец, не любовник.

КОНРАД ЭЙКЕН (1889—1973)

ВОТ ОЧЕРТАНИЯ ЛИСТА

Вот очертания листа, а вот — цветка,
 А это — поседельй ствол древесный, который
 Следит за своими ветвями в незамутненной озерной глади,
 В том краю, что мы никогда не увидим.

Дрозд безмолвен на ветке, падает мягко роса,
 Ни звука не проронит вечер.
 И три прекрасных пилигрима, прибывшие туда,
 Касаются едва дорожной пыли,

Касаются едва ступнями, которые тревожат пыль, как крылья;
 И пугливо пришедшие вместе — там спокойны,
 Словно танцоры, в напряженную паузу ждущие музыки,
 Чтобы восполнить изысканность молчания.

Вот это мысль о первом, вот — о другом,
 А это — суровая мысль о третьем:
 "Помедли мы так, в ожидании бледном,
 И молчанье прервется, и в сумраке птица

Выведет чисто колено сладостно-ясной мелодии,
 Чтобы наполнился ею синий колокол мира;
 И мы, кто потоками лиственной музыки смыты,
 Листьям подобно, залетим отрешенно

Ни в красоту ли безмолвия, безмолвия навеки?.."
 ...Вот очертания дерева,
 А вот — цветка, листа и трех прекрасных пилигримов.
 Это все, что ты для меня.

АРЧИБАЛЬД МАКЛИШ (1892-1982)

ARS POETICA

Стихи должны быть осязаемы и немы
Как округленный плод,

И глу́хи —
Как медальоны старые на ошупь,

И молчаливы как стертый рукавами
Подоконник, покрытый влажным мхом, —

Стихи должны быть бессловесны
Как птичий лет.

*

Стихи во времени должны быть недви́жмы
Как восходящая луна:

Так оставляющими нас, как, ветку за веткой,
Высвобождает луна окутанные тьмою кроны;

Оставляя нас, как луна уходит за зиму,
Как память за памятью — из ума;

Стихи во времени должны быть недви́жмы
Как восходящая луна.

*

Стихи должны быть ра́вны
Неправде.

Для всей истории скорбей —
Пустой дверной проем и лист кленовый.
Для всей любви —
Клонящиеся травы и две зари над морем.

Стихи должны не значить что-нибудь,
А быть.

ПАУЛИНА ХАНСОН

И Я ДОСТАТОЧНО СТАРА, ЧТОБ ЗНАТЬ

Мне кажется, дальше смерти твоей не бывает места;
но когда я пошла туда, и когда я ушла оттуда,
это было лишь прочь от любви, о которой твердил ты,
даже если стремилась лишь к ней я.

И пока говоришь со мною, ты — весь мой,
и во дни и в ночи голоса твоего
мир любви раскрывается снова
и уводит мой взор в беспредельность.

И пока я все дальше к тебе продвигаюсь,
ты все ждешь, и пока ты берешь меня —
не как любовник, но как любовь, —
ты скажешь (и я достаточно стара, чтоб знать):

Любовь в таком далеком далеке,
любовь в такой непоправимой дали
от всегда возрастающих расстояний, чтоб увидеть
где смерть осталась, я должна посмотреть назад.

УОЛЛЕС СТИВЕНС (1879—1955)

БЛЮДО ПЕРСИКОВ В РОССИИ

Всем своим телом ощущаю я вкус этих персиков,
Трогаю их, вдыхаю аромат. Кто это говорит?..

Я поглощаю их, как анжуец
Поглощает анжуйское. Я вижу их, как видит любовник,

Как юный любовник по весне видит первые почки
И как на своей гитаре черный испанец играет.

Кто это говорит?.. А ведь должно быть, что я
Это животное, этот русский, этот изгнанник, кому

Церковные колокола прорастают звонами в
Сердце. Эти персики так крупны и округлы,
Ах, как румяны и покрыты пушком, ах!
Они напитаны соком и кожица их бархатиста.
Они напитаны видением моей родной деревни,
Чудесной погоды, лета, росы и покоя.
Тихая комната — та, где они лежат.
Окна раскрыты. Солнце просвечивает
Занавески. И даже колыхание их,
Такое невесомое, меня тревожит. Я и не знал,
Что такие жестокости могут тебя разорвать
Пополам, как сделали персики эти.

Переводы Александра Радашкевича

ЛЕВ ТОЛСТОЙ В РАБОТЕ НАД АГИОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

РАБОТА НАД ЖИТИЯМИ В 1860—1880 ГОДЫ¹

Первые творческие контакты русских писателей с нашей древней агиографией носили и количественно и качественно камерный характер. Да и мотивы, побуждавшие писателей заинтересоваться житийными произведениями, не имели общественного характера (или общественное здесь было вторичным и второстепенным). Мотивом чаще всего было показать читателям оригинальный персонаж, любимую идею, автобиографическую аналогию и т. д. Работа Герцена над житием св. Феодоры² в этом смысле типична.

Так было долго, дольше, чем до середины XIX в. Во второй же его половине, точнее — в последние 30-35 лет, все изменилось. Демократизация литературы, стремление русских писателей создавать "произведения о народе и для народа" увеличили внимание к памятникам фольклора и древнерусской литературы, которые создавались народом и которые (что подтвердил сам факт их многовекового бытования) принимались народом.

Фольклор предоставлял писателям свежие, сильные своим эстетическим воздействием, выразительные своей художественностью образы; древняя литература привлекала нравственностью, назидательностью и особенно своим героем — ведь в

1. Часть главы из исследования "Жития православных святых как литературный жанр и творческие обращения русских писателей к агиографии".

2. См. статью "Легенда" А. Герцена и "Житие св. Феодоры" в "Новом Журнале" № 148.

эти годы поисками положительного героя была занята вся Россия.

Стремление к всестороннему познанию положительного героя прошлого поставило всех, кто знакомился тогда с древнерусской литературой, перед необходимостью сосредоточить свое внимание на таком ее жанре, как жития, поскольку, говоря словами крупнейшего слависта тех лет Ф. И. Буслаева, "в древнерусской литературе именно житиям подвижников принадлежит собственное назначение изобразить высший идеальный мир".³

Первым из русских писателей, взглянувших на жития с этой, новой точки зрения, был Лев Толстой. Еще в конце 1869 г. в разгаре увлечения педагогической деятельностью и составлением "Азбуки", он решил использовать в своей работе с детьми и жития.

Когда план будущего издания определился окончательно, оно включало в себя, наряду с чисто дидактическим материалом, также и тексты для чтения, как называл эти тексты сам Толстой — "русское чтение и чтение славянское". Последнее представляло собой рассказы, взятые из Библии, Евангелия, летописей и житий святых. Лев Толстой опубликовал в своей "Азбуке" подлинные старославянские тексты с параллельными переводами.

Печатая в "Азбуке" жития, он преследовал прежде всего, конечно, образовательную цель. Это подтверждается и буквально переводов, и примечаниями, в которых, наряду с переводами использованных в тексте старославянских слов, приведены также формы их склонения или спряжения.

Кроме цели образовательной, была у составителя "Азбуки" также цель воспитательная, и именно это обстоятельство было весьма важным при решении использовать житийный материал: житие больше, чем любой иной жанр, способно поучать, наставлять, показывать пример; к тому же жития воздействуют не посредством отвлеченных и скучных рассуждений и назиданий, а в форме рассказа или повести, чаще всего написанных живо, интересно и увлекательно.

Для нас, однако, самой важной (даже если для Льва Толсто-

3. Ф. Буслаев. Исторические очерки русской народной словесности и искусства, том II, СПб, 1861, стр. 239.

го она и не была таковой) является третья цель писателя — ознакомление учеников с художественными достоинствами памятников древней русской литературы. Впрочем, сам Толстой оценивал эти достоинства тоже чрезвычайно высоко, в частности, достоинства русской агиографии. 27 марта 1871 г. С. А. Толстая записывает в своем дневнике, что ее муж "мечтает написать из древней русской жизни. Читает "Четьи Минеи", жития святых и говорит, что это — наша русская настоящая поэзия".¹

Работая над славянскими текстами для "Азбуки", Лев Толстой советовался с такими крупными специалистами по славянской филологии, как Ф. И. Буслаев, П. А. Бессонов, В. А. Елагин, а Н. Н. Страхов, которому он поручил наблюдение за печатанием "Азбуки" и вычитку корректур. Писатель попросил тщательно выверить все переводы, особенно житийных текстов, предлагая прислать для этой цели "Четьи Минеи" Дмитрия Ростовского и митрополита Макария.

В первую книгу "Азбуки" вошли следующие житийные тексты: "О Филарете монахе, который, нашедши тысячу золотых, возвратил их потерявшему", "О дровосеке Мурине" и "Житие преподобного отца нашего Давида, который прежде был разбойником". Во вторую книгу — "Житие преподобного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, нового чудотворца". В третью книгу — "Чудо Симеона Столпника с разбойниками". В четвертую книгу — "Слово о гневе".

Пометки, сделанные Львом Толстым на текстах "Четьи Минеи" Дмитрия Ростовского и митрополита Макария (книги сохранились в личной библиотеке Льва Толстого в Ясной Поляне), подтверждают слова писателя о том, что он "над переводами житий много трудился".² Не только переводы требовали усилий, большая работа была проделана и по отбору текстов. Даже когда все жития для "Азбуки" были отобраны и переведены, Лев Толстой колебался, стоит ли печатать некоторые из них, а от "Жития преподобного игумена Иосифа Волоколам-

1. С. Толстая, Дневник. Москва, 1928, том I, стр. 34.

2. Л. Толстой, Полное собрание сочинений в 90 томах, Москва, 1929-1964, том 61, стр. 297. В дальнейшем ссылки на тексты Л. Н. Толстого даются по этому изданию.

ского”, например, он решил отказаться даже после того, как прошла первая корректура.

В первоначальном варианте это житие предназначалось для второй книги “Азбуки”, а после его переработки — для третьей. Но и после переработки оно не удовлетворяло Толстого. 3 октября 1872 г. он писал Н. Н. Страхову: “Иосиф Волоколамский правда что длинен и скучноват, и сам святой не монах, а тщеславно самолюбивый добросовестный духовный чиновник, но есть в нем места наивно художественные — прелестные. Может быть, он нравится мне как психологический материал, и я ошибочно назначил его, и потому уничтожьте, если вам не жалко своей работы. Но он много лучше житий Сергия и Михаила”.¹

В конце концов “Житие Иосифа Волоколамского” в “Азбуку” не вошло, как и упоминаемое здесь житие Михаила, которое официально называется “Страдания святых вновь явленных мучеников Михаила, князя Черниговского, и Феодора, боярина его, от нечестивого Батыя”. Мысль об исключении этого жития, кстати сказать, появилась у Льва Толстого еще в середине августа 1872, когда он писал Страхову: “В славянском отделе IV книги есть житие Михаила и Феодора и вступление к нему, которое я думал бы исключить, но не знаю, как связать начало”.²

Жития, помещенные в “Азбуке”, не представляют для нашей темы большого интереса, так как это не только ни в какой мере не обработка агиографических текстов и даже не пересказы их, а почти дословные переводы. Именно такой был принцип работы Толстого — переводчика древнерусских текстов для “Азбуки”: ведь переводы в ней должны были отвечать лишь одной задаче — помогать ученикам усваивать старославянский язык.

Однако и среди этого нарочитого переводческого буквализма можно обнаружить некоторые характерные стилистические изменения, свидетельствующие об отношении переводчика к форме житийных произведений, о понимании им агиографии и о манере излагать по-русски славянские тексты. При внимательном чтении толстовских переводов приходишь к выводу, что при

1. Л. Толстой, том 61, стр. 321.

2. Л. Толстой, том 61, стр. 307.

подборе русской лексики переводчик всегда отдавал предпочтение словам и оборотам простым, а часто и простонародным. Вот несколько примеров.

В "Житии Сергия Радонежского": "Не бе же в дебри той воды текущая никогда же яко же *древнии человеци* яве известоваху". В русском переводе: "Не было же в лесу том воды текущей никогда как *старожилы* прямо говорили".

В "Житии Сергия Радонежского": "Въста с *колесници* своя". В русском переводе: "Он встал с *повозки* своей".

В "Чуде Симеона Столпника с разбойниками": "Бежите, да не кто умрет!". В русском переводе: "Бегите, не то — смерть!".

В рассказе "О Филагрии монахе": "Старец же *небрежаше*". В русском переводе: "А старец *и слышать не хочет*" (хотя в специальной сноске Толстой переводит это слово так: "небрежаше — не обращая внимания").

Та же тенденция упрощения наблюдается и при переводе отвлеченных понятий, которые в русском тексте "Азбуки" обычно заменяются словами с конкретным смыслом. Иногда сознательно допускается легкая (для времени перевода) архаизация, цель которой придать повествованию старинный, соответствующий представлению о житийном, тон. Например:

В "Филагрии монахе": "И обрете". В русском переводе: "*Нашедши* его".

Стремясь к передаче колорита оригинала, Лев Толстой, как правило, сохраняет его образы. Например: В "Житии Сергия Радонежского": "Не по мнозем преселися и от жития сего на места светла и прохладна". В русском переводе: "Спустя немного времени *переселились* они из этой жизни в места светлые и отрадные". Или (там же): "Вручи старейшинство Никону, иже аще и млад бе леты, но ум его *сединами цветяше*". В русском переводе: "Передал начальство Никону, который, хотя и молод был годами, но ум его *сединами процветал*".

В ряде случаев, по-видимому, посчитав старославянское слово предельно выразительным и не найдя ему в русском языке точного соответствия, Лев Толстой сохраняет это слово без перевода. Так, в рассказе "О дровосеке Мурине": "Пользы ради рыши нам житие свое, да и мы *поревнуем*!" В русском переводе: "Пользы нашей ради, расскажи свою жизнь, чтобы и мы

поревновали” (т. е. позаботились, постарались).

Иногда Лев Толстой сохраняет и синтаксический строй фразы оригинала. Это бывает в тех случаях, когда фраза строго лаконична. Например, в рассказе “О дровосеке Мурине”: “И придет вы дождь”. В русском переводе: “И будет вам дождь”.

Хотя и немного, но встречаются и случаи замены в переводе смысла некоторых слов подлинника, получающих при этом новый, усиливающий оттенок. Например, в “Чуде Симеона Столпника с разбойниками”: “Слышавше же се мужи те от святого, с какою *похвалою* предает дух свой, славяше Бога отъидоша в Антиохию”. В русском переводе: “Услышав же это люди те от святого, в каком *просветлении* предал дух свой, прославляя Бога вернулись в Антиохию”.

Но не только в замене или сохранении лексики подлинника проявлялась оценка Львом Толстым особенностей русской агиографии — в меньшей мере она видна и в принципах отбора самих житий для “Азбуки”.

Бросается в глаза, что в первой ее книге помещены жития, перенесенные митрополитом Макарием в “Четьи Минеи” из “Пролога”. Главная особенность этих житий — их краткость и простота изложения в них событий. Нет сомнения, что составитель оказал предпочтение этим житиям по причине легкости их восприятия — ведь они предназначались для чтения еще неискушенным в славянском материале ученикам.

Кроме того, проложные жития отличаются художественной завершенностью, что, бесспорно, тоже имело значение при их выборе. Все три жития, вошедшие в первую книгу “Азбуки”, компактны и представляют собой рассказы о каком-либо эпизоде из жизни святого (в третьем житии, хотя и дается изложение жизни Давида до его раскаяния и подвижничества, однако, это изложение предельно кратко, и все внимание агиографа сосредоточено на раскаянии и эпизоде с ангелом — подробно рассказывается о явлении ангела с известием о прощении Давида Господом, о неверии Давида в правдивость слов ангела и о лишении его за это дара речи).

Краткость житий, простота их композиции и изложение событий в них призваны увеличить доходчивость материала и силу его нравоучительности. Под стать житиям первой книги

“Азбуки” и жития, включенные в книги третью и четвертую — они лаконичны и целеустремленны.

Несколько отличается от всех прочих житий “Азбуки” вошедшее во вторую ее книгу “Житие Сергия Радонежского”. Хотя оно написано простым языком и совсем лишено вычурности и витиеватости, столь свойственных многим житиям, однако, оно действительно, как отметил Лев Толстой, “длинное и скучноватое”. Такое впечатление от этого жития создается из-за перегруженности сюжета многочисленными подробностями о детстве, подвижничестве, примерами творимых святым чудес, пренебрежения церковными почестями и т. д. “Житие Сергия Радонежского”, по существу, представляет собой собрание весьма разнородных эпизодов, связанных между собой только общим для всех них героем.

То же можно сказать (даже, пожалуй, с большим основанием) о “Житии Иосифа Волоколамского” и о “Житии Михаила и Фелора Черниговских”, что, по-видимому, послужило причиной их изъятия из окончательного состава “Азбуки”.

Увлечение Льва Толстого педагогической деятельностью продолжалось несколько лет. Он преподавал в Яснополянской школе, открывал школы для деревенских детей в своем Крапивенском уезде, выступал с докладами в Москве о собственном методе обучения грамоте, писал педагогические статьи и проекты, составлял “Азбуку”, “Новую азбуку”, книги для чтения учащихся...

Углубляясь в эту деятельность, Лев Толстой все больше убеждался в великой ценности русской агиографии. Ему даже пришла мысль издать для простого народа сборник избранных житий. Не будучи уверен в собственной компетентности, необходимой для отбора текстов, он надумал проконсультироваться с архимандритом Леонидом (Львом Александровичем Кавелиным), настоятелем Воскресенского монастыря и автором многочисленных работ по истории древнерусской литературы, в том числе и житийной.

Поскольку с самим архимандритом Лев Толстой знаком не был, он попросил своего хорошего знакомого, писателя и знатока русских былин П. Д. Голохвастова узнать у архим. Леонида, “не будет ли он так милостив составить список

наилучших, наинароднейших житий из "Четый Миней" Макарьевских, Дмитрия Ростовского и Патерика. Я хочу не переделывать, а выбрать для народного чтения и издать"¹.

Архимандрит Леонид согласился на эту просьбу лишь при условии предварительной личной встречи с Толстым, и тот решил в целях подготовки будущей встречи изложить свои планы письменно. 22 ноября 1874 г. Толстой писал архимандриту Леониду: "В предполагаемой мною книге (или ряде книг) я разделяю две стороны: форму — язык, размер (т. е. краткость или длину) и содержание — внутреннее, т. е. нравственно-религиозные основы, и внешнее, т. е. описываемые события. По всем четырем отделам я мечтаю о том, чтобы найти последовательность, т. е. постепенный переход от простого к более сложному. — 1) По языку, я думаю, что надо начать с Макарьевских житий вроде тех, которые напечатаны в моей "Азбуке", и 2) по размеру самые краткие, переходя постепенно к более трудным по языку до языка Дмитрия Ростовского, и по размеру до жития хоть Николая Чудотворца, 3) по внутреннему содержанию, от более доступных простых подвигов, как мучничество, до более сложных, как подвиги архиереев церкви, и 4) по внешнему содержанию, от событий более живых и рельефных до общественной и духовной деятельности. Вообще по языку я предпочитаю простоту и удобопонятность и сложный язык допускал бы только тогда, когда он живописен и красив, каким он бывает часто у Дмитрия Ростовского. По содержанию я предпочитаю для народного чтения, без сомнения, русских святых и таких, жизнь которых содержит более событий. Я очень мало начитан в этой отрасли литературы, но по тому, что знаю, мне кажется, что осуществление этого плана возможно.

Не могу выразить Вам, до какой степени Ваши указания мне будут драгоценны"².

Как видим, и в эти годы писатель усматривал в житиях те же достоинства, что и в конце 60-х годов. Тогда, только начиная работу над "Азбукой", он был "поражен" богатством древнерусской литературы, теперь он заявил, что "в нашей древней

1. Л. Толстой, том 62, стр. 120.

2. Л. Толстой, том 62, стр. 126.

литературе таятся сокровища, подобных которым не имеет ни один народ".¹

Архимандрит Леонид отнесся к планам Льва Толстого весьма благожелательно, хотя, отвечая ему, он уделил большее внимание не художественным и назидательным задачам будущего издания, а (в отличие от Толстого) религиозно-нравственным.

Интерес к изданию со стороны такого крупного специалиста в области агиографии, каким был архимандрит Леонид, очень обрадовал Льва Толстого, и он решил сделать издание многотомным, а для его финансирования основать общество. "Я сам дам свой пай денежный на это дело",² — восклицает писатель.

Он обдумывает проспект издания и начинает работу над "Житием и страданиями мученика Юстина Философа". Лев Толстой с большой горячностью принимается за изучение жития: вель то, что рассказывал агиограф о Юстине, Лев Николаевич мог бы рассказать о себе, вспоминая свои нравственные мечтания последних лет. Еще работая над эпилогом романа "Война и мир", он задумывался над смыслом человеческой жизни, не уничтожаемым смертью человека.

Этот вопрос казался писателю вопросом вопросов, он мучился им несколько лет, а ответа найти не мог. В "Исповеди" он очень емко формулировал то, что его волновало: "Есть ли в жизни моей такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?"³

Пытаясь получить ответ на этот вопрос, Л. Н. Толстой углубился в изучение философских систем, однако, пришел к выводу, что "философия чисто умственная есть уродливое западное произведение", бессилию которого должно быть противопоставлено "поэтическое, религиозное объяснение вещей".⁴

Именно эта идея положена в основу "Жития Юстина Философа", герой которого ищет истину в последовательно познаваемых и отвергаемых им учениях стоиков, перипатетиков,

1. Л. Толстой, том 62, стр. 161.

2. Л. Толстой, том 62, стр. 160.

3. Л. Толстой, том 23, стр. 16-17.

4. Л. Толстой, том 61, стр. 262.

платоников... Его блуждания безрезультатны, и только встреча с "неким старцем" открывает ему глаза на тщету философских "мудрований". Старец убеждает Юстина, что истина находится в христианской вере, и тот с мученическим самоотречением отдает всю свою последующую жизнь исповеданию и проповеди христианства.

Взявшись за работу над "Житием Юстина Философа" очень горячо, Л. Н. Толстой, однако, ее не окончил, встретившись почти при первых же попытках переделки с непреодолимыми трудностями. Прежде всего писателя смущал язык, которым надлежало пересказывать содержание жития. Адресуя свой пересказ народу, Лев Толстой считал обязательным пользоваться простой, часто простонародной лексикой, однако, содержание произведения требовало сохранения книжных, церковно-славянских оборотов. В результате происходило антихудожественное смещение двух языковых стихий. Вот примеры, взятые почти наугад из разных мест толстовской обработки жития:

"Он смолоду был отдан в книжное учение и, будучи остр разумом, скоро понял эллинскую премудрость". Или: "Навыкнув красноречию, возжелал он философии и сперва отдался в учение философу из стоиков, чтоб узнать их мудрование". Или: "Однава прохаживаясь один-одинешенек в отдаленном месте (за городом) у моря, рассуждая философские мудрования, увидел он незнакомаго почтенного и сединами украшенного старого человека".

Но и когда язык перевода был выдержан в одном стиле, содержание жития (именно содержание, а не сюжет, который предельно прост) невольно требовало усложнения формы, потому что оно делало необходимым объяснение философских понятий, изложение философских систем, а все это никак не позволяло упростить текст до степени понимания его рядовыми читателями.

Можно ли было надеяться, что читатели из народа что-нибудь уразумеют, например, из такой фразы, хотя все слова в ней по отдельности как-будто общедоступны: "Платонический философ обещал показать бестелесные вещи по подобию телесных и небесные по образу земных и научить знанию Бога по разумению идей".

По-видимому, вскоре после начала работы над "Житием и страданиями мученика Юстина Философа", Лев Толстой убедился, что хотя оно было близко лично ему, его собственным духовным исканиям и его собственному культурному уровню, но объективно оно совсем не отвечало тем требованиям, которые он предъявлял к литературе для народного чтения. Писатель отложил работу, которой так было загорелся, и больше к ней не возвращался. Усиленное писание романа "Анна Каренина" отодвинуло на задний план также и выполнение всего замысла издания житийного сборника — замысел этот так и не осуществился.¹

Однако, главная идея "Жития Юстина Философа" — обречение язычником Бога — еще долго и настойчиво волновала писателя. В 80-е годы она вылилась в создание повести "Ходите в свете, пока есть свет". Правда, сравнительно с "Житием Юстина Философа" конфликт здесь изменен: там он состоял в невозможности познания Бога при посредстве любой из существующих и когда-либо существовавших философских систем, здесь речь идет о столкновении жизни мирской с жизнью христианской. Тем не менее связь повести с житием совершенно очевидна. Изменение же конфликта сделало проблемы, которыми жили герои "повести из времен первых христиан", острыми также и для современников ее автора.

Чтобы еще больше усилить связь времен, Л. Н. Толстой предпослал повести пролог ("Беседа досужих людей"), в котором эти современники решают (и не могут решить) вопрос о том, как сделать, чтобы быть довольными своей жизнью, и как начать жить не мирской жизнью, а христианской. Мечтания героя повести (он, как и Юстин, — язычник) — не *блуждания* ума по "мудрованиям философов", а *жизнь человека* с ее тяжкими повседневными испытаниями, удачами, бедами и прихо-

1. Любопытно замечание современной ленинградской исследовательницы Е. П. Купреяновой, которая видит отзвуки "Жития Юстина Философа" в беседе Левина с работником Федором о старике Фоканыче (роман "Анна Каренина"): "После этой беседы Левин обретает выход из своего философского скептицизма. По смыслу и основным фабульным очертаниям беседа воспроизводит столь же случайную и столь же решающую беседу Юстина Философа с неким "старцем-христианином", открывающим Юстину свет истины". Е. Купреянова, Эстетика Л. Н. Толстого, "Наука", М.—Л., 1966, стр. 245.

дом в конце ее к христианам, к Богу.

Для повести "Ходите в свете, пока есть свет" нельзя указать определенного древнерусского источника, она является как бы результатом изучения ее автором многочисленных произведений духовной письменности — Библии, сочинений отцов церкви, учительных сборников (таких, как "Пролог", "Патерики", "Училище благочестия", "Добротолюбие" и др.). В этих произведениях можно найти много рассказов об обращении язычников в христианство, религиозных "диалогов" между христианами и идолопоклонниками и других повествований на подобные темы.

К работе над повестью "Ходите в свете, пока есть свет" Лев Толстой возвращался много раз, но так и не был ею удовлетворен, считая, что "мысли там хорошие но написано нехудожественно — холодно"¹. Вероятно, этой неудовлетворенностью объясняется, что автор не опубликовал повесть в 80-х годах в только что созданном по его желанию книгоиздательстве "Посредник", хотя задачу его он видел в публикации именно подобных книг для народного чтения.

Специально для издательства "Посредник" Л. Н. Толстой пишет несколько нравоучительных рассказов и повестей с религиозно-христианской тематикой, а затем вновь увлекается житиями. Он много переводит сам и поручает переводить отобранные им для печатания в "Посреднике" жития своим друзьям и знакомым А. К. Дитерихс, П. П. Беликову, Е. С. Некрасовой, М. М. Павловой... Перерабатывались главным образом жития из "Четьей Миней" митрополита Макария — "Житие Филарета Милостивого", "Житие Моисея Мурена", "Житие Тихона Задонского", "Житие Павлина Ноланского", "Житие преподобного Трифона", "Житие Юлианны Лазаревской".

Л. Н. Толстой выбирал жития для издания, следил за работой сотрудников, давал указания руководителям издательств о направлении, в котором считал нужным перерабатывать жития, читал присылаемые издательством готовые переделки... Наконец, он и сам начал работу над несколькими житийными сюжетами, в частности, приступил к драматизации "Жития свя-

1. Л. Толстой, том 86, стр. 49.

того Петра, бывшего прежде мытарем" ("Петр Хлебник") и к переводу "Страданий святого мученика Феодора в Пергии Памфилийской" и "Страданий святых Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины".

Работу над "Петром Хлебником" Л. Н. Толстой скоро прервал, хотя впоследствии возвращался к ней несколько раз, а в 1894 г. даже собирался поставить свою драматическую пьесу на домашней сцене с участием крестьянских ребят и своих младших дочерей. Впрочем, к объявленному спектаклю он драму окончить не успел, а затем и вообще ее забросил.

Что касается двух других житий, то судьба их различна. "Страдания святого Феодора" были завершены и весной 1886 г. опубликованы в издательстве "Посредник". Работа над другим житием продолжалась довольно активно до марта 1886 г., но опубликовано оно так и не было.

Оба эти повествования были не просто "житиями", а (как это видно уже из их заглавий) "страданиями" (в греческой агиографии — "маририи"), то есть такими житиями, которые рассказывают о мученичестве и смерти святых первых веков христианства¹. Именно описания мучений, которым подвергают христиан язычники, занимают в этих житиях главное место.

"Страдания святого мученика Феодора в Пергии Памфилийской", помещенные в "Четьих Минеях" Дмитрия Ростовского (чтение на 21 апреля), повествуют подробнейшим образом о мучениях Феодора, например, когда его, привязав к хвостам лошадей, разрывают на части, или когда его поджаривают на раскаленной сковороде, или когда запирают в только что истопленную печь... (К слову сказать, благодаря Божией помощи после всех истязаний Феодор остается совершенно невредим.)

1. Выбор Л. Н. Толстым для работы в эти годы именно "страданий" никак нельзя считать случайностью. Очень ценное замечание об этом сделал С. Росоветский, автор статьи "Л. Н. Толстой — редактор древнерусских текстов", который считает, что "для Толстого обращение к маририям было связано с субъективными побуждениями... Страдание за идею становится для него идеальной моделью поведения. В его дневнике неоднократно отражается "желание страдать", "желание жертвы, примера победительного", "готовности к кресту, к тюрем, к виселице" — Сборник "Лев Толстой: проблемы творчества", Киев, 1978, стр. 196.

Переделывая житие Феодора, Л. Н. Толстой полностью освобождает его от всех этих типичных для "страданий" ужасов, жертвуя даже весьма и весьма колоритными описаниями. Вот, например, какой текст следует за отказом Феодора отречься от Христа: "И повеле игемон възгнетати огонь, и сковраду велию железну принести, и растопити много смолы, серы и воска, и возложити на сковраду мученика нага и возляити нань растопленное".

Вместо этой картины, в которой грешники подвергают праведника на земле таким страданиям, какие уготованы грешникам в аду, в толстовском рассказе мы находим лишь краткое сообщение о том, что после отказа Феодора отречься от Христа и поклониться кумирам, "воевода предал Феодора мучителям, и много, и люто мучили они его". О вторичном отказе Феодора отречься от Христа в толстовском переработке не упоминается вообще, хотя в тексте "Четый Миней" и об этом отказе, и о его ужасных последствиях рассказывается с мельчайшими подробностями.

Мы уже могли убедиться в предыдущих главах, что русские писатели, обращавшиеся к житиям до Льва Толстого, исключали из своих переработок все элементы чудесного, столь свойственные агииграфии. То же надо сказать и о Льве Толстом. И когда мы отмечаем отсутствие в его "Житии Феодора" описаний мучений, которым подвергался святой, то причину этого надо видеть в неприятии автором всякого чуда.

А ведь самое существо агииграфического повествования состоит в том, чтобы доказать, что даже наиболее убийственные, наверняка умерщвляющие мучения не имеют власти ни над духом, ни над телом мученика именно благодаря чудесному заступничеству Бога или Богородицы. Таким образом, после толстовской переделки, которая лишает текст и мучений, и чудес, "страдания", по существу, перестают быть "страданиями" в том смысле, как понималась специфика жанра в Древней Руси.

Л. Н. Толстой исключает из своих переделок агииграфических произведений чудесное не только как избавление мученика от нечеловеческих страданий, он исключает все чудесное вообще. В этом смысле показательно, как он меняет эпизод с приходом

матери Феодора. В "Четыхх Минеях" подробно повествуется, как по молитве Феодора, сидящего в печи огненной, Господь посылает к нему его мать. В переработке же весь этот рассказ сводится к единственной, весьма лаконичной и абсолютно реалистической фразе: "Через три дня, когда Феодора повели опять на мучения, пришла мать его, именем Филиппия".

Наряду со всем чудесным изгоняет Лев Толстой из своего повествования всевозможные восторженные речи мучеников, да и вообще все пафосное, к чему питали слабость многие агнографы, и сам Дмитрий Ростовский как редактор "Четый Миней". Вот, например, какое изменение в толстовской обработке потерпел ответ Филиппии военачальнику Феодоту, который приказывает ей убедить Феодора перестать упорствовать.

Текст агнографа: "Мой сын, как я получила о нем известие от Господа моего раньше его зачатия, будет распят тобою и принесет Богу жертву хвалы". Текст Льва Толстого: "Но она не послушала его".

Столь же кардинально изменен в толстовском тексте и пространный монолог языческого жреца Диоскора, уверовавшего в истинность христианства и заявившего Феодоту о своей убежденности в могуществе Христа и бессилии Зевса. Для любого "страдания" были обязательны обширные обоснования христианского и языческого вероисповеданий их приверженцами, то есть читателю давалась возможность как бы присутствовать на теологическом диспуте и видеть нравственную победу защитника истинной — христианской — веры. Эту же задачу возлагал агнограф на монолог Диоскора.

Л. Н. Толстой же весь этот эпизод оценивает лишь с точки зрения его значения для сюжета (а для сюжета он только задержка развития действия) и стиля (а искусственный пафос Диоскора вступает в противоречие с толстовским реализмом). Именно поэтому весь этот длинный текст подлинника в толстовской переработке заменен единственной фразой от автора: "Диоскор, видя многие страдания Феодоровы, уверовал во Христа и не боязненно сказал воеводе, что и он сделался христианином".

Убирает всякий пафос Л. Н. Толстой и из рассказа агнографа о смерти Феодора.

Текст агнографа: "При сих словах он испустил дух свой, в

столь короткое время приняв венец мученический, подобно тому, как разбойник на кресте получил рай”.

Текст Льва Толстого: “И сказав это, испустил дух”.

Оканчивается толстовская переделка обобщающей фразой, которая следует непосредственно за сообщением о смерти Феодора: “Так кончали жизнь свою мученики эти”. Между тем, в “Четьих Минеях” после описания смерти Феодора дается подробное описание погребения.

Как видим, Л. Н. Толстой беспощадно переделывал по своему любой эпизод первоисточника, который не отвечал его этическим или эстетическим требованиям. В то же время, все близкие ему по духу тексты он переносил в свои обработки, переводя их с предельной внимательностью. В этом смысле характерно, как близко к тексту переведен эпизод с отказом Феодора “от службы царской” — когда он срывает возложенное на него игеомом “знамение воинское”. Впрочем, подобных эпизодов в “Страданиях святого мученика Феодора в Пергии Памфилийской” немного.

В том же направлении, как это житие, Л. Н. Толстой подверг переделке и “Страдания святых Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины”. (Житие взято из “Четьий Миней” Дмитрия Ростовского, чтение на 18 мая). Уже по тому, как была изменена первая фраза жития, можно судить о характере всей переделки.

Текст агиографа: “Во время гонений, поднятых на христиан язычниками, верные воины Христовы полагали души свои за Господа своего, так что вся вселенная обагрилась кровью мученической”.

Текст Льва Толстого: “Было время, когда мучили и убивали христиан”.

На всем протяжении текста писатель жестко проводит те же принципы, которых он придерживался при обработке “страданий мученика Феодора”: освобождает своих героев от необходимости произносить восторженные речи, не акцентирует внимания читателей на физических мучениях, не нанизывает страшных подробностей пыток и казней, он лаконичен и стремится сосредоточиться на делах мучеников, доказывая этим, что не в пафосных речах, а в добрых делах — их подлинное величие. Особенно интересно в этом плане сравнить поведение Христины

перел свершением ею подвига в "Четьях Минеях" и у Л. Н. Толстого.

В первом случае она торжественно произносит, обращаясь к своим товарищам-христианам: "Я хочу умереть вместе с вами на земле, дабы вместе с вами жить на небе!". Во втором же случае она, не говоря ничего, бросается на тела мучеников, закрывая их собою, и ее вместе с ними побивают камнями.

Если эпизод с кончиной Христины показателен для отношения Л. Н. Толстого к пафосной велеречивости, то для его отношения к чудесам показателен эпизод с бесчестием Христины. В толстовский текст этот эпизод вообще не был допущен, в тексте же агиографа после того, как игемон Опитимик приказал "двум бесстыдным юношам обесчестить" Христину, мы читаем: "Но авие угасе в телесех их естественный любодейня огонь, и омертвеша похотные уды, и даже до полунощи дедившеся осквернити ю, ничего же успеша" (в полночь должен был явиться — и явился — ангел-хранитель Христины).

Исключение этого эпизода имело, по-видимому, и еще одну цель — придать повествованию большую композиционную стройность, создать более тесную связь между деяниями всех пятерых мучеников, которым посвящено житие. Композиционному единству жития Лев Толстой явно придавал большое значение, стараясь стереть заметно ощутимые в тексте "Четьих Минея" переходы между повествованиями о каждом отдельном святом и создать компактный рассказ о единой слитной группе мучеников, представляющей перед вниманием читателей всегда в полном своем составе.

С тою же целью концентрации читательского внимания на уже определенной в тексте жития группе мучеников, Лев Толстой в своем рассказе не упоминает о страданиях Ираклия, Павлина и Венедима, хотя в "Четьях Минеях" об этих мучениках тоже говорится.

Компактности повествования Лев Толстой достигает и сдвигая события во времени. Так, в "Четьях Минеях" поимка христиан, их отказ принести жертву Диане и выдача их на растерзание язычникам растянуты на трое суток, в толстовском же рассказе все это происходит в один день.

Есть в произведении Льва Толстого также изменения

некоторых идейных и морально-этических акцентов. Интересно в этом смысле сравнить отношение обоих авторов к Никوماху, который был схвачен язычниками вместе с другими христианами. Сперва Никوماх во всеуслышание и не раз заявлял, что он — христианин, но затем, не вытерпев мучений, отрекся от Христа и согласился поклониться идолам. Вот как комментируют этот поступок агиограф и Лев Толстой.

Агиограф: "Когда окаянный этот богоотступник принес жертву идолам и поклонился им, то на него напал бес и сильно ударил его об землю, так что Никوماх стал с яростию бесноваться, кусая язык свой и испуская кровавую пену до тех пор, пока не испустил свою окаянную душу".

Лев Толстой: "Но тотчас же начальник велел отвязать Никوماха и пустить его. Но Никوماх уже был так изуродован, что, недолго помучившись, тут же умер".

Как видим, преобладающее чувство автора в первом случае — *негодование на отступника*, во втором же — *сожаление о слабом человеке*, у которого не хватило силы духа вытерпеть смертные муки. Здесь мы имеем, следовательно, дело с различной религиозно-нравственной авторской оценкой факта.

В этом же плане следует отнестись и к изменениям, которые ввел Лев Толстой в финал жития. Агиограф, завершая житие, пишет, что мученики "сподобились быть победителями врагов своих *при помощи Христа*". В толстовской же переработке (поскольку роль Божественной помощи в ней ослаблена или даже вообще снята) нравственная основа всех событий переложена *на самих подвижников*. Ими, их деяниями, силой их духа, их мужеством восхищается читатель толстовского текста, иной раз даже и не вспоминая, ради чего подвижники стали подвижниками.

Направление толстовской переработки финала "Страданий святых Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины" может восприниматься, мне кажется, не только как оценка Львом Толстым самого этого финала и даже не только как оценка писателем всего жития — оно объясняет также и один странный, на первый взгляд, факт — почему Толстой, создав "для народного чтения" добрый десяток произведений, многими чертами сходных с житиями святых ("народные рассказы"), подлинные жития не обрабатывал (или почти не обрабатывал).

Главное требование, которое Лев Толстой предъявлял к произведениям "для читателей из народа", состояло в наличии в этих произведениях положительного примера, который бы помог этим читателям собрать все их нравственные силы для борьбы с тем, что есть дурного в их природе, собрать силы для *самоусовершенствования*. Такой положительный пример писатель увидел в житиях русских святых. Однако, при более внимательном их изучении он понял, что носители совершенных качеств в житиях были по большей части Божьими избранниками, пришедшими к своей беспорочности и творившими добрые дела при помощи Господа и ангелов. И действовали они не по своему собственному решению и рассчитывая на свои собственные силы, а были лишь орудием Божьих помыслов в Божьих руках.

Жития не давали Льву Толстому материала, на котором раскрывалась бы его идея о том, что человек может "приближаться к Богу", *самосовершенствуясь*, для чего он должен сознательно и постоянно творить добрые дела и поступать по-Божьи. Конечно, это не могло не уменьшить интерес писателя к агиографии.

Кроме неудовлетворенности идейной стороной житий, у Льва Толстого появилось в процессе работы над ними недовольство и их формой, о чем он прямо писал (в марте 1886 г.): "Все жития, как только переводятся на простой язык, так сейчас поражают своей искусственностью. Только на славянском или древнем они читаются. И этим обманывают"¹.

Оставив работу над житиями, Лев Толстой создает собственные произведения ("народные рассказы"), поэтику которых в значительной мере строит на поэтике русского фольклора и древнерусской литературы, в частности, на агиографии.

А. Опудский

¹ Л. Толстой, том 85, стр. 328.

СУДЬБА ПЕРСТНЯ- ТАЛИСМАНА А. С. ПУШКИНА

В 1917 г. из музея Императорского Александровского лицея была похищена коллекция экспонатов. Среди исчезнувших реликвий — перстень Александра Сергеевича Пушкина, последним владельцем которого был И. С. Тургенев. Этот перстень, после смерти писателя, был передан Полиной Виардо в дар лицею.

Брошенный большевиками лозунг — “Грабь награбленное” — был охотно подхвачен “народными массами”. Разорялись родовые имения с их бесценными историческими и культурными памятниками, грабились храмы, музеи, дворцы, разворовывались личные коллекции, обкрадывались барские особняки. Исчезло, погибло, было распродано огромное количество исторических реликвий, — лишь очень небольшое было вывезено владельцами за границу. Бесследно исчезали картины, фарфоровые табакерки, скульптуры, гобелены, коллекции древних монет и античных гемм, предметы церковного обихода, ювелирные изделия, имевшие художественное значение.

В январе 1918 г. в Московском Кремле была ограблена Патриаршая ризница, в которой хранились исторические сокровища России, оцениваемые не менее чем в 30 млн. золотых рублей (по нынешним ценам — свыше 500 млн. долларов). Как вспоминает один советский антиквар, “среди украденного была сделанная замечательными русскими мастерами первой половины XVII века “средняя митра” патриарха Никона с большим изумрудом, на котором неизвестный резчик изобразил сошествие Христа в ад; напечатанное в 1689 г. единственное в своем роде

Евангелие в золотом, покрытом художественной эмалью и усыпанном драгоценными камнями переплете весом около двух пудов; перстень московского святителя митрополита Алексея и другие уникальные вещи”.

Не избежало общей участи и наследие многих русских писателей, ученых, видных общественных деятелей: кое-что удалось сохранить, кое-что было разыскано, но сколь многих вещей, документов, писем и след простыл, если они не были вывезены за рубеж. Утеря какого-нибудь, хотя бы и золотого перстня, не Бог вещь какая утрата, — и не такие вещи погибали тогда, но совсем другой вопрос, когда это касается перстня, принадлежавшего Пушкину, его талисмана, связанного с его гворчеством, с созданием двух замечательных стихотворений под одним и тем же названием — “Талисман”. Об этом и пойдет дальше разговор.

Жизнь Александра Сергеевича Пушкина в ссылке в Одессе и Кишиневе и его увлечение графиней Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой (урожд. графиня Бранишкая) рассмотрено подробно и глубоко, тщательно документировано в исследовании пушкиниста, члена Пушкинской комиссии АН СССР Т. Г. Цявловской. Ее работа “Храни меня мой талисман...” была опубликована в 10-м сборнике “Прометей” (М., 1975).

Цявловская воспроизводит оба стихотворения “Талисман”. Они, конечно, известны всякому, кто любит Пушкина. Первое было написано в 1824-1825 гг.

Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.

Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозюю грянут тучи
Храни меня, мой талисман.

В уединеньи чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман.

Священный сладостный обман,
Души волшебное светило...
Оно сокрылось, изменило...
Храни меня, мой талисман.

Пусть же в век сердечных ран
Не растравит воспоминанье.
Прощай, надежда; спи желанье;
Храни меня, мой талисман.

Второе стихотворение "Талисман" было как бы антитезой предыдущему. Написано оно в 1827 г.

ТАЛИСМАН

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.
И, ласкаясь, говорила:
"Сохрани мой талисман:
В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан.
От недуга, от могилы,
В бурю, в грозный ураган,
Головы твоей, мой милый,
Не спасет мой талисман.

И богатствами Востока
Он тебя не одарит,
И поклонников пророка
Он тебе не покорит;
И тебя на лоно друга,
От печальных чуждых стран,
В край родной на север с юга
Не умчит мой талисман...

Но когда коварны очи
Очаруют вдруг тебя
Иль уста во мраке ночи
Поцелуют не любя —
Милый друг! От преступленья
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман!"

Цявловская дает следующий комментарий к этим двум стихотворениям:

" 'Талисманом' Пушкин называл свой перстень с вырезанными на камне таинственными письменами. Это был подарок Воронцовой. Этим перстнем он запечатывал свои письма. Много позднее, в 1835 г., он нарисовал свою руку с этим кольцом на одном из пальцев. До конца своих дней Пушкин не снимал с руки этого перстня. И на дуэль отправился он с «талисманом». Снять кольцо с мертвой руки Пушкина пришлось Жуковскому.

Сестра Пушкина рассказывала, что, когда он получал письмо с такой же печаткой, как и на его перстне, то запирался в своей комнате, никуда не выходил, никого не принимал".

О судьбе перстня после смерти Пушкина, Тургенев рассказал артистке М. Г. Савиной — своему позднему и глубокому увлечению. В постскриптуме к письму от 17/29 мая 1880 г., написанному в Спасском, Иван Сергеевич сообщает: "Ведь я могу писать — *con tutta liberta?* Т. е. кроме Вас никто читать этого не будет? Я для этого и припечатываю это письмо пушкинским кольцом-талисманом...".

В комментарии к письму сообщается: "Тургеневу принадлежал перстень Пушкина — золотой с сердоликовой печатью". "Перстень этот, — писал Тургенев, — был подарен Пушкину в Одессе графиней Воронцовой. Он носил почти постоянно этот перстень (по поводу которого написал свое стихотворение "Талисман") и подарил его на смертном одре поэту Жуковскому. От Жуковского перстень перешел к его сыну Павлу Васильевичу, который подарил его мне".

В 1880 г. Тургенев, по просьбе устроителей Пушкинской выставки в Москве, во время празднования открытия памятника

А. С. Пушкину, передал для экспозиции перстень вместе с серебряным медальоном, в котором была прядь волос поэта. Перстень потом был экспонирован на Пушкинской выставке в Петербурге, устроенной Обществом для пособия нуждающимся литераторам, ученым и их семействам (Литфонд).

После пропажи перстня из музея Лицея, сохранился лишь его футляр с упомянутой запиской Тургенева и сургучным отпечатком перстня. Автор комментария уверяет, что этот "перстень не был талисманом, а был именно печатью с еврейской надписью: "Симха, сын почтенного рабби Иосифа старца, да будет его память благословенна". Делая это сообщение, комментатор ссылается на статью В. П. Гаевского "Перстень Пушкина. По новейшим исследованиям" ("Вестник Европы", 1888, № 2, стр. 521-37; "Описание Пушкинского музея Имп. Александровского лицея". СПб., 1899, стр. 12-3).

В упомянутой выше записке Тургенева приведено и объяснение к медальону: "Клочок волос Пушкина был срезан при мне с головы покойного его камердинером 30 января 1837 г. на другой день после кончины. Я заплатил камердинеру золотой. Иван Тургенев. Париж. Август 1880" (Письма, т. XII, кн. 2, стр. 577).

Как сообщает комментатор письма Тургенева к В. П. Гаевскому от 13/25 августа 1880 г., писатель поместил два свидетельства (о кольце и медальоне) на одной страничке. Эта страничка была впоследствии разрезана: свидетельство о перстне и его фотография хранятся во Всесоюзном музее А. С. Пушкина в г. Пушкине (быв. Царском селе). Медальон с волосами поэта передан в экспозицию Музея-квартиры А. С. Пушкина в Ленинграде (Мойка, 12).

Неизвестно, была ли понятна Тургеневу надпись, вырезанная на перстне. В 1879 г. он ездил в Англию и брал с собой перстень, надеясь, что кто-либо из ориенталистов прочтет ему надпись и составит объяснительную записку, которую Тургенев предполагал приложить к перстню, отправляя его на Петербургскую выставку. Записка не была отправлена и затерялась.

О дальнейшей судьбе пушкинского перстня-талисмана после его пропажи из Лицейского музея рассказано в книге Юрия Кларова "Печать и колокол. Рассказы старого антиквара", вышедшей в 1981 г. "Талисман" — одна из пяти новелл историко-

приключенческого характера. Рассказ ведется от имени старого искусствоведа и антиквара Василия Петровича Белова. Старый антиквар опирается на факты, дополняя их домыслами, когда в фактах есть пробелы, стараясь, однако, не слишком отступать от действительности.

Свой рассказ Белов начинает с дуэли Пушкина. Раненый поэт пытался надеть перчатки. Левая перчатка наделась легко, а правая зацепилась за перстень с изумрудным камнем.

Пушкин носил не один только этот перстень с изумрудом. Бесспорно, что в день дуэли Пушкин, как всегда, носил и перстень Воронцовой.

Умиравшему Пушкину хирург Арендт привез записку от царя: "Любезный друг Александр Сергеевич, если не суждено нам встретиться на этом свете, прими мой последний совет: старайся умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свое попечение".

"Пушкин положил записку на стоящий у дивана столик. Здесь стояло ведро с шампанским и горели в бронзовом канделябре витые свечи. На его указательном пальце вспыхнул зеленым пламенем изумруд. Перстень вторично за этот вечер напоминал о себе, напоминал деликатно, ненавязчиво. У Гете тоже был резной перстень с изображением Амура на морском коне. Кто-то говорил, что тот перстень был сапфировым, но Пушкин сомневался. К синему цвету Гете относился если не отрицательно, то, по меньшей мере, настороженно. "Синее вызывает у нас чувство холода... — писал он. — Синее стекло показывает предметы в печальном виде". А зеленый цвет великий старец любил, в нем он ощущал добрую и умиротворяющую силу природы. Так же как и Плиний, Гете считал, что такой цвет способен успокоить и глаз и душу. Поэтому перстень у Гете, скорее всего, был тоже изумрудный, такой же зеленый, как и этот".

О происхождении смарагдового (изумрудного) перстня существует несколько версий. Дочь Бориса Годунова Ксения заказала себе перстень, который был копией знаменитого перстня Поликрата — на нем была вырезана лира в окружении пчел. Перстень потом переходил из рук в руки и, в конце концов, был приобретен бабушкой поэта, Марией Алексеевной Ганнибал,

которая завещала его своему внуку.

По другой версии, перстень Ксении оказался в Кракове или в Варшаве, где его случайно приобрел Адам Мицкевич и преподнес поэту в знак почитания таланта Пушкина — автора "Бориса Годунова".

Другая легенда. Иван III выдал свою дочь Елену замуж за великого князя литовского Александра. В свите Елены был предок поэта Василий Тимофеевич Пушкин, которому за верную службу Елена подарила свой перстень, который стал семейной драгоценностью Пушкиных и достался Александру Сергеевичу от его дяди, Василия Львовича. Согласно легенде, венецианский ювелир вырезал на перстне шапку Мономаха и бармы.

Одни из современников поэта утверждали, что перстень-талисман был подарен ему Державиным, другие — Дельвигом, третьи называли имя графини Воронцовой, хотя достоверно известно, что Елизавета Ксаверьевна подарила Александру Сергеевичу именно сердоликовый, а не изумрудный перстень.

Кларов отмечает, что существуют самые разнообразные легенды о дальнейшей судьбе перстня: "Шепотом говорили, что поэт переслал свой талисман... И. И. Пушкину... некоторые уверяли, что перстень у... Чаадаева". В. И. Даль — врач, писатель и этнограф, после ранения Пушкина на дуэли безотлучно находился у одра умирающего поэта. В дореволюционном Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона сказано, что Даль "присутствовал при трагической кончине Пушкина, от которого получил его перстень-талисман", а в статье о Данзасе сказано: "Пушкин очень любил Данзаса, которому, умирая, отдал на память со своей руки кольцо".

Искусствовед Василий Белов, от имени которого ведется рассказ в книге Кларова, сообщает, что его отец, Петр Никифорович, будучи молодым офицером, хотел проверить слухок, пущенный кем-то из ненавистников Наталии Николаевны, что, будто бы, получив перстень от мужа, она "не нашла ничего лучшего, как подарить талисман поэта своей уехавшей в Париж сестре, жене убийцы. Белов встретился с дочерью супругов Дантес, Леонией-Шарлоттой, которая заверила посетителя, что жена поэта никогда не дарила своей сестре, Екатерине Николаевне, перстня покойного, она даже не слышала об этом талисмане.

Приводится и такой вариант: Пушкин входил в литературно-политический кружок "Зеленая лампа", чьим девизом был "Свет и Надежда". Члены общества имели кольца, на которых была вырезана лампа. Кольцом с такой печатью Пушкин запечатал письмо П. Б. Мансурову. Белов не сомневался, что "тайна талисмана разгадана... Пушкин, всегда сочувствовавший вольнолюбивым стремлениям своих друзей-декабристов, на всю жизнь сохранил перстень-печатку с "Лампой надежды". Эта печатка являлась его талисманом с юных лет и до трагической смерти от руки Дантеса".

Впоследствии Белов-отец встретился с сыном поэта, Александром Александровичем, тогда — полковником. Сын поэта подтвердил, что, по семейным преданиям, у отца имелся перстень-печатка с изображением лампы. Но этот перстень был потерян Александром Сергеевичем не то в Кишиневе, не то в Грузии, "а может быть, еще где-нибудь — до женитьбы на Наталии Николаевне".

Александр Александрович Пушкин носил на мизинце правой руки только с бирюзой, которое отец подарил его матери после дуэли. Точно такое кольцо было подарено и Данзасу, секунданту Пушкина. Рассказ Данзаса, записанный его другом А. Аммосовым и изданный им в 1863 г., подтверждает передачу Пушкиным бирюзового кольца своему секунданту. На прямой вопрос Белова о перстне-талисмани сын Пушкина не мог сказать ничего определенного и посоветовал обратиться к Александре Осиповне Смирновой (урожд. Россет), опубликовавшей в 1871 г. в "Русском Архиве" воспоминания о Пушкине и Жуковском.

Разговор отца-Белова со Смирновой состоялся якобы в 1880 г. в Москве, куда мемуаристка приехала из-за рубежа. Она подтвердила, что у Пушкина был изумрудный перстень-талисман, который он носил на указательном пальце правой руки и которым он очень дорожил. Об этом, мол, знали все друзья поэта. Она подтвердила и господствующее мнение, что поэт подарил кольца с бирюзой Данзасу и Наталии Николаевне.

Приведу абзац из книги Ю. Кларова о разговоре П. Белова со Смирновой в присутствии ее дочери Ольги Николаевны Смирновой, той самой, которой принадлежит нашумевшая литературная мистификация — "Записки" ее матери.

“Она [Александра Осиповна] знала про все слухи, но не считала нужным опровергать их. Теперь, после вешего сна и разговоров с духом Пушкина, она хочет внести ясность. В действительности все было иначе... Совсем иначе. Александр Сергеевич, как и следовало ожидать, подарил перед смертью свой талисман Василию Андреевичу Жуковскому, которого он так сильно любил и который так много для него сделал. Тут не может быть никаких сомнений. Жуковский об этом сам рассказывал, когда они после смерти Сверчка [Пушкина] встречались в Дюссельдорфе и во Франкфурте-на-Майне. Василий Андреевич носил тогда перстень-талисман на среднем пальце правой руки, рядом с обручальным кольцом. Он говорил, что Пушкин и жена занимают в его сердце равное место, поэтому перстень покойного и обручальное кольцо тоже должны быть всегда вместе”.

Далее сообщается, что перстень перешел к сыну Жуковского, а тот передал его Тургеневу. Эта последняя версия судьбы перстня соответствует фактам, отмеченным Тургеневым и подтвержденным Т. Цявловской. Правда, за исключением одного, но серьезного расхождения. Да, Полина Виардо переслала Лицейскому музею сердоликовый перстень, последним владельцем которого был Иван Сергеевич. Присланный в Россию и исчезнувший в 1917 г. перстень бесспорно принадлежал Пушкину, о чем, помимо записки Тургенева, футляра от перстня, его оттиска и изображения перстня на руке поэта, нарисованного самим Пушкиным, свидетельствуют в своих воспоминаниях современники поэта. Сомнения, и очень зыбкие, вызваны лишь следующим — был ли сердоликовый перстень Пушкина его талисманом?

Символика сопутствует и сердолику и изумруду, как и другим камням. На Ближнем Востоке считалось, что сердолик приносит успех его владельцу. Особенно в почете сердолик был у мусульман; так, пророк Махоммед сказал, что человек, употребляющий печать из сердолика, всегда будет счастливым и жизне-радостным.

И, наверное, не случайно во втором “Талисмане” поэт вспоминает: “Где, в гареме наслаждаясь / Дни проводит мусульман, / Там волшебница, ласкаясь, / Мне вручила талисман”. И далее говорится, что этот талисман не принесет богатств Восто-

ка — “И поклонников Пророка / Он тебе не покорит”. Но — “Милый друг! от преступленья, / От сердечных новых ран, / От измены, от забвения / Сохранит мой талисман!”.

Нам кажется, что, после всего сказанного, можно безо всяких колебаний утверждать, что сердоликовый перстень-печать, подаренный Пушкину Елизаветой Воронцовой, перстень, вдохновивший поэта на создание двух прелестных и глубоких стихотворений — был именно этим талисманом, а не какой-либо другой — изумрудный или бирюзовый. Сердоликовый перстень-печать Пушкин носил до самой смерти. И понятно, почему Александр Сергеевич не передал перстень-талисман жене, но другу Жуковскому: перстень был не только талисманом, но и памятью о чувстве к женщине, которая дарила его любовью и вдохновением и которую он никогда не мог забыть.

Какова же дальнейшая судьба пушкинского перстня после 1917 г.?" Одну из версий, с некоторой долей вероятности, высказывает в своей книге Ю. Кларов. Разговор идет не о перстне, подаренном поэту Воронцовой, а о другом, тоже пушкинском.

Василий П. Белов состоял членом Всесоюзной комиссии по изъятию произведений искусства и драгоценностей (он эвфемически называет ее — Комиссией по охране и раскрытию произведений искусства). Белов занимал номер в бывшей гостинице “Метрополь”, ставшей Вторым Домом Советов. Однажды к нему явился неизвестный в кожанке, который предложил купить у него перстень-талисман Пушкина, не сердоликовый, а золотой, с овальным изумрудом. “Изумруд в перстне был густого ровного темнозеленого цвета... Золотое кольцо, в которое его вставили, сделали, видимо, в конце XVIII или в начале XIX века”. Изумруд был старинным, с вырезанным на нем лицом египетской богини Нейт — матери солнечных божеств.

Посетитель потребовал тридцать тысяч рублей. На вопрос, откуда у него это кольцо, он ответил, пожав плечами: “Купил, выиграл в карты, нашел на улице, обменял, получил в наследство — не все ли равно?”.

В доказательство того, что это кольцо принадлежало Пушкину, он сообщил, что у него имеется собственноручная записка Пушкина, которая запечатана именно этим перстнем. Он отказался передать перстень (“Вы слишком привыкли к рекви-

зициям, а я по себе знаю, что от дурных привычек избавиться трудно”), но записку оставил. В ней было всего несколько слов по-французски. А. О. Смирнова говорила Белову-отцу, что подобная записка, запечатанная перстнем-талисманом, в действительности существовала. Ее брат, Климентий Осипович Россет должен был быть секундантом Пушкина, но поэт его не застал дома и оставил записку на французском языке: “Дело отложено, я вас предупрежу” (эта деталь упоминается в “Записках” Смирновой).

Оставленная неизвестным записка была дана на экспертизу и признана “поддельной”. Посетитель же больше не появился.

Неожиданная встреча с неизвестным произошла через год в Киеве в разгар гражданской войны, в августе 1919 г. Московский посетитель кожаную куртку, косоворотку, сапоги и неизменную “козью ножку” сменил на эlegantный костюм, котелок, трость с набалдашником из слоновой кости и галстук с бриллиантовой булавкой. Он представился: “Столбовой дворянин и ценитель изяшных искусств Евгений Николаевич Веселов”. На вопрос, продал ли он пушкинский перстень, ответил утвердительно. Купил у него реликвию “известный коллекционер князь Щербатов, заплативший за перстень сорок тысяч наличными... Князь был в восторге, говорил, что передо мной в долгу русская литература”. Аферист добавил еще, что с князем его свел эксперт-графолог: “Ведь записка и перстень были подлинными... вот что забавно... Князь, учитывая выплаченную сумму, — весьма порядочный человек и горячий поклонник Пушкина...”. Он выехал за границу.

Здесь автор книги Ю. Кларов, конечно, фантазирует. Очень возможно, что какой-то аферист действительно завладел кольцом Пушкина, вернее, одним из них, но не перстнем-талисманом. И непонятно, какими деньгами можно было заплатить 40 тысяч рублей в Киеве времен Деникина? Наконец, в роду князей Щербатовых были коллекционеры, но никто из них не приобретал и не вывозил перстня А. С. Пушкина. Все же нельзя оспаривать возможности того, что перстень Пушкина, и именно перстень-талисман оказался на Западе. Об одном перстне Пушкина, оказавшемся за границей, имеются точные данные — о кольце, присланном или переданном Пушкину декабристами.

О нем рассказывает князь С. Г. Трубецкой в “Истории

пушкинского кольца”, опубликованной 7 мая 1978 г. в газете “Новое Русское Слово”.

В 1828 г. с декабристов были сняты кандалы. Из железа кандалов были сделаны кольца и браслеты для жен ссыльных декабристов. Одно из подобных колец оказалось у Пушкина. Как пишет Трубецкой, Пушкин попросил, непосредственно перед смертью, чтобы Жуковский передал кольцо, которое он всегда носил, своей незамужней свояченице Александрине Гончаровой.

Александрина Николаевна Гончарова (1811-1891) с 1834 г. жила у Пушкиных и была в дружеских, если не более, отношениях с поэтом. Пушкины и Гончаровы были в дружеских отношениях и с семьей секретаря австрийского посольства, барона Густава фон Фризенгоф. Женат он был на русской, отдаленной родственнице Гончаровых. Умирая, она просила мужа жениться на ее лучшей подруге, Александрине Гончаровой. В 1852 г., когда состоялось бракосочетание, невесте шел 41-й год и это был ее первый брак. Ее дочь, Наталия Густавовна (1854-1936), урожденная баронесса фон Фризенгоф, морганатическим браком сочеталась с герцогом Ольденбургским, который был вынужден отказаться от прав на престол. Его дети получили титул графов Вельсбург, но Наталию Густавовну по привычке продолжали величать герцогиней. Умирая, она передала своей воспитаннице, камеристке и доверенному лицу Анне Бергер кое-какие ценные вещи и просила ее уничтожить все ненужные бумаги и письма.

После окончания войны в Бродяны, родовое поместье Фризенгофов-Вельсбургов возвратилась уезжавшая оттуда Анна Бергер, о чем зимой 1946-47 г. узнал проф. Исаченко, часто наезжавший в Бродяны. Он постепенно подружился с Анной. Она каждый раз преподносила ему какой-нибудь сюрприз. Однажды она показала ему кольцо, которое ей подарила герцогиня перед смертью (в 1936). “У кольца была необыкновенная форма — снаружи оно было, по-видимому, из черного металла — железа, внутри из золота. Украшено бирюзой (маленькой). Нижняя часть кольца — у ладони — была очень тонкая от долгого ношения. Анна Бергер принесла кольцо жене Исаченко и просила сохранить для их дочери Вари. Оно принадлежало А. Бергер лично, и она могла подарить его кому угодно.

Есть некоторое расхождение в описании этого кольца у Н. А. Раевского, оказавшегося после войны в Советском Союзе,

автора книги "Портреты заговорили" (1976). Николай Алексеевич Раевский в 1938 г. посетил Бродяны и был любезно принят графом Вельсбургом. Супруга графа, показывая ему все, что его могло интересовать, "сняла с пальца старинное золотое кольцо с продолговатой бирюзой и сказала, что оно перешло к ней от герцогини (Наталии Густавовны), а той досталось от матери. Кольцо Александрины Гончаровой, как предполагает Раевский, — "почти наверное то самое, о котором княгиня Вера Федоровна Вяземская, жена друга Пушкина, когда-то рассказывала издателю "Русского архива", пушкинисту П. И. Бартеневу". Однажды поэт взял у свояченицы кольцо с бирюзой, несколько времени носил его, потом вернул.

Об одном ли и том же кольце идет разговор у Раевского и Исаченко? Оба они лично видели кольцо, о котором пишут, и которое принадлежало Александрине Николаевне Гончаровой-Фризенгоф. Одному из них его показывали в 1938 г., другому — в конце 40-х — начале 50-х гг. Причем Исаченко не только видел, но и получил его для передачи дочери. Однако, Раевский видел кольцо на руке внучки Александрины Николаевны в 1938 г., а Анна Бергер уверяла, что получила его от дочери Александрины, умершей в 1936 г., т. е. на два года раньше. Исаченко Вельсбургов не застал в разоренном и опустошенном замке Бродяны, и разговор вел только с Бергер.

Не совсем точно совпадает описание колец — в одном оно старинного золота с бирюзой (Раевский), а в другом — из темного металла с золотом внутри (Исаченко). Правда, Раевский бегло осматривал кольцо, да он мог и забыть через три десятка с лишним лет каким оно было в действительности. Пожалуй можно думать, что дело идет об одном и том же кольце, которое принадлежало свояченице поэта, Александрине Николаевне Гончаровой-Фризенгоф, которое надевал и Пушкин, хотя оно ему и не принадлежало. Можно предположить, что оно было и на руке умирающего Пушкина. Тогда понятно, почему Александр Сергеевич, умирая, просил Жуковского "немедленно" передать его свояченице. Так или иначе, а это кольцо, чей адрес известен, является памятью поэта, Александра Сергеевича Пушкина.

А. Иванов

ЖЕНСКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ

СУДЬБА ЭМИГРАНТКИ

26 июня 1956 г.

Начиная уже со второго дня заключения, я стала на одном из столбиков, ограждавших окно, делать заколкой для волос черточки, отмечая каждый день моего сидения, чтобы не сбиться в счете. Таких черточек в день, когда меня вызвали на этап, было 84.

В 9 часов утра 10 декабря, т. е. через 11 дней после допроса у майора Денисова, раздался очередной стук в дверь в конце коридора, солдатские шаги остановились у нашей камеры, загрохотал замок и в дверях появился в сопровождении дежурного один из выводных:

— Ш., к следователю!

Надев шубу и шляпу, т. к. нужно было проходить наверх, в первый этаж, через холодный вестибюль с настееж открытыми дверьми, провожаемая добрыми пожеланиями моих соседок по камере, я вышла из камеры и пошла впереди солдата.

Шуба и шляпа мне нужны были еще и потому, что казалось как-то немного уютнее в еще какой-то своей привычной оболочке среди этой атмосферы ненависти и инквизиторских взглядов, которые, казалось, стремились проникнуть в мозг и сердце.

Солдат привел меня в незнакомый кабинет к новому следователю. Средне-высокого роста, плотный, с какой-то массивной головой, капитан Петухов поразил меня тем, что он, в отличие от громадного большинства следователей, был не только интеллигентным, но и разносторонне развитым человеком.

После допросов у него я поняла, что он был пущен против меня, как тяжелая артиллерия.

Капитан Петухов вызывал меня на допрос в течение суток 10-11 декабря три раза, проговорив со мной в общей сложности 15 часов. Как я это выдержала, не знаю. Эти допросы помогли мне заглянуть вглубь моей души, установить в точности для себя самой, перед лицом своей совести, из какого материала она соткана.

Я теперь уже не помню последовательности бесед с капитаном Петуховым, как и всех вопросов, которых они касались. Он затрагивал многие мои статьи и, повторяю, удивил меня своей начитанностью.

Передаю содержание некоторых из моих бесед с капитаном Петуховым. Из моих статей он увидел, что я верю в Бога и вообще являюсь верующей христианкой.

— Как Вы, такой интеллигентный человек, можете верить в Бога? — спросил он у меня.

— И покрупнее меня люди верили в Бога, — ответила я. — Хотите, я назову Вам несколько имен?

Откуда только потоком взялись у меня эти имена? Голова на допросах работала ясно, четко и напряженно, как на экзаменах.

Тогда он начал атаку с другой стороны.

— Да, я в детстве был тоже очень религиозен, но очень рано потерял веру в Бога. Я вам расскажу, как это произошло.

Он рассказал мне случай из своей жизни, по-видимому, судя по плавности повествования, рассказанный уже не раз.

— Я родился в рабочей семье. Во время Первой мировой войны отец был на фронте, попал в плен, и по окончании войны не сразу возвратился домой. Наступила революция. Мать переживала тяжелое время с нами, малышами, — с моим девятилетним братом и мною, которому было тогда семь лет. Мы голодали. Наконец, наступил день, когда мать сказала мне и брату, что мы завтра пойдем просить милостыню, — иного выхода нет.

Мать была верующей, у нее был целый угол икон, она научила молиться и нас. Я всю ночь тогда молился Богу, чтобы случилось какое-нибудь чудо, и чтобы мне не пришлось пойти нищенствовать.

Но чуда никакого, несмотря на мои горячие молитвы, не

произошло.

В первый раз я отказался итти, и брат, придя вечером, отказался со мной делиться, и потребовал, чтобы я тоже ходил.

На другой день я пошел. Потом постепенно отбился от дома, стал беспризорным. Через некоторое время вернулся отец, нашел работу, нашей семье стало житья лучше, и мать умоляла меня со слезами, чтобы я бросил улицу и вернулся домой.

— А я каждый раз ставил ультиматум: "выброси иконы, тогда вернусь". А на это мать не хотела пойти. Наконец, когда мне было 14 лет, она согласилась и вынесла иконы. Но я уже не вернулся домой.

— Вот, — патетически закончил капитан Петухов, — каким образом я потерял веру в Бога и стал атеистом.

Но его рассказ повернулся в неожиданную для него сторону.

— Простите меня, капитан, — сказала я (я тогда еще не знала, что нам, обвиняемым, надлежит говорить "гражданин следователь", и обращалась к ним по чинам, которые я видела на их погонах, но они мне замечаний не делали), но из того, что вы мне сейчас рассказали, видно, что вы не понимаете самой сущности христианства.

— Как так?

— Вы сейчас рассуждаете точно так, как когда вам было семь лет. Ведь чудо совершается не обязательно в тот самый момент, когда о нем просят. Вы просили Бога избавить вас от необходимости стать нищим. Он сделал для вас гораздо больше. Раз вы оказались среди беспризорников на улице, вам, по логике вещей, предстоял один только путь — стать вором, а то и бандитом, как это случается почти со всеми беспризорниками. Вместо этого Судьба (или Бог) дала вам образование, даже высшее, дала возможность стать человеком и занять высокий и ответственный пост судебного следователя. И после этого вы еще скажете, что вам Бог не помог, что с вами не произошло чуда? Вы только не поняли, не увидели его.

Капитан Петухов помолчал, не возразив мне ни единым словом, и переменял разговор.

Другой разговор с капитаном Петуховым еще более памятен.

— К какому Вы принадлежали сословию? — спросил он

меня.

Я стала быстро соображать. Я сразу поняла, что невысокое сословное происхождение моего отца из-за слов "потомственный", "почетный", для моего следователя, человека, вышедшего из пролетарских слоев, покажется чем-то невероятно высоким. Поэтому я решила обойти этот вопрос.

— Мой отец был присяжным поверенным, адвокатом, а адвокатура в дореволюционной России, на основании закона, образовывала особое сословие.

Но капитан Петухов был, увы, человеком интеллигентным, да к тому же и неглупым.

— Я вас спрашиваю не по признаку профессиональной принадлежности, а по признаку принадлежности социальной. Например, кто Вы: дворянка, из купеческого сословия, из духовного?

Уклоняться больше было невозможно.

— Мой отец был потомственным почетным гражданином.

Как я и предполагала, при всей интеллигентности капитана Петухова, слова "потомственный", "почетный", принадлежавшие в старой России заслуженным по своей работе людям из третьего сословия и их потомству, показались ему чем-то вроде того, как если бы я сказала: "Я — столбовая дворянка".

— А! Потомственная, почетная — с наслаждением пробормотал он, записывая мое показание в протокол.

Как-то он вдруг меня спросил:

— ...За что Вы начали так рано нас...?

— Если Вы меня об этом спрашиваете, то слушайте.

Я считала свою жизнь все равно погибшей, и потому решила высказать все.

— Разрешите спросить Вас, капитан, сколько лет Вам было в начале революции?

— Восемь.

— А мне было шестнадцать. В эти годы — это большая разница. Я уже с одиннадцатилетнего возраста регулярно читала газеты, и в той высокоинтеллигентной, интересующейся политикой среде, в которой я жила, я рано начала разбираться в политической обстановке. 17-й и начало 18-го года я пережила еще в России и многое видела своими глазами.

И начала рассказывать, что я видела в Благовещенске-на-Амуре...

Затем заговорила о конце Первой мировой войны...

— Из-за этого Вам пришлось спустя 23 года сражаться опять с Германией. Тогда за те самые золотые погоны, которые сейчас носите Вы, капитан, офицеров, которые честно сражались на фронте в течение 4-х лет против того же самого врага, против которого сейчас сражались Вы, — вот за эти самые погоны солдатня убивала на вокзалах и площадях, как диких зверей. Так же относились к нам и...

И я рассказала ему о судьбе адмирала Щастного, который в штормовую погоду, при невероятных трудностях, в обстановке боя с численно преобладающим германским флотом, сумел вывести в начале германской оккупации Финляндии остатки русского Балтийского флота в количестве 13 кораблей из Гельсингфорса и привести их после долгого и трудного перехода в Ревель, где он их сдал советским властям. И в благодарность был расстрелян. Я рассказала ему о потоплении офицеров в Кронштадте и Севастополе.

Капитан Петухов слушал молча, лишь изредка пытаюсь переменить тему. Но я ему этого не давала сделать. Роли переменялись. Я обратилась в обвинителя.

— Нет, Вы мне задали вопрос, извольте выслушать ответ.

Этот и другие допросы имели, как я уже говорила, совершенно неожиданные для меня последствия. В то время как обвиняемым вписывали в протокол то, чего они и не говорили на допросах, или вытягивали "признания" пытками, побоями или угрозами, — мои следователи, начиная с капитана Петухова, не записывали в протокол ничего из наиболее острого, что я им говорила. Я добивалась того, чтобы мое досье превратилось в обвинительный акт, но не против меня. У архивов иногда бывает неожиданная судьба. Следователи именно этого и не хотели.

24 июля 1956 г.

Помню еще такой случай из разговоров с капитаном Петуховым.

— Как могли Вы так клеветать на нас, что мы разрушали церкви? Этого никогда не было.

— Этого никогда не было? А куда же тогда девался (я нарочно сказала так по-детски, для пушего эффекта) Храм Христа Спасителя в Москве?

Капитан Петухов сразу понял, что этой темы не надо было касаться и попытался переменить разговор, но не тут-то было.

— Нет, позвольте, Вы мне сейчас предъявили обвинение, что я клеветала на советскую власть, когда писала, что вы взрывали и разрушали церкви, а ведь вы же это делали! А знаете ли Вы, в память какого исторического события был построен Храм Христа Спасителя? В память погибших в первой Отечественной войне 1812 г., в честь которой, как выдающегося события в жизни русского народа, вы теперь назвали и Вторую мировую войну Отечественной.

На колоннах этой церкви были написаны имена героев, павших во время этой Отечественной войны. Храм строился в течение 50 лет, был выдающимся произведением архитектуры, а стены его были расписаны корифеями русской живописи. Правда, фрески эти Вы сняли и, говорят, они валяются в сараях какого-то музея, но самый храм вы уничтожили под предлогом, что именно на этом месте вам нужно было строить 26 этажное здание Дворца Советов.

А когда разрушили Храм, оказалось, что почва под ним зыбкая и совсем не годится под ваш небоскреб. Этот дворец ни на этом, ни на другом месте так и не был построен, а чтимый русским народом, со своеобразной архитектурой и неподражаемой акустикой Храм был уничтожен.

Следователь опять попытался перевести разговор, но я ему опять не дала.

— Подождите, я еще не все сказала. Вы снесли самую древнюю в Москве церковь Спаса-на-Бору. Один московский профессор писал в то время одному нашему профессору, а тот читал это письмо при мне вслух в профессорской: "Когда разрушали церковь Спаса-на-Бору, я сидел на бревнах и плакал... Я чувствовал себя, как должен был чувствовать древний римлянин, когда на его глазах вандалы разрушали Рим".

Нахмуренный следователь опять, не отвечая мне, пытался задать какой-то другой вопрос.

— Нет, подождите, я еще не кончила. Вы обвиняете меня в

клевете — так слушайте же факты.

— Скажите, где сейчас находится в Москве Страстной монастырь? Вы его снесли. Где находятся древние Симонов и Чудов монастыри? Вы их снесли. Где находится Новый Иркутский собор, уменьшенная копия одного из древних русских соборов? (Я своими глазами проверила, проходя этапом по моему родному городу в 1946 году, что его больше нет на Тихвинской площади так же, как нет и Тихвинской церкви. Под сводами ее колокольни я часто шла маленькой гимназисткой, по дороге в гимназию).

— Где находится чтимая всем русским народом Иверская часовня в Москве с чудотворной иконой Иверской Божьей Матери? Вы ее разрушили. В память этой часовни верующие русские люди воздвигли в Харбине, в Манчжурии точную, хотя и уменьшенную копию при соборе с находящейся в ней иконой Иверской Божьей Матери.

— Где десятки русских церквей и часовен, разрушенных вами (например, чудесный собор в Самаре), которые вы должны были сохранить хотя бы как памятники древнего русского зодчества, живописи и скульптуры, если не как чтимые народом храмы.

В то время у меня еще свежи были в памяти многие названья разрушенных церквей, которые я ему тут же назвала.

— Наконец, вы разрушали не одни только церкви. Вы разрушили и некоторые гражданские древние архитектурные памятники. Например, вы снесли в Архангельске старинное здание таможни, построенной еще при Иоанне Грозном, когда возникла торговля с Англией. Чем оно вам помешало? А во время этой мировой войны вы бурно, на весь мир, протестовали, когда наши церкви разрушали во время военных действий немцы. В журналах печатали снимки разрушенных врагом церквей, например, прекрасного собора в Новом Иерусалиме, на Истре. Вы назначали каждый раз особые комиссии для составления акта о разрушении церкви, с обязательным участием в этой комиссии местного священника, — если он уцелел.

Капитан Петухов, видя, что ему не прервать потока моего красноречия, сидел молча, пока я не высказалась. Может быть, он вспоминал в эту минуту слова своего учителя, Ленина "Факты — это упрямая вещь". Но ни одного из этих указанных фактов

он в протокол, конечно, *не внес*.

26 июля 1956 г.

Меня никто не бил во время допросов, никто даже и не оскорблял. Но из меня, как и из всех обвиняемых, фигурально выражаясь, вытягивали если и не жилы, то нервы. После допросов человек, особенно если он стойкий, если он отстаивает свою нравственную личность, на многие годы, а обычно даже навсегда, становится нервно-потрясенным человеком. А если он еще подвергается пыткам и истязаниям?

...Однажды, поднимаясь по лестнице на второй этаж к следователю впереди солдата-выводящего, я услышала душераздирающий мужской крик из одного из следовательских кабинетов. Крик этот не мог быть вызван обыкновенным ударом. Это был крик мучимого животного, крик, исторгнутый пыткой или ужасным избиением.

Услышав этот крик, я пошатнулась и свалилась бы с лестницы, если бы меня не подхватил шедший за мной выводной. Посмотрев на меня с состраданием, он тихонько и ласково сказал: "идите", и поддержал меня под руку.

Припевом ко всем разговорам о моих статьях у капитана Петухова и других следователей были слова: "Как Вы, такой интеллигентный человек, могли написать то-то и то-то?". Мне приходилось доказывать, что не только все написанное — правда, но и приводить новые факты, накопившиеся со времени написания той или иной статьи. В таких случаях следователь, ничего не возражая, старался переводить разговор на другие темы или прибегал к *ultima ratio** —

— Пусть так, но этого не нужно было писать за границей.

Но и я прибегала к своему:

— Тогда и вы должны прекратить всякий вывоз вашей литературы за границу. Ибо если не я, то другой журналист прочтет и сделает те же сопоставления, да и сами читатели тоже.

На одном из допросов я оглядывала стены комнаты, пока

*Крайнему доводу (лат.).

следователь писал, так как на розовом фоне масляной краски стен обширного кабинета резко выделялись большие, приблизительно в полметра диаметром, пятна, образуемые свежей глиной, которой были замазаны какие-то большие повреждения штукатурки. Эти пятна на определенном расстоянии друг от друга тянулись вдоль всей комнаты и еще не были покрашены краской.

Что Вы смотрите?

Я удивляюсь этим пятнам.

Это мы выдергивали японские орудия пыток и еще не успели покрасить стены.

Я думаю, что на этот раз он говорил правду. Ведь это злое до недавнего времени было японской жандармерией, а что там творилось, нам более или менее по слухам было известно.

Мои допросы у капитана Петухова происходили, как я уже говорила, 10 и 11 декабря.

До 18 декабря, т. е. в течение недели, у меня была передышка, если можно назвать передышкой взволнованное ежеминутное ожидание вызова, а в 9 ч. утра 18 декабря раздался, как всегда, стук в наружную дверь коридора, грохот отворяемой двери, затем тяжелые солдатские шаги по коридору, остановившиеся у нашей двери (тут замирание сердец и шёпот: "к нам!" — и испуганная молитва про себя, ибо человек в иные минуты слабеет духом: "Господи, только не меня, только не меня!"); опять грохот отпираемого замка уже нашей двери, появление выводящего и дежурного на пороге:

— Ш., к следователю!

Опять новый кабинет. И новый следователь: огромного роста старший лейтенант, производящий жуткое впечатление

Он старался, как мне казалось, подвести меня под высшую меру наказания. Огромного роста, с тяжелым неподвижным взглядом наркомана, он двигался при ходьбе, страшно топая, неся свой неподвижный корпус так, будто двигалась статуя.

Он не вел со мною отвлеченных разговоров, подобно капитану Петухову. Старший лейтенант не интересовался идеями. Тон его был обвинительный. "Как вы могли написать то-то и то-то?" — слышалось у него еще чаще, чем у других.

Не помню уже он ли, или, быть может, капитан Петухов,

обратил внимание на несколько моих статей о Сталине. Одна была разбором книги невозвращенца Дмитриевского "Сталин", вышедшей за границей. Почему-то следовательно, повторяю, не помню, который из двух, обратил внимание не столько на содержание статьи, сколько на приведенное между прочим выражение из книги: "Человек с профилем пещерной ящерницы".

— Как вы могли написать такую вещь?

— Да ведь это же не мое выражение, я привожу цитату автора.

— Но как можно было это написать!

Первый допрос у старшего лейтенанта происходил с 9 утра до 2-х часов дня 18 декабря. Неожиданно, в 11 часов вечера, когда я уже укладывалась спать, я была опять вызвана к нему. Это был мой первый вполне ночной допрос.

Ночная обстановка допроса производит большее впечатление: замолкает уличный шум, жизнь замирает. Жертва чувствует себя в полной власти своего мучителя. Кроме того, действует вынужденная бессонница в течение многих дней и даже недель, т. к. во многих тюрьмах днем убираются постели и не позволяется дремать даже сидя. Если жертву мучают специально, а не на общем основании, то она сидит в камере одна или всего с несколькими другими заключенными, и за нею ведется постоянный надзор: чуть она задремлет сидя, днем или ночью, сейчас же входит дежурный, подсматривающий в глазок, и трясет за плечо. Я знаю случаи, когда полгода женщине не давали спать, и она это выдержала, не умерла и не сошла с ума. Но это случай совершенно исключительный и имеющий свое объяснение. За все это время ей давали спать всего 2-3 раза по 2-3 часа на основании письменного приказа следователя дежурному.

Итак — ночь напролет у следователя. Жертва возвращается в камеру, когда уже подъем и койки подняты или убраны. Днем спать не дают. На следующую ночь — опять вызов к следователю. Следователь в таких случаях спит, очевидно, днем. Да, наконец, они и сменяют друг друга, а жертва-то ведь — одна.

Одна знакомая девушка, Валя Ч. из Архангельска, преподавательница английского языка в старших классах, тоненькая и хрупкая, будучи приведена к следователю на девятый день такого режима, свалилась в обморок к его ногам, а когда ее при-

вели в чувство, подписала все, что ей дали подписать и даже прибавила от себя, что она собиралась взорвать мост в Архангельске, хотя в Архангельске нет никакого моста, так что даже следователь удивился.

Итак, я с трепетом душевным вошла в кабинет следователя. Было это в ночь с 18 на 19 декабря, т. е. под Николин день, день св. Николая Чудотворца.

Это был опять совершенно новый для меня очень большой кабинет, служивший, очевидно, одновременно и спальней, т. к. в конце его стояли три кровати. На одной из них сидел какой-то другой следователь, с тоской и укором посматривающий на моего, т. к. ему, по-видимому, очень хотелось спать, а ложиться было неудобно.

Не помню уже о каких именно моих статьях говорил этот следователь. Помню только, что, как и все, он старался меня обвинить в клевете, а я отрицала это и приводила новые факты в подтверждение написанного. Затем он мне вдруг предъявил список каких-то фамилий.

— Что вы можете сказать об этих лицах?

У меня сжалось сердце. Но когда я просмотрела список, у меня отлегло. Кроме одного, все эти лица или умерли, или находились в Америке. Таким образом весь список провалился. Следователь вернулся к моим делам.

— Откуда Вы брали материал для Ваших статей?

— Из советской публицистики и литературы, главным образом. Затем из воспоминаний лиц, бежавших за границу из лагерей. Таких книг вышло за границей несколько. Потом еще из эмигрантских изданий всякого рода и, наконец, из рассказов очевидцев.

Эти последние слова были неосторожностью с моей стороны, в чем я сейчас же и убедилась.

— Кто эти лица?

Мозг мой мгновенно заработал. Некоторые из людей, рассказывавших мне о виденном и пережитом, особенно в начале революции и во время гражданской войны, находились в безопасности, далеко от Харбина, но они могли когда-нибудь вернуться. Да и не в моем характере называть чьи-либо имена, если это грозит данным лицам неприятностями.

— Разве я могу помнить, кто мне что рассказывал 15-20 лет тому назад? — ответила я.

Во время вопроса следователя и моего ответа в кабинет без стука вошел какой-то майор, перед которым мой следователь и тот, который сидел в отдалении на кровати, оба встали и вытянулись. Майор стал ходить взад и вперед по кабинету, в то время, как следователь продолжал допрос. На вид этому майору было лет сорок. У него был смуглый украинский тип, и он был красив какой-то грубой мужицкой красотой: черноволос, черноглаз, румян, да еще и пьян к тому-же. Позже я узнала из протокола, что это был майор Федорко, начальник следственного отдела.

— Кого Вы знали из журналистов в Харбине? — продолжал следователь.

Конечно, за время моей почти 22-летней работы в Харбинских газетах и журналах я была знакома, пусть и не близко, с очень многими журналистами. С кем лично не была знакома, знала хотя бы по виду или понаслышке.

Но я понимала из всего поведения моего последнего следователя во время утреннего и ночного допроса, что он старается создать как можно более серьезное дело вплоть до того, чтобы подвести меня под высшую меру наказания. Если это так, то самое знакомство со мною может оказаться опасным для моих коллег-журналистов.

— Как это ни покажется вам странным, — ответила я, — но я кроме моего редактора (знакомство с собственным редактором уже нельзя было отрицать, да и почти все мои редакторы были к тому времени арестованы) — никого из журналистов в Харбине не знала. Я писала свои статьи дома и раз в неделю привозила их в редакцию (это была правда), и ни с кем из журналистов не была знакома (это была ложь).

Следователь уперся в меня своим взглядом удава, которого я не могла вынести. Я опустила глаза.

Молчание было прервано криком выпившего майора Федорко, продолжавшего шагать по кабинету.

— Вы лгали, вы клеветали на советскую власть, — ревел он, захлебываясь от собственного крика.

Этот его грубый крик произвел эффект, на который он, по-

видимому, совершенно не рассчитывал.

— Я попрошу Вас прекратить этот крик, — сказала я как можно спокойнее, — здесь до сих пор все обращались со мной вежливо.

Майор опешил, но тон сбавил сразу, прекратив крик. Однако, следующие же его слова заставили меня похолодеть.

— Назовите фамилии, — сказал он мне ледяным тоном. — Даю вам 20 минут на размышление.

И, кинув следователю: "Запишите", — вышел из кабинета.

Это был ультиматум. В течение следующих двадцати минут мне предстоял выбор: стать предательницей или ложной доносчицей, или подвергнуться избиению, может быть, пыткам. Выбор в моей душе был сделан моментально. Иного и не могло быть. Никаких фамилий я не назову, что бы со мной ни сделали. Теперь оставалось только просить Чуда у Высших Сил.

"Господи, Пресвятая Богородица, защитите меня. Святой Николай Чудотворец, мой всегдашний Заступник, сделай чудо — помоги мне в эту страшную мою минуту", — шептала я в душе.

И чудо совершилось.

Сколько из назначенных мне двадцати минут прошло, я не знаю. Следователь не спускал с меня своего змеиного взгляда, а я, опустив глаза, молилась.

— Ну-с, фамилии, — наконец, промолвил он и обмакнул перо в чернила.

Вы слышали мой ответ.

— Так и записать? — зловещим тоном спросил он.

— Так и запишите.

Он стал писать, и тут я услышала слова, которые меня потрясли силой огромной радости и облегчения, точно потемневший было вокруг меня мир вдруг озарился божественным светом.

А это был всего только разговор между двумя дежурными в коридоре, доносившийся до меня через полуоткрытую дверь.

— А где майор?

— Уехал спать в гостиницу.

Только и всего.

В душе я горячо поблагодарила своих Небесных Заступников, и, в первую очередь, святого Николая Угодника, чей день

должен был праздноваться завтра, 19 декабря. Почему-то мне даже не пришло в ту минуту в голову, что следователь меня мог пытать и без майора. Уже одно то, что я была спасена от последнего в момент, когда, казалось, спасения быть не могло, если я не хотела потерять высокое звание человека, — уже это одно подсказывало мне, что я спасена окончательно, спасена и от человека со взглядом удава и походкой движущейся статуи, сидящего передо мной. И я не ошиблась.

— Прочтите протокол и подпишите, — сказал мне следователь, придвигая мне протокол в пять страниц большого формата.

Я начала читать. Опять знакомая картина: в тех местах, где я давала разъяснения по поводу содержания отдельных моих статей, мне опять приписано никогда не делавшееся мною ложное признание — "Я клеветала на советскую власть".

— Я этого протокола не подпишу, — сказала я как можно спокойнее, — клевета — это заведомая ложь, а я всегда писала правду.

— Как же вы хотите, чтобы я написал?

— Лейтенант Усатюк и майор Денисов (напоминаю — двое из моих прежних следователей) тоже написали эти не сказанные мною слова в протколе, но после моего протеста заменили их словом "критиковала". От этого я не отказываюсь, — да, критиковала то, что находила заслуживающим критики.

О, если б знали мои следователи, сколько нового материала для критики они мне дали, посадив на 10 лет в лагерь, где я гораздо больше увидела своими глазами, чем слышала раньше, и близко сведя меня с советскими людьми, со многими из которых я горячо подружилась, и которые, вместе со случайными знакомыми, рассказывая мне, как юристке, больше всего о судебных делах, раскрыли передо мною потрясающую картину беззакония и произвола.

Следователь, не отвечая мне, позвонил. Часы показывали уже третий час ночи. Молчаливый свидетель всего происходившего, второй следователь, сидевший на одной из дальних кроватей, явно томился, с укоризной и нетерпением поглядывая на своего коллегу.

В ответ на звонок в дверях появился выводящий.

— Можете идти, — пока, — как всегда подчеркнуто-зловеще сказал следователь, отпуская меня.

У меня опять сжалось сердце. Да, протокол-то остался неподписанным, и он его при мне не поправил.

— Почему вас держали так долго? — испуганно и сочувственно спросила меня, наполовину проснувшись и приподнявшись, Лидия Николаевна, когда я, наконец, вернулась в камеру.

— Я расскажу завтра — слишком устала.

Она легла и сейчас же уснула, а я простояла на коленях всю оставшуюся часть ночи, горячо благодаря за помощь и прося дальнейшего заступничества. Эта помощь и заступничество в самые тяжелые минуты моей жизни никогда меня не оставляли после этой ночи.

Я не ошиблась в своих предположениях, что мой разговор со следователем еще не закончен. Когда мы утром завтракали, сидя, как всегда, на полу на циновках-татами, и я рассказывала моим соседкам о переживаниях прошлой ночи, дверь с грохотом отворилась, и меня позвали к следователю.

Когда я вошла в кабинет (помнится, опять не тот, в котором я была прошлой ночью), следователь со своим неподвижным корпусом и свинцовым, остановившимся взглядом, двигался по кабинету взад-вперед, страшно грохоча при каждом шаге.

“Статуя Командора”, — вспомнила я “Каменного Гостя” Пушкина.

— Садитесь на мое место, — сказал он мне, — и прочтите протокол. Я его весь переписал по-вашему.

Я села на его место, как мне было приказано, и придвинула к себе пять скрепленных листков протокола. Медленно и внимательно перечла его весь.

Я изумилась: действительно, весь протокол был заново переписан, а не переправлен, как у прежних следователей. Вместо изъятого по моему требованию выражения “я клеветала” было поставлено предложенное мною “я критиковала”. По-видимому, после моего ухода в третьем часу ночи, он всю остальную часть ночи до утра переписывал исправленный протокол.

Ни угроз, ни споров больше не было.

— Что ж, это я согласна подписать, — сказала я, и подписала, как полагалось, каждую страницу протокола.

Далее следователь мне объявил, что следствие мое закончено, что я привлекаюсь к суду по ст. 58 п. 4 Уголовного Кодекса РСФСР, и к концу этой недели приедет помощник военного прокурора, в присутствии которого я распишусь в том, что мне объявлено на основании статьи 206 Уголовно-Процессуального Кодекса РСФСР об окончании следствия и предании меня суду.

— Прошу Вас прочесть мне п. 4, 58-й статьи, — сказала я.

Следователь потянулся за томиком Уголовного Кодекса РСФСР.

“Оказание содействия международной буржуазии для свержения советской власти” прочел или передал он своими словами содержание 4-го пункта.

— Да какой же иностранной буржуазии я помогала? Кроме японского цензора, через которого проходил весь материал русских газет, и который, к тому же, обычно был русским, никто, кроме русской эмиграции, не читал моих статей, да и вообще русских эмигрантских газет.

— Это вы скажете на суде.

Следователь отпустил меня. Но вместо “конца этой недели”, а дело было, кажется, во вторник или среду, потянулись снова долгие дни ожидания. Я была в конце-концов вызвана на свидание с помощником прокурора только через 10 дней, а за это время в нашей камере произошли большие события.

4 сентября 1956 г.

Дня через три после моего последнего допроса мы спокойно втроем поужинали, сидели и разговаривали, когда часу в десятом пришел один из дежурных и тихо сказал нам, чтобы мы собирали и увязывали наши вещи.

Мы встрепенулись.

— В этап? — спросил кто-то.

Солдат только кивнул. Он и это не имел права нам сказать.

Мы все были взволнованы. Вот он — роковой рубеж! Окончательная разлука с родными, близкими, с краем, который стал второй родиной. Отъезд на родину, о которой мечталось столь-

ко лет, и которая за эти годы, и особенно за последние недели, обернулась злой мачехой! Отъезд на долгие годы для суда, тюрьмы, лагерей.

Все же мы были рады, что, по крайней мере, едем вместе. Кто не пережил тюремных страданий, тот не представляет себе быстрых тюремных привязанностей, когда иногда в течение одного дня несчастные женщины, оторванные от семьи, от близких, от окружающей культурной обстановки, часто безо всякой вины ввергнутые в мутный поток преступной тюремной обстановки, грубых конвоев, бездушных или жестоких начальников — найдя человека, кажущегося порядочным, хватаются за него, чтобы быть среди этого ужаса по крайней мере не одной. Нужно помнить, что все это следует сразу после тяжелых месяцев следствия, часто "с пристрастием", и суда без защитника, с судьями, превращающимися в прокуроров, наедине, без публики, т. е. в келейной обстановке военных трибуналов.

Наша певунья — Лиза — первая подверглась участи одиночного этапа. Однажды вечером, когда Женя только что получила передачу (что явилось следствием переданной записки, т. к. ее мать раньше, конечно, не знала, где она находится) и по-братски разделила между нами всеми котлеты, колбасу, белый хлеб и прочие вкусные вещи, которые ее мать умолила следователя принять для дочери, т. к. передачи вообще в КПЗ не допускались, — внезапно вошел дежурный и вызвал Лизу на этап. Это было дней через десять после моего ареста, т. е. числа 9-10 декабря 1945 г.

С большим волнением провожали мы Лизу, и даже мне, знавшей ее всего десять дней, было так жаль ее, и так больно расставаться, как будто я прощалась со старым другом. Сколько впоследствии предстояло таких прощаний!

Итак, мы спешно собрали наши пожитки. Предположения о возможности скорого этапа у нас уже были, т. к. за несколько дней до этого следователи предложили каждой из нас написать записку домой с просьбой прислать необходимую одежду, — ведь у каждой из нас не было даже смены белья, а мои соседки сидели уже четыре месяца.

В ожидании вызова мы тихо сидели на своих вешах. Каждая из нас была полна переживаний, но нет-нет одна из нас произносила: "Слава Богу еще за то, что мы хоть едем все вместе".

Наконец часов около 11 за нами явился начальник конвоя вместе с нашим дежурным. Окинув в последний раз взглядом нашу камеру и подняв с земли свой узел, я двинулась вместе с другими к дверям. У дверей я пропустила вперед моих соседок. Женя тащила один конец своего огромного мешка, Лидия Николаевна помогала ей одной рукой, держа его другой конец, а в другой руке несла свой чемодан. Когда они переступили порог, я двинулась за ними со своим узлом, но тут произошло неожиданное: только я хотела переступить через порог, как передо мною захлопнулась дверь, едва не придавив меня, и загрохотал задвигаемый засов.

— А я? — закричала я в отчаянии.

— Вы остаетесь, — ответил мне из-за двери голос удаляющегося дежурного.

22 сент. 1956 г.

At life end alone
One adventure left to try.
Show me, warder of world's unknown
What it means to die.*

Mary, Queen of Scots.

Почему меня внезапно оставили после вызова? Я еще не знала тогда, какие случайности руководят судьбами людей в тюрьмах и лагерях, как случайно куда-то засунутая папка "личного дела" арестанта в момент вызова на этап влечет за собой его (или ее) оставление, из-за чего судьба заключенного меняется к лучшему или худшему — смотря по обстоятельствам; или же, наоборот, из-за оставления кого-нибудь по случайной причине, вдруг, в последнюю минуту, выхватывается совершенно случайный арестант для восполнения числа и т. д.

Позже, уже в лагерях, я сообразила, что вызвали меня на этап вместе с моими соседками по недоразумению: каждую из

* Скоро кончу жизни нить.

Лишь одно еще испить.

Впереди миры темны.

Смерть, ответь мне: кто же ты?

них, вероятно, судили с целой группой других лиц, главным образом, японцев. Следствие о них, помнится, еще не было закончено, и по их делам, вероятно, были свидетели. Их вывезли на русскую территорию и судили, наверно, в Хабаровске или Ворошилове (б. Никольске-Уссурийском).

Я же по своему делу "шла одна", как говорят в лагерях. Свидетелями у меня были только мои статьи. Обличать меня не надо было — признание было налицо. Дело мое было хотя и серьезное, но в то же время и простое. Поэтому и судьба моя и моих соседок в конце нашего следствия была различна.

30 декабря, часов в десять вечера, мое одиночество было нарушено. В коридоре раздались громкие голоса дежурных и взволнованный, протестующий женский голос. Дверь моей камеры загрохотала, отворилась и в камеру вошла высокая, полноватая молодая женщина в шубке и вязаном платке, низко надвинутым на глаза.

Дежурный закрыл дверь, и молодая женщина, поздоровавшись со мной, с размаху, как была одетая, села на татами и громким, рассерженным голосом начала рассказывать свои перипетии.

— Понимаете, захватили нас всех из-за этого скандала, прямо так, из ресторана. А при чем тут я? Скандалили другие. И начальница наша протестовала. Но и ее взяли как свидетельницу. А мне завтра надо Новый Год встречать с женихом, и платье есть, и нужно во что бы то ни стало, чтобы меня освободили до вечера. А тут вот посадили.

Я придвинулась поближе к оригинальной заключенной, которую в ее судьбе интересовал, главным образом, вопрос: как бы не пропустить завтрашнюю встречу Нового Года. Я рассмотрела ее пылающее лицо, отчасти скрытое надвинутым платком. Она была чрезвычайно хорошенькая, несмотря на это пылавшее лицо и общий небрежный вид.

— У меня температура, я простужена, — сказала она.

Я взяла ее руку. Рука тоже пылала. Температура была высокая.

— Да, Вы, по-видимому, совсем больны, — сказала я.

Не помню, — наверно, я постучала дежурному, но все равно до утра, когда иногда вызывали военных врачей в наше КПЗ,

никакой медицинской помощи получить было нельзя.

А моя новая соседка, несмотря на свою болезнь, продолжала тараторить, перебивая сама себя. Из ее слов я, наконец, представила себе, как мне казалось, всю картину.

Она была кельнершей в ночных ресторанах. С приходом советских войск поступила кельнершей в ресторан для летчиков на аэродроме. Сейчас ее и других кельнерш — больше десяти, кажется, арестовали из-за пьяного скандала в ресторане.

Тут же она рассказала мне, что у нее есть где-то муж, армянин, уехавший неизвестно куда. Есть и маленький сын, который воспитывается у матери мужа. Бабушка не хочет ей его отдавать из-за ее плохого поведения, чем она ужасно возмущалась, и даже почти не дает ей свиданий с сыном. Я посочувствовала.

И тут же она опять перескочила на прежнее. У нее среди советских летчиков есть "жених" (а, между прочим, советскими властями в этот период были запрещены браки между советскими офицерами или солдатами и эмигрантками, что многие военные тщательно скрывали, ухаживая за нашими девушками, вследствие чего было немало драм у девушек из другой среды, чем среда моей новой знакомой).

Она должна завтра во что бы то ни стало встретить Новый Год с женихом! У нее и платье готово. И вот ее задержали. Она обязательно должна быть отпущена завтра до вечера! Ведь иначе пропадет встреча Нового Года!

Я с изумлением смотрела на это порхающее, безответственное существо. Попала в руки советской контрразведки и думает только о том, чтобы завтра не пропустить встречу Нового Года. Впрочем, может быть, ее действительно выпустят?

Поделившись с моей новой соседкой одеялами (после моих прежних соседок мне дежурные оставили все пять одеял, которыми мы пользовались, а шестое было мое домашнее), мы, наконец, уже около полуночи, уснули.

Наутро мою соседку вызвали на допрос. Вернулась она растерянная, но как-будто и довольная.

— Спрашивал меня, где мой бывший муж. А откуда я могу знать? Послали его куда-то японцы, а он оттуда не вернулся. А следователь требует, чтобы я сказала, где он. Почему я знаю?

— Погодите, так Вас арестовали, оказывается, вовсе не за

скандал? — удивленно спросила я.

Как не за скандал? Вместе со всеми.

— А где сейчас остальные?

— Их уже выпустили. Следователь сказал, чтобы я сказала, где муж, и тогда он выпустит и меня.

— Значит, если бы вы не попали с вашей компанией в результате скандала, вас бы все равно арестовали, чтобы узнать от вас, где ваш муж.

Но эта удивительная особа, которую я про себя назвала "Ящик Пандоры", потому что из нее каждую минуту выскакивали какие-нибудь неожиданности, все же была, и после нового серьезного оборота ее дела, исключительно занята завтрашней встречей Нового Года.

Весь этот день она мне рассказывала о своей жизни. Сказав сперва, что она всегда жила в Харбине, она затем мне рассказала, как накануне или даже в день, когда у нее родился сын, она с мужем и его приятелем скакала верхом, и как сын у нее родился, когда она была совсем одна в путевой казарме, и ей пришлось рожать одной, самой все прибирать, и когда все рабочие явились домой, она их встретила в голубом шелковом халате.

— Но простите, вы же мне только что сказали, что всегда жили в Харбине?

— Было время, когда мы с мужем жили на линии, недалеко от границы, — немного смутившись, ответила она.

Потом она стала ругать себя за то, что в свое время не уехала к мачехе в Шанхай. Мачеха у нее была очень хорошая. Одно время Лена (так звали "Ящик Пандоры") жила у нее в Шанхае. Мачеха вторым браком была замужем за богатым португальцем.

Я даже с ним ездила на охоту на тигров.

Где, у нас в Манчжурии или в Корее?

Нет, в Макао.

В Макао?

Да, мы с мачехой и ее мужем ездили в Макао специально для охоты на тигров.

И "Ящик Пандоры" стал мне рассказывать, как в Макао охотятся на тигров. Так мы проговорили этот вечер и следующее утро, и как раз, когда она мне рассказывала, что на

окраинах Макао столами служат огромные камни, обросшие мхом, которые лежат у пригородных домиков, — ее опять вызвали к следователю. На этот раз она вернулась радостная, оживленная, несмотря на болезнь. Следователь обещал ее выпустить в 3 часа.

— Значит, все-таки удастся встретить Новый Год с женихом, в новом платье.

Я сильно сомневалась, чтобы ее выпустили, но в 3 часа за нею действительно пришли. Простившись со мною, она упорхнула, и я до сих пор не знаю: на волю ли, если она назвала местопребывание своего мужа, или неожиданно для нее в другое место заключения. Может быть, ее вербовали в агенты. И удалось ли ей попасть на столь желанную встречу Нового Года?

(Продолжение следует)

Мария Шапиро

О РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В ПРАГЕ

(1921-1945)

РУССКИЕ СТУДЕНТЫ И ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ "РУССКАЯ АКЦИЯ"

После двух массовых эвакуаций, — весенней новороссийской и осенней крымской, — вывезших из России около 200 тысяч "воинских чинов" и гражданского населения, в 1921 г. в Константинополе скопилось множество русских беженцев, в том числе многие тысячи интеллигентных и полуинтеллигентных молодых людей.

Известие об организованной чехословацким правительством "русской акции", включавшей приглашение нескольких тысяч русских студентов для продолжения образования в чешских высших учебных заведениях на полном казённом иждивении, произвело, конечно, большое впечатление на эмигрантскую молодежь, и многие тысячи студентов и нестудентов заявили о своем желании ехать в Прагу.

Во избежание злоупотреблений, была, по предложению чешского правительства, в Константинополе организована проверочная комиссия, состоявшая из приглашенных в Прагу русских профессоров и аспирантов, для проверки квалификаций претендентов. Те, кто имел какие-либо университетские документы, зачислялись в списки принятых без дальнейших разговоров. Но очень многие заявляли о потере документов, что, конечно, было вполне возможным в то "смутное время". Таких наша комиссия экзаменовала, но не по университетским курсам, а по предметам старших классов средних учебных заведений,

ибо все окончившие среднюю школу имели право поступать в высшие школы. Вопросы задавались, главным образом, по русской истории и литературе, по математике и по физике. Большинство претендентов выдерживало эти испытания, но довольно многие обнаруживали полное невежество и отводились.

Из имевших документы и из выдержавших испытания формировались группы по сто человек и отправлялись в Прагу на казенный счет, во главе с одним из аспирантов.

Но помимо этих организованных групп, набранных в Константинополе, в Прагу в течение 1922-1923 гг. приезжало — на свои средства — много одиночек, претендовавших на положение и выгоды чехословацких "казеннокоштных" студентов. Для проверки их квалификации в Праге была также учреждена проверочная комиссия. Ее председателем был бывший попечитель Кавказского учебного округа Рудольф; я был экзаменатором по истории, мой брат Николай был секретарем.

Во время массовой переброски русских студентов — главным образом из офицеров и солдат Белой армии — с Балканского полуострова в Прагу, я был лидером одной из таких маршрутных групп по сто студентов. Мы приехали в Чехию, сколько помню, 25-го ноября 1921 г. Мы вышли из вагонов на станции пограничного города Пардубице и толпились на платформе пестрой толпой, часть которой была еще в военной форме, а часть — уже в штатском. Мы затрудняли движение носильщиков, кативших тележки с багажом, и они поминутно покрикивали на нас: "Пóзор! Пóзор!" Мы удивились и огорчились: приехали в братскую славянскую страну, и вместо приветствий слышим крики: "Позор!" Впоследствии мы узнали, что "позор" по-чешски значит "внимание". В чешском языке есть множество слов, которые звучат "по-русски", но имеют совершенно различный смысл; я впоследствии составил длинный список таких слов под заглавием: "Словарь чешско-русских недоразумений".

Приехавшие в Прагу студенты были размещены в огромном многоэтажном доме, называвшемся "Свободарна", где было множество однокомнатных квартир на одного или на двух человек.

Русские студенты в Чехословакии учились в двух университетах — в Пражском (Карловом) и Братиславском (в Словакии) — и во многих специальных высших учебных заведениях, где они должны были проходить учебные курсы под контролем "русской учебной коллегии". Насколько мне известно, число русских студентов в Чехословакии доходило до пяти тысяч. Они получали от правительства не только денежную стипендию, но и одежду, и — по крайней мере частично — квартиры.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ И ГРУППЫ В РУССКОЙ ПРАГЕ

Политические убеждения или настроения большинства русской пражской интеллигенции характеризуются двумя чертами: непримиримость в отношении коммунистического режима в Советском Союзе и непредрешенчество в отношении будущего политического строя России, освобожденной от красного ига. Мы стояли между белградскими монархистами и парижскими республиканцами и не принимали участия в их горячих, но бесплодных спорах на тему: что лучше — республика или монархия? Хорошая монархия лучше плохой республики и хорошая республика лучше плохой монархии. А какова будет политическая ситуация в будущей России — этого никакой мудрец предвидеть не может. Наш чешский друг Карел Крамарж, в своем проекте конституции для будущей России, предлагал избирательную монархию, но печальная судьба польской избирательной монархии в 18-м веке не располагала к подражанию.

Среди русской эмиграции в Праге были, конечно, члены политических партий социал-демократов, социалистов-революционеров, конституционных демократов и монархистов.

Наиболее заметными были две группы "народников": "Крестьянская Россия" и эсэры. Группа "Крестьянская Россия" и организация партии с.-р. существовали без судебной регистрации, но были известны полиции как "свыше" (т. е. правительством) допущенные к существованию и деятельности.¹ Одно

1. По данным Л. Ф. Магеровского. С. П.

время в Праге выходили и органы этих групп: "Крестьянская Россия" (Сборник статей по вопросам общественно-политическим и экономическим), Прага, №№ 1-4, 1922-1924, и "Революционная Россия" (центральный орган партии социалистов-революционеров), Дорпат - Берлин - Прага, 1920-1931.²

В Праге одно время жил идеолог и политический вождь партии с.-р., Виктор Михайлович Чернов. Мне один раз пришлось с ним встретиться лично, но не на политической почве, а на финансово-экономической. По какой-то надобности было созвано соединённое заседание правлений двух квартирных кооперативов — нашего профессорского и другого, где жил Чернов. Мы сидели за столом друг перед другом, и я хорошо видел его лицо. Мне не понравились его глаза: красноватые, мигающие, они не смотрели прямо на своего собеседника, а как-то бегали непрерывно по сторонам.

Совершенно новыми идейно-политическими эмигрантскими объединениями были в Праге "Младороссы" и "Евразийцы".

В первой половине 20-х гг. среди пражской эмиграции образовалась довольно большая группа "младороссов", которую возглавлял их молодой самоуверенный вождь Казембек. Их политическим идеалом была "советская монархия", их лозунг — "царь и советы". Во главе государства стоял бы император из прежнего императорского рода, а правительственный аппарат рекрутировался бы из партии младороссов, подобно тому строю, который был создан в фашистской Италии. Императором младороссы "предназначали" великого князя Кирилла Владимировича, двоюродного брата императора Николая II.

Одно время Казембек и его идеи были довольно популярны среди части интеллигенции, и дамы нашего профессорского дома довольно часто приглашали его на вечер как интересного гостя для интересного разговора.

Один такой вечер был в доме д-ра Ф. Ф. Никишина; было человек 10 гостей; хозяйка дома — Мария Александровна, в знак особого внимания ко мне посадила меня на диване рядом с "главным гостем". Казембек самоуверенно развивал свои "советско-монархические" идеи и, в частности, утверждал, что "по зако-

2. По данным библиотеки Иельского Ун-та. С. П.

нам Российской Империи” престол должен был бы теперь принадлежать великому князю Кириллу Владимировичу. Я “взял слово” и скромно сказал, что может быть я сижу рядом с будущим российским Муссолини, но пока мы ещё живём в демократической стране и можем свободно высказываться, так я скажу, что по законам Российской Империи бывший великий князь Кирилл Владимирович подлежал бы лишению всех прав состояния и смертной казни через повешение.

Казембек с недоумением и негодованием воскликнул: “То есть как это так?! Что это вы говорите?” Я ответил:

— Я просто вспоминаю соответственный закон. Статья 100-я Уголовного Уложения 1903 года гласит: “Кто примет участие в вооружённом бунте против верховной власти Государя императора, тот за сие подвергается лишению всех прав состояния и смертной казни через повешение”. (Я не помню теперь, есть ли это статья 100-я или 101-я, но цитата приведена совершенно точно).

— Так вот, — продолжал я, — 27-го и 28-го февраля 1917 года в Петрограде произошёл бунт нескольких солдатских полков, и 1-го марта полки эти, с ружьями на плечах, маршировали к Таврическому дворцу, где заседало самозванное и самодельное Временное революционное правительство, чтобы заявить этому правительству о своей поддержке. Вел. кн. Кирилл Владимирович был в это время командиром Гвардейского Экипажа, и он во главе своих матросов также явился к Таврическому дворцу с тою же целью. Поскольку император Николай II отрёкся от престола 2-го марта, то, следовательно, 1-го марта в России ещё был законный император, и вел. кн. принимал участие в вооружённом бунте против его верховной власти и, следовательно...

Казембек, потеряв свой апломб, сказал: “Н-да, но ведь надо же принимать во внимание политические обстоятельства того времени”. На это я неумолимо заметил: “А-га! Так вы так и скажите: *по политическим обстоятельствам*, а не *по законам Российской Империи*”.

Моё выступление вызвало некоторое смущение в обществе, и хозяйка быстро перевела разговор на другую тему.

Младороссы выступили на политическую сцену с большим

шумом, но скоро как-то затихли и стушевались, а их само-надеянный вождь Казембек... возвратился в Советский Союз.

Бывший же союз монархистов, считающих себя подданными "государя" Кирилла Владимировича, а после его смерти — подданными его сына, Владимира Кирилловича, сохранился среди русских эмигрантов в разных странах и "дожил" до начала 80-х годов.

Меня больше заинтересовало движение "евразийцев", среди которых оказались и некоторые учёные, и публицисты, принимавшие участие в сборниках под заглавием "Евразийский Временник". Соблазнённый евразийскими идеями, — лучше сказать, — евразийскими эмоциями, я в 20-х годах примыкал к евразийскому движению (или течению). Я думаю, что — помимо полдюжины идеологов евразийства — евразийская "масса" (а в Праге эта масса была невелика — тридцать-сорок человек) примыкала к евразийству не по идеологическим или по политическим мотивам. Это были в большинстве своём воины Белой армии, озлобленные на Европу за то, что она недостаточно помогла Белому движению во время гражданской войны, а потом не только не оценила, но даже не заметила великую историческую услугу Белой армии, которая своей трёхлетней борьбой истощила военные и финансовые силы красной империи и не позволила Ленину превратить Европу в Европейский Союз Советских Социалистических Республик, к чему он так страстно стремился и чего он мог бы легко достигнуть в 1919-20 гг., когда "призрак коммунизма бродил по Европе" — Венгерская и Баварская советские республики, восстание "спартаковцев" в Берлине, бунты французских матросов и солдат на судах и на берегах Чёрного моря, — когда военные и финансовые силы западных правительств были весьма ослаблены четырёхлетней войной, и когда во всех странах европейского континента существовали коммунистические партии, готовые с восторгом встретить красных "освободителей".

В 20-х гг. я регулярно посещал собрания евразийского семинара под председательством Петра Николаевича Савицкого; я чувствовал живую личную симпатию к этому талантливому и полному духовной жизни вождю евразийского движения; и ещё большую симпатию я чувствовал к его родителям: Николаю

Петровичу, б. земскому деятелю и б. члену Государственного Совета по выборам черниговского земства, и Ульяне Андреевне — милой, приветливой, прекрасной русской женщине.

На собраниях евразийского семинара мне часто приходилось выступать против господствовавшей там преувеличенной враждебности к европейскому Западу, и я говорил, что "я состою при евразийской церкви на должности штатного еретика".

Однажды на собрании евразийского семинара один крайний антиевропеец сказал — вернее, почти крикнул мне: "Сергей Германч! Вы сидите между двух стульев!" Попросив слова для ответа, я вышел из рядов, вытащил три пустых стула, поставил их рядом перед публикой, сел на средний стул и сказал: "Да, Николай Петрович, вы совершенно правы, я сижу между двух стульев. Но дело в том, что всех стульев-то не два, а три, вот вам направо (жест правой рукой) Азия, налево (жест левой рукой) Европа, а я сижу между ними, но сижу не на пустом месте, а на своем собственном стуле, который называется Евразией".

Публика весело рассмеялась.

В течение 30-х гг. евразийское движение переживало кризис и постепенно "заглохло". Среди верхушки парижского евразийства обнаружилось "сменовеховское" или "примиренческое" отношение к Советскому Союзу, а один из интеллектуальных вождей парижского евразийства, кн. Святополк-Мирский, известный литературный критик и историк литературы, прямо отправился в Москву.

Наше пражское евразийское "возглавление" не солидаризировалось с парижскими "уклонистами", но не возражало против их направления достаточно громко и определенно. Евразийская "масса", состоявшая в большинстве из бывших белых воинов, ни в какой степени не сочувствовала примиренческим тенденциям и постепенно отходила от евразийского содружества. Отошел и я.

Мое наиболее близкое отношение к евразийству относится ко времени около 1925-26 гг. В это время я, по просьбе П. Н. Савицкого, написал статью "Россия и Европа в их историческом прошлом" (напечатанную в 5-й книге "Евразийского Временника", 1927 г.). По окончании моей дружбы с евразийством я

“усмотрел”, что в этой статье заключается серьёзная методологическая ошибка. Для характеристики отношений России и Европы я взял отношения Пскова с соседним немецким Ливонским Орденом в XIII-XV вв. Орден этот был агрессивным авангардом немецкого *Drang nach Osten* и постоянно совершал нападения на Псковскую землю. Естественно, что отношение псковичей к немцам могло быть только враждебным. Но это был только местный конфликт. Новгород Великий в эти века вел мирную и широкую торговлю с немецкими городами Ганзейского Союза, и в самом Новгороде был “Немецкий двор”, а к ливонско-псковской борьбе Новгород относился нейтрально: псковские летописи постоянно жалуются, что “новгородцы не помогоша”.

14 ноября 1944 г. русская Прага была взволнована важными политическими событиями: приездом в Прагу генерала А. А. Власова, образованием “Комитета Освобождения Народов России” (КОНР), официальным учреждением Русской Освободительной Армии (РОА) и Манифестом 14-го ноября, объявлявшим о целях движения и намечавшим политическую и социальную программу для будущей России. Образовавшийся из представителей разных народов, населявших бывшую Российскую империю, Комитет единогласно избрал своим председателем ген. А. А. Власова, главнокомандующего будущей освободительной армией.

Днём 14-го ноября состоялось торжественное официальное собрание (“Государственный акт”) во дворце чешских королей на “граде Пражском”, где произнесли соответствующие событию речи представители германского правительства, а затем ген. Власов. Вечером этого дня состоялось широкое собрание в огромном зале “Люцерна” в центре города.

Манифест 14-го ноября справедливо утверждал, что рабочие в СССР были “бесправными рабами государственного капитализма”. В отличие от современных эмигрантских “социалистоедов” авторы манифеста не усматривали в советском строе никакого социализма, а видели в нем то, чем он был: монополярный государственный капитализм.

Манифест 14-го ноября требовал “создания новой свободной государственности”, причем предвиделось равенство

народов, их право на государственную самостоятельность. В области экономической, манифест требовал свободы труда, отмены всех видов принудительного труда и ликвидации колхозов.

Большинство пражской русской интеллигенции отнеслось с полным сочувствием к власовскому движению и его целям.

Зимой 1944-45 гг. на улицах и в трамваях Праги появлялись солдаты РОА в немецкой форме, но со щитком на правом рукаве, с Андреевским флагом и с тремя буквами РОА, и мы смотрели на них с симпатией и с робкими надеждами...

С. Г. Пушкарёв

ВОСПОМИНАНИЯ Ди-Пи

ИЗ ДАВНО ПРОШЕДШЕГО

В конце апреля 1945 года я с семьей оказался в Вайльхайме, небольшом баварском городке в 50-ти километрах южнее Мюнхена. В эти дни мир мог наблюдать прискорбное и небывалое в истории явление: в то время как французы, бельгийцы, голландцы (их тогда было много на работах в Германии) с нетерпением ожидали и с радостью встречали свои войска, приходящие с Запада, сотни тысяч русских, оказавшихся на работах в Германии, пользуясь всеми возможными способами передвижения, вплоть до пешего, старались уйти от Красной армии, надвигавшейся с Востока. Большинство из них никакой вины перед русским народом не имели и коллаборантами не были, но зная, что несет с собой Советская власть, предпочитали оказаться на земле, которую занимали западные армии.

К их числу относились и мы, оказавшиеся в Вайльхайме, о существовании которого до этого понятия не имели. Нас судьба забросила туда совершенно случайно. В Вайльхайме нас высадил грузовик, подобравший перед Мюнхеном. Какой-то немецкий солдат по-человечески пожалел нас, стоявших с детьми на дороге, и посадил в кузов своей полупустой машины.

За день до нашего приезда в Вайльхайме был разбомблен вокзал и прилегающие к нему улицы. Это была первая бомбежка города. Американцы, превратив в груды развалин большие города, принялись за маленькие. Жители Вайльхайма ходили перепуганные, ожидая нового налета, а бомбоубежищ в городе не было. Американцы, по слухам, уже были недалеко. Их прихода можно было ожидать каждый день. По улицам города ходили кучки мальчишек из "Гитлерюгенд", вооруженных "панцер-

фаустами” и настроенных весьма воинственно.

Я с другом, с которым мы проделали всю эту эпопею, решили, что нашим семьям благоразумней переждать до прихода американцев в одной из ближайших деревень. Мы обошли с десяток деревень, отмахали многие километры, но никто не согласился нас принять. Пришлось, хочешь не хочешь, оставаться в Вайльхайме. Да это оказалось и к лучшему — город больше не бомбили, а из затей “Гитлерюгенд” устроить битву за Вайльхайм ничего не получилось. Американцы заняли город без единого выстрела.

Во время нашего похода по деревням нам пришлось наблюдать незабываемое зрелище — последний налет американской авиации на Германию. Налет нас застал в открытом поле. Самолеты летели сплошной массой, заполнив все небо, не соблюдая строя. Бояться им было некого, немецкой авиации больше не существовало. Это была грандиозная и в то же время жуткая картина. Казалось, от шума лопнут барабанные перепонки. В этот день, как потом стало известно, американцы разбомбили “Орлиное Гнездо” — летнюю резиденцию Гитлера в Баварских Альпах, около Берхтесгадена. Этим налетом американцы как бы символически окончательно прикончили гитлеровскую Германию.

Как я уже сказал, американцы заняли Вайльхайм без выстрела. Их тяжелые танки, гремя гусеницами, разворачивая мостовую и тротуары, прошли через город. Часть танков остановилась на ночь на городской площади.

В нашей жизни начался новый период.

Улицы наполнились радостной, оживленной толпой вывезенных сюда немцами на работу поляков, югославов, французов и большим количеством русских, так называемых “остарбайтеров”. Немцы, не зная что им сулит приход американцев, попрятались по домам. В этот день иностранцы были полными хозяевами города. С молчаливого согласия американцев они начали громить и растаскивать магазины и склады. Оказалось, что, несмотря на шесть лет тяжелой войны и истощения, у немцев было еще довольно много припрятанных продуктов питания, одежды, обуви. Конечно, большая часть этого добра оказывалась на полу, втаптывалась в грязь. Ящики разбивались, мешки распарывались, большая часть содержимого пропала даром. В спешке хватали все, что попадало под руку и ташили к себе в лагерь. Помню, один серб

говорил мне потом, что у него есть мешок ботинок на левую ногу, и он не знает что с ними делать. Можно вообразить, что переживали бережливые немцы, когда "ферфлюхте ауслэндэри" (проклятые иностранцы) растаскивали их добро, которое они прятали даже от своих! — Разумеется, главными виновниками происходящего оказались, как водится, "нецивилизованные" славяне — русские, поляки, югославы. Ведь их было подавляющее большинство. Но в действительности это было не совсем так. Если славяне, наиболее пострадавшие от немцев (конечно, не считая евреев, но евреев в первые дни в Вайльхайме не было), действовали шумно и беспорядочно, часто хватая то, что им совсем не было нужно, то французами и бельгийцами была проявлена известная организованность. Недалеко от того места, где мы нашли пристанище, находился большой винный склад. Наши несли оттуда бутылки, по дороге их распивая и крича, ну а французы подъезжали на грузовиках (уже отобранных ими у немцев), грузили ящики с вином и везли в свой лагерь. Подобное они проделывали и на других складах. К слову сказать, французы не были насильно вывезены в Германию (как русские), а отправились добровольно, по контракту — работать. Американцы скоро опомнились, и к винному складу была поставлена охрана, опять-таки из вооруженных французских рабочих, которые одиночек в склад не пускали, но подъезжающие грузовики продолжали грузить вином.

Первые недели наш Вайльхайм был совершенно отрезан от всего мира — въезд и выезд из него американцами были запрещены. Жили в полной неизвестности того, что происходит в мире, питаясь лишь слухами. Чтобы узнать, что делается, а главное, выяснить американский взгляд на русский вопрос и что нас, антикоммунистов, ожидает в будущем, я решил попытаться проехать в Мюнхен. Обратился в американскую комендатуру за пропуском, но получил отказ. Неожиданно встретил на улице В. М. Байлакова, председателя Национально-Трудового Союза. В 1944 г. он вместе с некоторыми членами Союза был немцами арестован и посажен в тюрьму. Выпущен только перед самым приходом американцев. В Вайльхайме он оказался проездом и вместе с несколькими соратниками направлялся в Западную Германию. Способом их передвижения был небольшой закрытый автобус с огромной, бросающейся в глаза надписью "ГИФУС". У немцев он

служил для перевозки заразных больных. Слово "Тифус" не особенно располагало к тщательному контролю его внутреннего содержания. Для этого автобуса был выдан американский пропуск, но точное число едущих указано не было. Дальнейший путь его лежал через Мюнхен. Байдалаков предложил мне ехать с ними.

По дороге остановились в небольшом городке на берегу Штарнбергского озера. Там встретили трех молодых офицеров-власовцев, только что пришедших пешком из Праги, измученных, небритых, худых. Как известно, в начале мая 1945 года, во время Чешского восстания, Власовская дивизия, находившаяся в это время в Чехии, присоединилась к чехам и при ее помощи Прага была очищена от немцев. Через день, словно в "награду за это", она чехами была выдана вошедшим туда большевикам!

Этим трем офицерам удалось бежать. По Чехии они шли ночами, днем скрываясь в лесах. Они обратились к Байдалакову с вопросом — что им делать дальше. Вкратце его совет сводился к тому, что они должны как можно скорее переодеться и забыть, что были у Власова, если не хотят быть выданы большевикам. Они были его советом разочарованы и как-то обижены, даже оскорблены. Позднее, как раз после выдачи в Платлинге, я одного из них повстречал; он вспоминал разговор с Байдалаковым и поминал его добрым словом.

В Мюнхене, поблагодарив и распрошавшись с пассажирами "Тифуса", я отправился по адресу, где надеялся найти пристанище. Город, особенно центр, был сплошные развалины — американская авиация хорошо поработала, так что я потерял надежду найти моего знакомого. Но все-таки решил попытать счастья, сел в трамвай и, добравшись до района, где раньше была эта улица, обошел несколько кварталов развалин. На мое счастье дом, который я искал, был мало поврежден. Застал и знакомого, он меня ласково встретил, накормил и предложил у него переночевать. Это был адмирал К. В. Шевелёв. Ему довелось сыграть некоторую роль в те дни в жизни русского Мюнхена.

За два дня моего пребывания в Мюнхене я ничего ясного и утешительного не узнал. У американцев было полное непонимание русской проблемы. Непонимание, что такое коммунизм и что он несет миру. Да американцы и не старались это понять; главное — Гитлер побежден, война окончена, и они скоро поедут

домой. Сталин — их союзник, и они должны выполнять договоры, заключенные с ним. А если русским он не нравится, они могут его провалить на "следующих выборах". Об Ялтинском договоре я узнал тоже в Мюнхене. Там же я в первый раз увидел на улицах советских офицеров в погонах. Это были члены репатриационных комиссий, начавших подготовку вывоза советских граждан. Старые эмигранты под Ялтинский договор не попадали.

В Мюнхене начал функционировать "Русский Комитет", который взял на себя защиту русских эмигрантов. Создан он был по инициативе С. В. Юрьева, который, если не ошибаюсь, еще до войны был связан с "Нансеновским Комитетом" защиты прав русских белых эмигрантов за границей. Он и стал председателем "Русского Комитета", а его заместителем — адм. Шевелёв. Этот комитет, особенно в первые месяцы после прихода американцев, много сделал для бесправных русских, оформил их статус, защитил и спас многих новых эмигрантов от выдачи. Комитет был бельмом на глазу у большевиков! Они требовали от американцев, чтобы комитет закрыли, т. к. он саботирует возвращение советских подданных домой. По требованию большевиков, С. В. Юрьев ни за что ни про что был американцами арестован и просидел какое-то время в тюрьме.

Я побывал в этом комитете и получил удостоверение на английском языке, что я — старый эмигрант. Комитет — к его чести — при выдаче таких удостоверений часто закрывал глаза и выдавал их и новым эмигрантам, чем, как я уже говорил, спас многих от выдачи. Там я познакомился с одним профессором из Харькова, пришедшим в Мюнхен за тем же, что и я. Он жил на полдороги между Мюнхеном и Вайльхаймом. Нам было по дороге и мы решили возвращаться вместе. Американские заставы были только при выезде из Мюнхена, и то лишь на главных дорогах, обойти их было нетрудно. Собеседником он оказался интересным и человеком симпатичным. Он рассказывал про жизнь в Сов. Союзе, я — про наше заграничье. Как-то подружились, иногда это происходит быстро. Сговорились встретиться, но, как часто бывает, так больше и не встретились, и о дальнейшей его судьбе я ничего не знаю. Дальше я шел один. Перед каким-то городком меня остановила американская застава. Показал им удостове-

ние от Мюнхенского комитета. Они долго его рассматривали, но в конце концов пропустили.

Вспоминается еще один эпизод, происшедший вскоре после нашего приезда в Вайльхайм. Выскочившей из-за угла американской машиной был тяжело ранен русский рабочий. Машина не остановилась и пронеслась дальше. Моя жена, бывшая случайной свидетельницей происшедшего, остановила первую проходящую машину и отвезла истекавшего кровью русского в городскую больницу. Там старшая сестра, монашка, узнав, что раненый — русский, заявила, что мест нет и они принять его не могут. Конечно, можно предположить, что больница была переполнена, но в таком экстренном случае можно было и потесниться. Возмущенная жена побежала в американскую комендатуру, привела оттуда сержанта, и комната сразу нашлась. Этот русский через два дня умер. После него осталась беременная жена. Через нее у нас завязались отношения с лагерем вывезенных из СССР рабочих — “остарбайтеров”. Лагерь находился на окраине города. С некоторыми из них у нас сложились приятельские отношения. Мы, прожившие больше двенадцати лет за границей, и они, приехавшие недавно, были друг другу интересны и, как это ни странно, чем-то близки. В те дни большинство из них были больны неразрешимым вопросом — ехать ли домой или оставаться. Ведь вопрос тогда стоял так, что тот, кто решит оставаться, идет на то, что его могут вылать силой (по Ялтинскому договору Сталина-Рузвельта).

Для того чтобы остаться, нужно было уйти из лагеря, некоторое время скрываться, достать документы, доказывающие, что ты — старый эмигрант или поляк, латыш, югослав и потому вылаче не подлежишь. И это все в чужой, враждебной стране, без знания языка. Мало кто на это решился. А прояви тогда американцы больше человечности и понимания того, что из себя представляет власть Сталина, большинство этих людей не вернулось бы в Сов. Союз, а таких были если не миллионы, то сотни тысяч.

Помню Сева из Киева, интеллигентного юношу. На работу в Германию поехал с первым эшелонам добровольцев — в первые месяцы войны были и такие. Ехал Сева, мечтая увидеть свободную Европу, работать и учиться. А вместо этого в Германии попал в лагерь за колючую проволоку. Во Франции у него был дядя, белый эмигрант. Сева написал ему. Дядя ему ответил, что он не

понимает, зачем племянник приехал помогать врагам русского народа (были и такие старые эмигранты!). Сева хотел не возвращаться, но в последнюю минуту передумал. Говорил мне: "Знаю, что получу минимум десять лет, но я молод, как-нибудь отсижу, а потом буду среди своих...".

Помню пару (муж и жена) молодых учителей из-под Чернигова, насильно привезенных на работу в Германию. Им очень не хотелось ехать. Но поехали. Успокаивая себя, говорили, что им нечего бояться, вины перед народом у них нет. Хотя сами рассказывали, что за проволокой в Сов. Союзе сидят в большинстве невинные.

Хорошо сохранился в памяти Саша из Минска, талантливый художник, молодой, очень красивый, но уже совершенно седой. Он не скрывал, что до войны состоял в коммунистической партии. В 1941 г. в одном из первых окружений попал в плен. Бежал из него, был у партизан, а потом случайно попал в какой-то деревне (он пришел в нее за провизией) в немецкую облаву, набравшую силой рабочих в Германию. Он не собирался оставаться в Германии, но тем не менее охотно общался с нами. Это был живой и неглупый человек, интересующийся русской историей, особенно последними годами старой России. Ему, как видно, хотелось познакомиться с другой, несоветской интерпретацией прошлого нашей страны. Он, несчастный, верил, что после войны все будет по-другому, что возвращение к сталинизму невозможно.

Помню, в лагере своими силами устраивался концерт, были приглашены и американцы. Для украшения зала Саше было поручено нарисовать большой портрет генералиссимуса Сталина. Это задание Саше было не по душе, он со мной поделился. Я ему подал идею вместо Сталина нарисовать маршала Жукова, что он и сделал. Во время концерта залу украшал огромный, в красках, неплохо нарисованный портрет Жукова. Это ему потом в Сов. Союзе, наверное, припомнилось!

Отъезд был объявлен неожиданно. Американцы нагрянули в лагерь, не предупредив. Увозили русских в открытых, набитых до отказа грузовиках, под конвоем солдат. Узнав об этом, мы побежали их провожать. Увидев нас, помню, кто-то запел:

Бувайте здоровы,
Живите богато,

А мы уезжаем
До дому, до хаты.

Из песни ничего не получилось, у уезжающих она воодушевления не вызвала. У многих из них стояли слёзы в глазах, да и у нас, провожающих, тоже. Потом мы зашли в ближайший барак, там все было перевернуто и разрыто, собирались впопыхах. В одном углу были разбросаны бумажные "николаевские" деньги. Кто-то, видно, долгие годы в Сов. Союзе берег, потом привез с собой даже в Германию, но везти обратно не решился. Несколько штук я подобрал и храню до сих пор как память о тех днях...

В тот же день и ночь в Вайльхайме американцами с помощью немецкой полиции была организована охота на подданных Советского Союза. Насколько я знаю, у нас им никого не удалось поймать.

К концу 1945 г. на территории Германии, занятой американцами, несмотря на принудительные депортации в Советский Союз, оставалось еще много беженцев, главным образом из Восточной Европы, которые не хотели возвращаться домой и предпочли жизнь в беженских лагерях коммунистическому режиму у себя на родине. Среди них был большой процент молодежи всех национальностей, войной и сложившимися обстоятельствами оторванной от школьной скамьи. В то же самое время в тех же лагерях оказалось много профессоров из оккупированных немцами областей России, Прибалтики, Польши, Югославии, Чехии, Греции и др., которые тоже предпочли не возвращаться домой. И вот возникла идея помочь этой молодежи не терять даром время и использовать это невольное пребывание в беженских лагерях с толком.

Началось с того, что в беженском лагере в Мюнхене были организованы курсы для подготовки к экзаменам на аттестат зрелости и комиссия для проведения экзаменов. Интересно отметить, что инициатива исходила от самой молодежи, ею самой были собраны для начала какие-то средства. Сознывая важность и своевременность такого начинания, это дело взяла в свои руки "УНРРА" — американская организация, на которой лежала забота о беженцах, находящихся в лагерях в Германии.

Как следующее, много более сложное начинание, появился план эти курсы развернуть в высшее учебное заведение для моло-

дежи всех национальностей, оказавшейся в этих лагерях. Идея интересная и осуществленная (если я не ошибаюсь) впервые в истории, силой обстоятельств собравшая на одной школьной скамье молодежь не только разных национальностей, но даже между собой враждебных. УНРРА подхватила эту идею, и в Мюнхене возник "УНРРА Университет". Больших затрат это начинание не требовало: помещения должны были дать побежденные немцы, профессора получали жалование в ничего не стоящих американцам немецких марках тоже от немцев в счет репараций, а студентов все равно нужно было кормить в лагерях. К тому же УНРРА было удобно использовать этот университет для рекламы своей культурно-просветительной деятельности.

В короткий срок было организовано 6 факультетов: юридический, экономический, естественно-научный, механический, строительный и медицинский. Ректором университета был избран заслуженный профессор Горного института в Петрограде профессор А. Н. Митинский, после революции — профессор Горного Института в Чехии. Деканами были избраны: естественного — М. М. Новиков, последний свободно избранный ректор Московского университета, потом профессор в Чехии; экономического — Ал. Дм. Билимович, до революции — профессор Киевского университета, потом профессор Люблянского университета в Югославии; медицинского — Ф. В. Вербицкий, до революции — профессор Киевского и Саратовского университетов; строительного — К. Г. Белоусов, профессор Братиславского университета в Чехословакии. Имен нерусских деканов память не сохранила.

Слушателей (представителей 24-х народностей) оказалось больше 2000 человек. Это были русские, украинцы, поляки, евреи, эстонцы, латыши, литовцы, югославы, чехи и т. д. Языком для преподавания, как это парадоксально ни звучит, был выбран немецкий, наиболее знакомый как большинству слушателей, так и профессуре, оказавшейся в Германии.

Для университета городом было предоставлено большое здание знаменитого "Дойтшес Мюзеум", более или менее пережившее американские бомбежки (большая часть Мюнхена, как известно, лежала в развалинах). Чтобы создать аудитории для лекций и кабинетов, большие залы музея были разделены временными деревянными перегородками. Все, конечно, было крайне

примитивно и не совсем удобно, но война научила довольствоваться малым.

Официальными и действительными хозяевами этого учреждения, что впрочем и естественно, были американцы в лице УНРРА. Они назначили директором университета госпожу Гижинскую, американку польского происхождения, симпатичную женщину, но, как мне кажется, к науке большого отношения не имевшую. Обеспечили слушателей и преподавательский персонал питанием и выдавали иногда по несколько сигарет, которые ценились очень высоко.

Одним из первых вмешательств дирекции УНРРА во внутреннюю жизнь университета было требование заменить свободно выбранного ректора, А. Н. Митинского, профессором Пиркмаером, в научном мире себя ничем особенно не проявившим, но более молодым и наиболее пострадавшим от немцев. Проф. Пиркмаер, в прошлом профессор Люблянского университета в Югославии, большой югославский патриот, был немцами арестован, просидел два года в Дахау и был освобожден американцами. Возвращаться в коммунистическую Югославию он, конечно, не собирался. Забегая вперед, хочу сказать, что проф. Пиркмаеру не удалось проявить себя как ректору. Вскоре после его назначения он, по требованию Титовского правительства, обвинившего Пиркмаера в антиюгославской деятельности, был американцами арестован. Но выдан коммунистам, как они того требовали, не был, а просидел в том же Дахау, теперь уже не у немцев, а у американцев больше года, пока не была выяснена его полная невиновность.

Возвращаюсь к УНРРА университету. Торжественное открытие Университета было 16-го февраля 1946 года. УНРРА старалась как можно шире рекламировать это событие. Чтобы подчеркнуть поражение нацизма, открытие этого свободного, как бы международного университета происходило в огромном зале известного в Мюнхене "Бюргербрау Келлер", своего рода Мекки нацизма, где так любил выступать со своими истерическими речами Гитлер. Главным почетным гостем был командующий 3-й американской армии, расквартированной в Баварии, ген. Л. Траскотт, который, как представитель американского правительства, первым подписал акт об основании УНРРА универ-

ситета и тем как бы подтвердил законность существования этого университета.

У меня в памяти об этом торжестве осталась огромная зала, заполненная студентами и американцами в форме, бесконечные торжественные речи, громкие аплодисменты и много раз повторяемое пение "Гаудеамус игитур, ювенес дум сумус!".

Начались занятия. Несмотря на всякие, казалось бы непреодолимые, затруднения, работа постепенно налаживалась. Создавать нужно было из ничего — не было ни учебников, ни инструментов, ни лабораторий. Но было желание, как у студентов, так и у профессоров — у одних учиться, у других передать свои знания молодежи.

Мне тоже пришлось принять участие в этой работе. Я был ассистентом при кафедре геологии. Возглавлял её очень талантливый профессор Ростовского университета (в Сов. Союзе), большой специалист по атомной геологии. Ему, чтобы не подвергать себя и семью опасности быть насильно вывезенным на "родину", приходилось выдавать себя за галичанина.

В распоряжении нашей кафедры геологии, кроме больших знаний моего профессора и моего желания ему помочь, не было ничего. Для первых, популярного характера лекций, задачей которых было ознакомление слушателей с предметом, который они будут изучать, нужно было иметь хоть несколько образцов горных пород и минералов. Я ломал себе голову, где их достать? Обратиться в немецкий университет было нельзя, он был закрыт. К тому же говорили, что немцы возмущены открытием нового международного университета в Мюнхене в то время как их собственный Мюнхенский был закрыт. Решил действовать сам — по карте нашел, где в городе находились музеи естествознания. Их оказалось два. Одинока оказался сравнен бомбами с землей, другой — тоже сильно разбит. Ползком, с электрической лампочкой, мне удалось забраться в его подвал. Там, ползая и раскапывая мусор, я нашел кое-что из того, что я искал, и набил мой портфель образцами различных пород. На другой день пришел туда с группой студентов и мы откопали довольно много образцов минералов и пород, частью разбитых и попорченных, но тем не менее пригодных для наших целей. Так была заложена основа коллекции нашего геологического института.

Для персонала университета, чьи семьи не жили в Мюнхене,

были реквизированы комнаты (моя семья осталась жить в Вайльхайме). Я получил комнату в семье немецкого полицейского чиновника. Во время войны он служил в "Ост Министерство". Как я понял из его рассказов (он был болтлив и недалек), он работал в какой-то комиссии, которая разъезжала по Украине и Крыму и намечала земли, которые после войны будут отданы немецким переселенцам из Германии!

У моего профессора семья тоже не жила в Мюнхене и у него тоже была комната в городе. Мы много времени проводили вместе, обедали, гуляли, ходили в кино, много разговаривали. Меня интересовало, что им пришлось за это время пережить в Сов. Союзе, а его — как нам жилось в эмиграции. Незадолго до войны он написал книгу "Камни говорят" (название привожу по памяти) — популярное изложение его взглядов на современную геологию. Она имела успех. Но и в этой, никакого отношения не имеющей к политике книге были найдены еретические мысли. Он был арестован. На его счастье его следователь оказался большим поклонником Есенина и Маяковского. Мой профессор, тоже большой их почитатель, сам немножко поэт, обладающий исключительной памятью, по ночам вместо допроса декламировал следователю Маяковского и Есенина и разговаривал с ним о поэзии. Это его спасло и осуждён он был милостиво. Просидев какое-то время в концлагере на Севере, перед самой войной он был выпущен.

Как-то во время одной из наших прогулок нас остановил патруль американской полиции. Их заинтересовали наши портфели, нагруженные чем-то тяжелым. Они нас приняли за торговцев черного рынка, который тогда процветал в Мюнхене. Содержание портфелей, нагруженных какими-то, ничем с их точки зрения неинтересными булыжниками, вызвало у них еще большее удивление и подозрение. Английского языка мы, конечно, еще почти не знали, а их знакомство с немецким было очень ограниченным. Они долго изучали наши документы, расспрашивали, кто мы такие. О существовании УНРРА университета они тоже не слышали. Но, главное, их интересовали камни. Мы старались им объяснить, что у нас в нашем университете нет кабинета и нет шкафа и поэтому нам приходится приносить образцы пород к каждой лекции. Наконец, они нас отпустили, как мне кажется, так и

не поняв, кто мы такие и зачем нам нужны эти камни.

Постепенно жизнь университета стала налаживаться. Всё устраивалось, в основном, своими силами. Где-то доставалось необходимое оборудование, нужные пособия, мебель. Особенно много было проявлено инициативы и энергии самими студентами. Хотя, как я уже говорил, состав студентов, да и профессоров, был очень национально неоднороден и можно было ожидать недоразумений на этой почве, но их, как ни странно, не было ни на заседаниях учебного персонала, ни на студенческих сходках. Всех объединяла работа, а главное, коммунистическая опасность, находящаяся совсем рядом. С засылаемыми коммунистическими агентами студенты "расправлялись" сами и никакой открытой коммунистической пропаганды в стенах университета не допускали.

Такого положения, конечно, большевики долго терпеть не могли. Они утверждали, что УНРРА университет — это сборище военных преступников и является центром антисоветской пропаганды, прикрывающим советских подданных, не желающих возвращаться домой; что это учреждение ничего общего с делом образования не имеет, а занимается, в основном, черной биржей и спекуляцией, задерживает нормальную эвакуацию "перемещенных лиц" на родину, и поэтому УНРРА университет должен быть закрыт.

Закрытия университета сразу не произошло, но началась усиленная проверка учащихся и учащихся — кто, и откуда, и каково его прошлое. Это создало нервную обстановку, ведь многим нужно было спешно доказывать, что они не из Сов. Союза. Учебный персонал проверялся особенно строго. Его проверка была поручена одному из высших чиновников УНРРА — г-же Пик, получившей известность своими просоветскими симпатиями (в прошлом она была хозяйкой модного магазина в Праге). Эта проверка меня лично не затрагивала. У меня не было что скрывать. Коллаборантом я не был, а также не был и советским подданным. Война застала меня в Западной Югославии, в Словении. Рудник, где я работал горным инженером, был немцами занят в первые дни войны Югославии с Германией (апрель 1941 года).

Словения до Первой мировой войны принадлежала Австрии. На основании этого Гитлер, перед этим присоединивший Австрию к Германскому Рейху, присоединил эту часть Словении к Герма-

нии, несмотря на то, что население этой области на 95% было словенцы. Чтобы отделаться от "расово-нежелательных элементов", часть населения (особенно это относилось к интеллигенции) должна была проходить особую комиссию. Там людей отбирали как скот на ярмарке, что-то измеряли, рассматривали профиль и уши. Прошедшие такую комиссию признавались достойными стать немецкими подданными. Забракованные же, вместе с семьями, детьми, стариками выселялись. Ночью приезжали грузовики, на сбор давалось два часа (разрешалось брать самое необходимое), их везли на границу с Хорватией, которую немцы объявили "независимым государством", и там выбрасывали.

Эту комиссию должны были проходить и мы с женой. На нашем руднике ее возглавлял, как говорили, какой-то профессор из Берлина. Он нас "расово" не забраковал и был с нами вежлив, но мы ему объяснили, что мы русские эмигранты-антикоммунисты, временные жители этой области, а потому на немецкое подданство не претендуем. Через несколько дней приятели, через людей, у которых были связи с немцами, меня предупредили, чтобы я был готов, т. к. моя семья стоит в списке на выселение. Так мы прожили несколько месяцев, каждую ночь ожидая, что за нами приедут. Потом это как-то прекратилось. Может быть, с первыми неудачами на Восточном фронте, чтобы не усложнять и без того сложную обстановку, дальнейшее выселение было отложено на будущее.

Всё же все главные инженеры успели выселить, их места заняли немцы, состоящие в партии. Оставлено было только три молодых инженера, в том числе и я. В письменной форме нам было сообщено, что наши дипломы, полученные в югославском университете, не признаются и мы, как не имеющие высшего образования, переводимся в технику.

Мне пришлось прожить три года при немецкой оккупации вместе со своими приятелями-словенцами и пережить всё, что пережили они. Они меня считали своим, знали мое отношение к немцам и часто доверяли мне больше, чем некоторым из своих словенцев.

Словенцы — один из самых маленьких славянских народов, — их около двух миллионов (из них около 500 тысяч проживает сейчас в США). Входя в состав Австрии, они многие столетия про-

жили под властью немцев, которые старались их онемечить. Но, вопреки всему, они сохранили своё славянское лицо, свой язык, свой фольклор, свою литературу, свою музыку и в Югославии создали свой университет. Гитлер решил с этим раз и навсегда покончить, выкорчевать все славянские корни. Словенские школы были закрыты, словенский язык объявлен вне закона, государственным языком был признан только немецкий язык, который подавляющее большинство населения не понимало. Но, несмотря на всю проявленную нацистами систематичность и жестокость (выселения, концлагеря, расстрелы), этот маленький народ не был сломлен, выказав большую жизненную силу.

Постепенно горы, окружающие рудник, благодаря поведению немцев (ими было сделано все, чтобы их возненавидели) наполнились титовскими партизанами. К 44-му году немцы остались хозяевами, и то только до некоторой степени, в больших населенных пунктах; повсюду же хозяйничали титовцы, рекрутировавшие словенскую молодежь.

В один прекрасный день, вернее ночь, партизаны сделали набег на рудничный посёлок, сняли всех докторов и увели их в горы, т. е. наш большой рудник остался без медицинской помощи.

В июне 44-го года от титовцев было получено приказание, чтобы все словенцы-инженеры нашего рудника, в том числе и я, явились в горы, где якобы приступлено к организации министерства тяжелой промышленности будущей Советской Словении. На сборы давалось две недели. Для словенцев решить этот вопрос было просто, они понимали это как свой долг, они еще не знали, что такое коммунизм. Я же, как антикоммунист и в то же время противник немцев, не мог ни оставаться с немцами на руднике, ни идти к партизанам, т. е. коммунистам.

И я решил бежать. У меня были друзья в Готенхафене (теперь это Польша), на Балтийском море, т. е. на другом конце Германии. Со всякими неприятными приключениями, пережив бомбежки, я пробрался туда и прожил там без прописки, без службы и без карточек три месяца — в те дни в Германии это было не так просто. Жена с маленькой дочкой на следующий день после моего ухода тоже тайно от всех уехала к другим нашим друзьям в деревню под Грацем (Австрия). Позднее, заручившись некоторыми липовыми документами, полученными благодаря добрым людям,

я присоединился к моей семье. Дальнейшее рассказано в начале моего "повествования".

Хочу к этому добавить, что потом, уже из Америки, я ездил в Югославию, даже поехал на мой рудник и встретил своих друзей, с которыми я должен был идти в горы (некоторые там и сложили свои головы). Никто из них меня не упрекнул, а один, подвыпив и впад в откровенность, сказал, что будь он на моём месте, он поступил бы так же, как я.

Возвращаюсь к происходившему в УНРРА университете. Когда я был вызван на проверку к г-же Пик, я, ничего не скрывая, рассказал ей все, как было. Но она, как я уже упоминал, будучи просоветски настроенной, поставила мне в вину, что я не пошел к красным партизанам и не признала меня Ди-Пи, а только беженцем. Тогда таким решением я не был расстроен, т. к., не живя в лагере, я в статусе Ди-Пи не нуждался. Но в 1948 г., когда я получал визу в США, мне пришлось из-за этого вторично проходить комиссию. В то время Америка принимала к себе только Ди-Пи. Эта комиссия за мной этот статус без разговоров признала.

Политическая проверка под руководством г-жи Пик возлагаемых на нее надежд не оправдала. Ни среди педагогического персонала, ни среди студентов никаких настоящих политических преступников обнаружено не было. Но на этом враги университета, т. е. советская власть и ее симпатизаны не успокоились. По требованию югославского титовского правительства, как я уже писал, был арестован и посажен в тюрьму ректор университета, проф. Пиркмаер. Единственным его преступлением было то, что он был активным врагом коммунизма. Во время королевской Югославии Пиркмаер был одно время вице-губернатором Словении и с успехом боролся с коммунистами.

Наконец, в середине третьего семестра управлением УНРРА было объявлено, что университет закрывается, т. к. на него прекращены кредиты, что он должен быть закрыт немедленно, даже до окончания текущего семестра. При этом дирекцией УНРРА было якобы цинично заявлено, что в настоящее время нужны не доктора и инженеры, а рабочие, которых УНРРА будет вывозить в заокеанские страны.

Возмущенный учебный персонал решил продолжать занятия и, если нужно, работать бесплатно. Студентами же была органи-

зована внушительная демонстрация перед зданием американского военного управления в Мюнхене. Считалось, что так как акт открытия университета был подписан Командующим американской армии, то и закрытие его может быть сделано только с ведома этой инстанции. Студенческая делегация была принята американским военным командованием и получила заверение о поддержке университета.

Наступило временное затишье, но ненадолго. На деле оказалось, что хозяином университета всё же была не армия, а УНРРА и судьба университета ею уже была решена. Ночью, без предупреждения, здание университета было оккупировано отрядом унровской полиции. Днём это проделать не решились, боясь сопротивления студентов. На следующее утро студенты и профессора нашли двери университета запертыми. Не пустили даже тех, на чьей ответственности были животные и растения зоологического и ботанического институтов.

Через несколько дней, когда для профессуры был разрешен вход в университет, в громадном, красивом его вестибюле на каменном полу они увидели огромный костер из разломанной университетской мебели. На улице был мороз, и около костра грелась стража. Животные зоологического института были найдены мертвыми.

Так закончил своё короткое существование Международный УНРРА Университет.

Борис Павлов

МЕМОУАРЫ ДВАДЦАТИЛЕТНЕГО МУЗЫКАНТА

ВСТРЕЧИ С ДМИТРИЕМ ШОСТАКОВИЧЕМ

Не прошло и десяти дней, как "Правда" снова обрушилась на Шостаковича в статье без подписи от 6-го февраля под названием "Балетная фальшь". Стоит процитировать отдельные строки из этой бесстыдной писанины: "Балет — это один из наиболее у нас консервативных видов искусства. Ему всего труднее переломить традиции условности, привитые вкусами дореволюционной публики. Самая старая из этих традиций — фальшивое отношение к жизни. В балете, построенном на этих традициях, действуют не люди, а куклы. Их страсти — кукольные страсти. Основная трудность в советском балете заключается в том, что тут куклы невозможны. Они выглядели бы нестерпимо, резали бы глаза фальшью... Жизнь колхоза, его новый, еще только складывающийся быт, его праздники — это ведь очень значительная, важная, большая тема. Нельзя подходить к этому с налета, с кондачка, — все равно, в драме ли, в опере, в балете...".

Какая демагогия! Словно Шостакович должен был нести полную ответственность за кукольность в опере, в драме, в балете. А ведь слова самого Сталина: "Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи!" уже обязывали драматургов и киносценаристов к кукольным действиям. Можно ли было показать на сцене раскулачивание крестьянства и насильственную коллективизацию, которая гибельно отозвалась на экономике богатейшей страны? Можно ли было показать искусственный голод в деревнях, как средство "перевоспитания" и казни невинных?

Подобный реалистический социализм не допустили бы на советскую сцену, как не допустили бы и обыкновенный реализм. Поэтому была изобретена особая форма "показушечного" реализма, который был окрещен методом социалистического реализма.

Шостакович написал балет "Светлый ручей" по предложению Самосуа. В качестве постановщика был приглашен знаменитый русский балетмейстер Федор Васильевич Лопухов. Это ему принадлежит заслуга восстановления былой славы ленинградского балета. Когда он в 1922 г. принял на себя руководство балетной труппой бывшего Мариинского театра, перед ним встала сложнейшая задача заново собрать труппу, опустошенную эмиграцией. Он успешно справился со своей сверхтрудной задачей, которая поначалу казалась безнадежной. Он пробыл на своем посту до 1930 г., и эти восемь лет его деятельности остались "золотыми годами", заложившими фундамент для дальнейшего расцвета прославленной в прошлом балетной труппы. Никто не забыл его постановок "Жар-птицы" Стравинского в 1921 г., "Пульчинеллы" в 1926 г., многих других хореографических шедевров. В 1930 г. Федор Лопухов принял в свои руки формирование балетной труппы Малегота. И в короткий срок сотворил чудеса. Тут он и приметил дарование Шостаковича и решил привлечь композитора к хореографии. Впрочем, еще в 1931 г. Лопухову удалось осуществить в бывшей Мариинке постановку балета "Болт" на музыку Шостаковича. Это был уже второй балет Шостаковича. Первый, "Золотой век", был поставлен в Мариинке еще в октябре 1930 г., и осуществил его хореографическую композицию Василий Иванович Вайнонен при участии Леонида Якобсона. Словом, Шостакович не был новичком в этом жанре, а его балетная музыка с большим успехом исполнялась в концертных программах. Федор Лопухов, с завистью наблюдая успех "Леди Макбет" в Малеготе, склонил, не без участия Самосуа, Шостаковича к созданию балета "Светлый ручей".

Ах уж эта советская тематика! Она не давала покоя Самосуа. Да еще колхозная тематика! А. Пиотровский и Ф. Лопухов состряпали либретто. Практически, выход из тупика был найден правильно. Показать реальную жизнь колхоза невоз-

можно. Опасно! Надуманную агитку также осуществить нелегко. Вот и был найден выход в дивертисментном балете. Люди ведь всегда охотно танцуют. Как говорили в Одессе: "Лопни, но держи фасон". Танцевать можно и на голодный желудок. Федор Лопухов сочинил превосходные танцы, которые можно было назвать шедевром хореографии. 4 апреля 1935 г. премьеру балета "Светлый ручей" показали в Малеготе. Успех был большой. Решили этот балет поставить и в Москве. Поручили тому же Федору Лопухову. Так и появился "Светлый ручей" на сцене Большого театра 30 ноября 1935 г. Газеты хвалили балет, избалованная балетной классикой публика также приняла тепло. Все шло хорошо. Но уж раз занесли меч над "Леди Макбет", не хотелось его так быстро прятать в ножны. Вот и испачкали "Светлый ручей" грязью "правдистской" критики. Помню, Екатерина Гельпер, знаменитая балерина, прочитав критику в "Правде", сказала: "Видно, что у автора статьи ноги были на плечах, вместо головы".

Немирович-Данченко реагировал по-своему. Встретив на улице дирижера Столярова (я был рядом с ним), Немирович-Данченко со злостью сказал: "Снова взяли за Митю. Это невозможно! Это торжество хамства! И надо же было привозить в Москву Самосуа с его театром! Уж лучше сидел дома, а мы бы вполне обошлись без него! Все шло без него хорошо. А он привез свой "Тихий Дон", эту примитивную оперу! Ведь он же музыкант опытный, неужели он не видел ее качества! Да и как он может теперь смотреть в глаза своей труппе? Неужели его действия будут одобрять? Ужасные времена настали!". Как сейчас помню выражение лица Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Конечно, он был во многом наивен. Но этой его наивностью ловко воспользовались и на Немировича-Данченко сумели оказать давление, принудив в его же театре показать "Тихий Дон" 31 мая 1936 г. в его собственной постановке. Да еще заставили Григория Столярова дирижировать. Надо же было испускать грехи! Впрочем, с перепугу, двумя месяцами раньше (25 марта 1936 г.) свою постановку "Тихого Дона" показал Большой театр, а дирижировал непокорный, но уже сломленный Голованов. Во многих советских театрах началась прямо-таки инфляция "Тихих Донов" — по команде сверху. Вдобавок

“Музгиз” выпустил клавир оперы “Тихий Дон” с текстом на английском языке! Размахнулись широко. Не знаю, какой англоязычный театр клюнул на эту приманку. В справочнике Г. Бернандта “Словарь опер” (издан в Москве в 1962 г.) перечислены все театры, которые показали “Тихий Дон”, но там не упомянуты англоязычные страны. Можно полагать, что эта затея — “в пику Шостаковичу” — не удалась.

Самосуд вернулся в Ленинград после гастролей в Москве. Мне рассказывали, что многие ленинградцы ответили презрением на трусость Самосуда. Да и в Малеготе к Самосуду отнеслись с явной враждой. На него возложили ответственность за трагический эксперимент. Оставаться при таких условиях в Ленинграде было сложно. Да еще надо было участвовать в экзекуциях Шостаковича. Но на помощь пришел Виктор Городинский. Силой своей власти в качестве “завсекиса” (так в шутку называли должность заведующего сектором искусств при ЦК ВКП(б), которую он занимал), он добился назначения Самосуда на пост главного дирижера Большого театра в Москве, предварительно убрав с этого поста ни в чем неповинного Голованова. Произошел самосуд над Головановым. Даже привыкшая ко многим преступлениям советского режима общественность, тем не менее, встретила такое своевластие с явным возмущением. А тут еще в руки (в лапы) Самосуда дали широкие полномочия и твердую власть.

Неверно думать, что не поступало протестов от людей, не боявшихся выразить своего возмущения. Но эти протесты не печатали и не предавали гласности, их авторы заносились в “черный список” для отмщения — при случае. За границей поднялся страшный шум. И это было понятно. Произведения Шостаковича были запрещены в СССР для исполнения. И не только опера “Леди Макбет” или балет “Светлый ручей”. За границей же по-своему ответили на творческое удушение Шостаковича. Его опера “Леди Макбет” оказалась в центре внимания. Ее продолжали усиленно ставить. Уже на следующий день после появления статьи в “Правде” состоялась премьера в Праге, тогда еще неподвластной СССР. И эта премьера вылилась в грандиозную демонстрацию любви к Шостаковичу. 12 февраля поставили “Леди Макбет” в словацком городе Любляне на словацком

языке. И опять триумф. Но особый успех был 18 марта 1936 г. в Лондоне. Оперу исполнили на английском языке в переводе М. Д. Кальвокоресси. Что творилось! Публика выражала неистовый восторг. У газет был еще один повод поведать о преследованиях Шостаковича в СССР, а доказательства были налицо. Потом поставили оперу в Копенгагене, в Цюрихе...

Бедного и истерзанного Шостаковича в это самое время настойчиво уговаривали выступить с покаянным письмом и признать свои ошибки. Обещали напечатать письмо в "Правде", на самом видном месте. Говорят, что сам Андрей Вышинский уговаривал Шостаковича. Но Шостакович был тверд и отказывался писать. Не действовали никакие посулы, не могли соблазнить его и заграничной поездкой. Шостакович хорошо понимал сложившуюся ситуацию, но, тем не менее, болезненно реагировал на обстановку, которая сложилась вокруг него, метался, как подстреленная птица. Ему мерещились ужасы. Он был готов к аресту и ссылке. Ведь все можно было ожидать в условиях опалы. Тухачевский и Мейерхольд неотступно заботились о нем. Кубацкий старался его уберечь от дурных мыслей. В эти страшные дни я застал Дмитрия Шостаковича у Жилиева. Я присутствовал при начале беседы и знаю, что она длилась всю ночь. Жилиев откровенно сказал Шостаковичу: "Не поддавайся никаким соблазнам. Не верь им. Не пиши покаянного письма. Знай, что не тебе оно нужно, а им. Они попали впросак и нуждаются в твоей помощи. Весь мир рычит на них, и они готовы бить отбой. Потерпи немного и ты победишь. Не впадай в панику. Пиши свое опровержение нотами, новой симфонией. И когда она будет исполнена, ты увидишь, что победа в твоих руках". Жилиев предложил мне удалиться, ибо хотел вести с Шостаковичем чисто "мужской разговор". Помню, Жилиев сказал: "Я уже не один десяток писем написал в твою защиту, да и друзья твои пишут протесты. Сам Станиславский говорил о тебе на верхах. Да что Станиславский! Все честные люди на твоей стороне. Многие жалеют, что говорили против тебя и никогда это себе не простят". По-видимому, слова Жилиева имели немаловажное значение для Шостаковича. Да он и сам чувствовал, что у него есть защитники.

Тем временем Виктор Городинский понял, что натворил бед

на свою голову. Ему отчаянно нужна была поддержка свыше, он хотел доказать, что осуждение творчества Шостаковича было одобрено всем советским народом и лично товарищем Сталиным. Но Сталина явно смущали отклики зарубежной печати. С ними приходилось как-то считаться. Городинский же с ослиным упрямством продолжал гнуть свое. Мне рассказывал Леонид Утесов, как Городинский приставал к нему с требованием высказать одобрение по поводу выступлений газеты "Правды", обещая всяческие блага. Хотя после успеха кинофильма "Веселые ребята" Утесов и был обласкан вниманием самого Сталина, но он понимал, как это счастье переменчиво, что ему не раз уже доказывали, запрещая исполнять те или иные произведения. Однако, Утесов ответил Городинскому, что против Шостаковича не пойдет. "Он славный парень, и я высоко ценю его талант", — говорил Утесов о Шостаковиче и припомнил, что имел "счастье с ним познакомиться в 1931 году", когда Шостакович сочинил музыку к театральному обзору "Условно убитый", в котором участвовал сам Утесов и его театр-джаз. — "Хочу с ним сохранить хорошие отношения". Городинский пытался доказать, что партийная критика принесет Шостаковичу огромную пользу. "Этого я не думаю, особенно после того, как прочитал написанное в "Правде"; по-моему, это — сумбур вместо критики", — возразил Утесов. А потом добавил: "Не могу так вот взять и принять ваше предложение, надо думать о будущем, ведь мы не живем одним сегодняшним днем! Хочу посоветоваться с Иосифом Виссарионовичем, послушаю, что он скажет, а может быть, и объясню, что зря так издеваются над Шостаковичем, надо бережно ценить его талант". По-видимому, угроза посоветоваться со Сталиным пришлось Городинскому не по вкусу.

Вообще говоря, у Городинского была в руках большая власть, и он ею пользовался. Это я смог почувствовать и на самом себе. Неожиданно мне сообщили, что отменяется мое выступление по радио. Отменили мой открытый концерт в сопровождении симфонического оркестра, который был назначен в Большом зале консерватории. Никакого объяснения дано не было. Отказались издать в "Музгизе" два мои вокальных произведения и пьесу для скрипки. И это несмотря на самый положительный отзыв об этих композициях. Надо мною сгуша-

лись тучи. Я пожаловался Жилияеву, и он предложил мне оставить Москву и где-нибудь скрыться, подальше от глаз Городинского. Быть может, он преувеличивал опасность, но было такое время, что всякое можно было подумать. Под влиянием панического настроения я отправился в Одессу. Здесь меня с распростертыми объятиями встретил профессор Столярский. Он мне предложил заняться педагогической деятельностью и гарантировал полное покровительство. В то время Столярский расширял деятельность своей детской музыкальной школы, где обучались исключительно одаренные юные музыканты. И в консерватории меня приняли очень радушно. А мое концертное выступление в Одессе имело большой успех. В Одессе жил мой дядя Гриша, и он приютил меня. Вскоре я обрел почву под ногами и почувствовал себя в Одессе удивительно хорошо.

Но мне явно нехватало моих московских друзей. Особенно я скучал по Шостаковичу. Где он? Что с ним? Иностранцы корреспонденты не могли его обнаружить, он где-то скитался и прятался, переезжал из города в город. Он, вероятно, не мог избавиться от чувства страха. От общих знакомых я узнавал кое-что о нем. Писал мне и Жилияев, сообщая последние новости. А они были неутешительными. Городинский по-прежнему свирепствовал. Самое удивительное, что все так долго сходило ему с рук, пока, наконец, в 1937 г. его тихо не освободили от поста "завсекиса" в ЦК ВКП(б). Быть может, наверху сообразили, что от него пользы мало, а его деятельность дает лишь отрицательные результаты. Но в руках Городинского оставались средства массовой информации: с 1936 г. он был членом редакционной коллегии "Комсомольской правды". Правда, в 1937 г. его оттуда поперли. Дали ему в руки ведомственную газету "Музыка", чтобы в ней он мог изливать свое красноречие. Но это продолжалось тоже недолго, и в том же 1937 г. Городинского сделали редактором газеты "Советская культура". Говорят, когда Сталин узнал о полном запрещении исполнять произведения Шостаковича, он дал команду прекратить такой произвол. Более того, Сталин делал вид, что интересуется судьбой Шостаковича. А тем временем печально решилась судьба 4-й симфонии Шостаковича.

С 1933 г. в Ленинграде обосновался выдающийся австрий-

ский дирижер Фриц Штидри. Он возглавил симфонический оркестр Ленинградской филармонии и фактически сделал его одним из лучших в мире. Имя Штидри пользовалось международной известностью. Еще в 1907 г. Штидри привлек своим дарованием внимание Густава Малера. Малер избрал его своим ассистентом в Венской опере. Биография Штидри пестрит яркими событиями. В 1933 г. он принял предложение возглавить оркестр Ленинградской филармонии и переселился в СССР. Штидри был горячим поклонником Шостаковича, не раз исполнял его произведения. 15 октября 1933 г. в Ленинграде состоялась премьера Первого фортепианного концерта Шостаковича. Солировал автор, дирижировал Штидри. Успех был исключительный.

Фриц Штидри с большим воодушевлением готовил премьеру 4-й симфонии, которая должна была состояться весной 1936 г. Но тогдашний председатель Комитета по делам искусств Платон Керженцев предложил отменить исполнение 4-й симфонии. Сам Штидри принял такое предложение очень болезненно. Он успел уже многое увидеть в СССР, но подобный произвол вызвал в нем чувство отчаяния. Это чувство росло, и в 1937 г. Фриц Штидри, которого так полюбили в СССР, был вынужден отказаться от дальнейшего пребывания на своем посту и покинул страну. Он сразу же переехал в Америку. Потом стал одним из ведущих дирижеров в "Метрополитен-опере". О возвращении в СССР он и слышать не хотел и всячески отказывался от гастролей.

Несмотря на реабилитацию Шостаковича, долгие годы его 4-я симфония оставалась неизвестной. Наступило памятное 18 декабря 1962 г. В Москве с нетерпением ожидали премьеры 13-й симфонии Шостаковича, в которой звучат крамольные стихи Евгения Евтушенко "Бабий Яр". Публикация этих стихов в "Литературной газете" взбудоражила весь мир. Красносотенцы ответили Евтушенко репрессиями. И вдруг это стихотворение Шостакович вводит в свою симфонию! Министр культуры СССР Е. Фурцева всячески противилась премьере 13-й симфонии. Дирижеры один за другим вынуждены были отказаться от исполнения этого произведения. Струсил многие известные дирижеры, в том числе и многолетний друг Шостаковича —

Евгений Мравинский. Но Кирилл Кондрашин проявил исключительное мужество и 18 декабря 1962 г. первым исполнил 13-ю симфонию Шостаковича, продемонстрировав свой твердый характер и честность. Более того, Кондрашин допустил возможность записи исполнения симфонии американской звукозаписывающей фирмой. В правительственных кругах царил переполох. Говорили, что Суслов был вне себя от гнева, Фурцева не находила себе места — ее нещадно ругали за попустительство. Ругали и Хрущева за то, что он пригласил Кондрашина и позволял ему слишком многое.

В атмосфере переполоха Кондрашин готовил новый сюрприз. Спустя двенадцать дней, 30 декабря 1961 г. руководимый им оркестр Московской филармонии впервые исполнил 4-ю симфонию Шостаковича. Так музыкальный мир познакомился с художественным сокровищем, которое тщательно замалчивалось двадцать шесть лет! Как вспоминает биограф Шостаковича Лев Данилевич в своей книге "Наш современник", изданной в Москве в 1965 г.: "Симфонию слушали с напряженным вниманием, стараясь не упустить ни одного звука. И когда стих заключительный долгий и печальный аккорд, публика восторженно приветствовала автора. Огромный успех Четвертой симфонии определился сразу же после первого исполнения, несмотря на значительную сложность, остроту содержания и музыкального языка".

А тогда, в 1937 г., несмотря на тяжкие физические и нравственные страдания, Дмитрий Шостакович принялся за сочинение своей Пятой симфонии, опус 47. Она создавалась в особенно трудное время. С ужасом узнавал Шостакович об аресте его близких друзей. В стране царствовал "большой террор". Ежов усердно выполнял волю Сталина. Особенно тяжело воспринял Шостакович аресты Тухачевского и Николая Сергеевича Жилиева. В 1937 г., случайно встретив Шостаковича в Ленинграде на улице, я был свидетелем его взрывов отчаяния. Помню, он мне сказал: "Боюсь, что не успею закончить Пятую симфонию. А так хочется в ней все рассказать, все открыть, все засвидетельствовать!". Эти слова я глубоко запомнил. И еще запомнил, что Шостакович заговорил о "Реквиеме". Возможно, что так он представлял себе Пятую симфонию. Ее ждали с нетер-

пением. Многие надеялись, что Шостакович изменится, найдет путь к прославлению в музыке Сталина и его деяний и тем завоюет высочайшее прощение. Ведь в это время расплодилось множество песен о Сталине, бесчисленные кантаты и оратории. Не отставали от музыки и литература, изобразительное искусство, кино. Но мы услышали трагическую симфонию. Ее называли "шекспировской" симфонией. Композитор создал ее на одном дыхании. Известно, что медленную часть этой симфонии он сочинил в три дня!

21 ноября 1937 г. я прибыл в Ленинград, чтобы присутствовать на премьере Пятой симфонии. Дирижировал Евгений Мравинский, принявший из рук Фрица Штидри симфонический оркестр Ленинградской филармонии. Уже когда прозвучали первые такты симфонии, стало ясно, что композитор был обуреваем чувством боли и гнева. Он говорил в этой симфонии не только от своего имени, но и от имени жертв произвола. Вместо нарочито оптимистического финала мы слышали траурные и скорбные мелодии. На глазах слушателей я увидел слезы. Все, о чем повествовал Шостакович, было близко и понятно. Вскоре симфонию исполнили в Москве. По желанию композитора исполнение было доверено бывшему ленинградцу, обосновавшемуся в Москве, дирижеру Александру Васильевичу Гауку. Цитирую слова Данилевича из его книги: "В Москве симфония исполнялась под управлением А. Гаука. Ее премьеры ждали с нетерпением. В Большом зале Консерватории собрались не только музыканты, на концерте присутствовало немало видных представителей московской интеллигенции — людей разных профессий. По окончании симфонии началась настоящая буря аплодисментов. Автор много раз выходил на вызовы, а публика его не отпускала...". Эти слова — всего лишь сухой протокольный отчет. На деле публика продемонстрировала полную солидарность с позицией композитора, его осуждением режима террора и произвола. Но рядом с людьми, взволнованными нахлынувшими чувствами и выражавшими бурный восторг, в зале можно было заметить и тупые рожи равнодушных. Они не аплодировали, а лишь с испугом поглядывали на окружающих. Кто знает, быть может, они боялись этого восторга публики, боялись победы Шостаковича. Не знаю, был ли на этом кон-

церте Виктор Городинский. Но были ему подобные.

Непонятно, кто и что побудило Алексея Толстого написать в "Известиях" об этом концерте. Он был в числе людей осмотрительных и осторожных. Тем не менее в "Известиях" от 28 декабря 1937 г. Алексей Толстой написал: "Слава нашей эпохе, что она обеими пригорошнями швыряет в мир такое величие звуков и мыслей. Слава нашему народу, рождающему таких художников". Хороша же эпоха, принесящая народу столько страданий! В своем интервью газете "Вечерняя Москва" (от 25 января 1938 г.) Шостакович сказал: "Именно *человека* со всеми его переживаниями я видел в центре замысла этого произведения". И если произведение звучит в трагедийном тоне, то можно понять, что это были за переживания. Этого скрыть невозможно.

А как сложилась судьба Ивана Дзержинского? Ему предложили возможность почтить на лаврах. В 1936 г. его возвели в ранг члена правления Ленинградского отделения Союза Композиторов. Испытывал ли он угрызения совести? Публично он об этом не заявлял. Но, выступая в Ленинграде на творческой дискуссии композиторов, Дзержинский признался: "Никто так много не помогал мне в работе над моей первой оперой, как Шостакович". Эти слова были перепечатаны в журнале "Советская музыка" (№ 5, 1936 г., стр. 33). Однако, Дзержинский ничего не сказал о композиторском мастерстве и таланте Шостаковича. Да и мог ли он это сказать? Это бы означало для него саморазоблачение. Отсутствие таланта и мастерства Дзержинский подтвердил своими последующими произведениями. Они заслуженно забыты.

Но вот злодеяния Виктора Городинского забыты незаслуженно. Он сошел со сцены и спрятался в кусты. А меня разбирало любопытство узнать, кто же подлинный автор статьи "Сумбур вместо музыки"? Еще живя в Москве, я пытался заговаривать на эту тему. Словно детектив, я сверял показания разных людей. Одни уверяли, что статью продиктовал сам Сталин, другие называли в качестве автора журналиста Давида Заславского. Эту версию и поныне распространяет московский музыковед И. Нестьев. Действительно, в то время Заславский работал на ответственном посту в "Правде". Заславский не чуждался статей и на музыкальные темы. Так, в 1928 г. он опубликовал в

журнале "Музыка и революция" статью "Музыкальные соблазны Льва Толстого". А спустя несколько месяцев после публикации статьи "Сумбур вместо музыки" в "Правде" напечатали статью Заславского "Опера Моцарта в концертном исполнении". Одна знакомая дама устроила мне свидание с Давидом Заславским, который приходился ей родственником, у нее в квартире в Москве в 1962 г. Я не постеснялся спросить у Заславского о статье "Сумбур вместо музыки". В ответ услышал: "Мне принесли из ЦК готовую статью, которая была согласована и одобрена. Мне лишь оставалось подготовить ее к печати и кое-что сгладить в шероховатостях русского языка и ругательных выражениях". Может быть, Заславский пытался снять с себя ответственность за эту статью? Но тогда как объяснить появление статьи Городинского за двадцать один день до того, где он превозносил "Тихий Дон"? И чем объяснить повышенную заинтересованность Городинского? Я вовсе не пытаюсь обелить Заславского. Он вовсе не "скромный солдат партии". Он — самый настоящий архимерзвец, что еще раз доказал своей статьей в "Литературной газете" от 26 октября 1958 г. "О литературном сорняке". "Сорняком" Заславский назвал Бориса Леонидовича Пастернака. Эту его статью передавали по радио. Хорошо помню.

Конечно, Заславский и Городинский — одного поля ягоды. Но в криминалистике надо точно указывать имя виновного. Преступников много, но Городинский имеет непосредственное отношение к травле Шостаковича. Он ее вдохновитель и организатор. Его должность зав. сектором искусств давала возможность лично беседовать со Сталиным и вносить свои предложения. Да и в правительственную ложу к Сталину он был беспрепятственно вхож. Заславскому такой чести не оказывали. Не тот масштаб. Свою точку зрения я уже опубликовал в одной статье. Послал копию дирижеру Максиму Дмитриевичу Шостаковичу. Мне было интересно узнать его мнение о Городинском. Ведь мог же Дмитрий Шостакович о нем проговориться! Ну хотя бы в семейном кругу. Вскоре получил ответ от Максима Шостаковича: "Глубокоуважаемый Михаил Эммануилович! Рад был получить от Вас письмо и копию статьи... Что касается Вашей статьи о Городинском, то в ней, действительно, имеется

полное соответствие с реальностью, тем более, что я хорошо помню мнение моего отца об этом человеке... С наилучшими пожеланиями Максим Шостакович”.

Это письмо отправлено из Нью Йорка 13 июня 1981 г. Публикуется впервые. Строки этого письма весьма красноречивы. У меня есть и другие письма, чьи авторы вполне солидарны с моим мнением о той зловещей роли, которую сыграл Городинский. Но мною получено и два анонимных письма. Одно письмо меня заинтриговало. В нем есть такие строки: “Зачем тревожить мертвого Городинского? Он невиновен. Просто, было такое время, когда он подчинился общему настроению, и он не может нести ответ за ошибки Сталина. Не думаю, что Городинский был врагом Шостаковича. Он лишь был жертвой предвзятого мнения, как и многие другие, ныне живущие. И еще — известно, что в ряде своих статей Городинский хорошо отзывался о Шостаковиче...”.

Это письмо было отправлено из Москвы с довольно забавным адресом: Гамбург, скрипачу и профессору Михаилу Гольдштейну. Конверт подписан по-немецки. К чести немецкой почты надо отметить, что это письмо попало сразу в мои руки. Не буду строить предположений, кто его писал. Но одно меня интересует: зачем оно было написано? Действительно, Виктор Городинский умер 9 мая... А вот какого года — сказать трудно. Обращаюсь к советским справочникам. В словаре “Кто писал о музыке” (издательство “Советский композитор”, Москва, 1971) называется год смерти — 1949-й. А советская “Музыкальная энциклопедия” (то же издательство, Москва, 1974) пожертвовала ему еще десять лет и один день жизни и указывает дату смерти — 10 мая 1959 г. Действительно, Городинский опубликовал несколько положительных статей о Шостаковиче. Но когда? В 1954 г., во время хрущевской оттепели, когда во весь голос заговорили о необходимости полной реабилитации Шостаковича, Городинский выступил в журнале “Огонек” (№ 26) со статьей о Шостаковиче, озаглавив ее “Творчество”. В честь 50-летия со дня рождения Шостаковича в сентябре 1956 г. он поместил в “Советской культуре” (№ 113) свою статью “Честь художнику”. А спустя несколько месяцев откликнулся в “Литературной газете” (1957 г., № 16) на “Испанские песни” Шостакови-

ча. Но эти статьи написаны, практически, не самим Городинским, а его маской. Маскировка ему была крайне необходима. Легко говорить об ошибках Сталина. Но за них Сталин не несет ответственности единолично. Также не один лишь Сталин несет ответственность за ошибки Трофима Лысенко. Утверждать, что Городинский "невиновен" — значит, пытаться прикрыть его преступления. Городинский, действительно, умер, но живы его соратники, его единомышленники, которые и сейчас преследуют инакомыслящих композиторов-авангардистов. И этим последователям предоставлена возможность вмешиваться в творческий метод композиторов, требовать от них соблюдения установленных догматических принципов. В их руках кнут и пряник, возможность административного воздействия, материального шантажа, обличения в прессе. Злодеяния Городинского хранятся в тайне, их боятся предать огласке. Ведь, огласив их, эти люди предстанут перед миром как соучастники.

В своих воспоминаниях мне еще не раз придется встретиться с Виктором Городинским. Судьба меня с ним не раз сталкивала. Но, вспоминая мои встречи с Дмитрием Шостаковичем до 1937 г., я не мог не забежать вперед. В моем первом варианте воспоминаний, датированном 1937 г., были лишь догадки. Говорить открыто о Городинском было трудно. Да и опасно. А еще опаснее было ему перечить.

Я бесконечно благодарен судьбе за то, что она дала мне возможность узнать и полюбить Шостаковича. Полюбить всем моим музыкальным существом, всем сознанием. О Шостаковиче написано много книг. О нем много спорят. Иной раз возводят и напраслину. Да и не всем книгам можно верить. Кто приукрашивает, а кто и умышленно распространяет неправду. Многие могла бы приоткрыть публикация писем Шостаковича. Но их не публикуют. Правда, на Западе в этом отношении уже положено начало. Но на родине Шостаковича его письма все еще под спудом, надежно закрыты от посторонних взглядов. Особенно все то, что относится ко времени до 1937 г.

Когда Мстислав Ростропович затеял запись первого варианта оперы Шостаковича "Леди Макбет", он натолкнулся на невыносимые трудности. И это произошло совсем недавно. Казалось бы, если в СССР так молятся на Шостаковича и распи-

наются в преданности ему, какие могут быть препятствия к восстановлению первого варианта его оперы "Леди Макбет"? Да еще после громогласного признания, что в оценке этой оперы была совершена ошибка? В чем же причина? Сестра Мстислава Ростроповича попыталась добыть копию партитуры первого варианта оперы "Леди Макбет", так ей не разрешили даже в этом помочь. Партитура случайно застряла в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Не раз звонил мне по телефону из разных стран Мстислав Ростропович. Ведь этот первый вариант ставился в разных странах. Где же ноты? Вспокоились в венском музыкальном издательстве "Универсаль-Э디션", тоже стали разыскивать партитуру. Я не раз говорил с представителями этого издательства. Были у них соответствующие права на пользование нотами. Монопольные права. В конце концов Ростропович добыл первый вариант. Кто ищет, тот найдет. Особенно с присущей Ростроповичу энергией и одержимостью идеей. Выпущены пластинки с первоклассной записью исполнения. Особенно прекрасна Галина Вишневская. Она сумела передать подлинный замысел Шостаковича. Ей очень помогло общение с этим великим музыкантом. В свое время в Москве был выпущен кинофильм с записью оперы "Катерина Измайлова", где Вишневская пела, по желанию композитора заглавную роль. Шостакович сам подготовил этот фильм. А после эмиграции Галины Вишневской фильм припрятали куда подальше. Таков там обычай.

Ставят теперь в СССР "Катерину Измайлову" довольно часто. Но почему-то во втором варианте, который был разрешен при Хрущеве. В СССР говорят, что сам Шостакович его признавал более удачным. Но я лично слышал из уст Шостаковича, что первый вариант ему более дорог, более близок. Да и не только мне он об этом говорил.

История советской музыки весьма поучительна. Когда читаешь изданные в СССР книги по истории советской музыки, поражаешься злонамеренным фальсификациям. Правда, с течением времени кое-что уточняется и исправляется. Но пройдут годы и истина неминуемо восторжествует. Дотошные ученые, основательно покопавшись в архивных свидетельствах, откроют запрятанное. Возьмут в руки старые газетные подшивки, стара-

тельно вчитываясь в газетные статьи и очерки. Постепенно составится более объективное мнение. И по-новому определят значение слов "История советской музыки", потому что это еще, и прежде всего, — *трагическая история русской музыкальной культуры*, которая подвергалась и подвергается систематическим попыткам ее уничтожить, сделать слугой коммунистической агитации и пропаганды.

Что такое КУТВ?

В 1934 г. у меня были различные планы проведения летнего отпуска. Думал заглянуть в Одессу к своим родственникам. Приятно побывать на знаменитом одесском пляже — в Аркадии. Но шли слухи, что в Одессе стало голодно, трудно с продуктами питания. Нехватает хлеба, нет мяса, недостаток рыбы. В Одессе — недостаток рыбы? Куда же она девалась? Ее ловят в большом количестве, но она не поступает в продажу в самой Одессе. Нет молочных продуктов. Нет знаменитой брынзы. Отсутствует халва. Нет горячих бубликов. Да еще недостаток фруктов и овощей. Словом, напугали меня. Решил отказаться от поездки в Одессу.

Из Гастрольбюро, известной гастрольно-концертной организации, поступило предложение отправиться в концертную поездку по Сибири и Дальнему Востоку. Обещали много денег. Чуть было не согласился. Но случайно встретил на улице скрипача Яшу Бочарова, соученика по консерватории. Он там занимался на рабфаке. Вот пример бесцельной учебы на рабфаке. Ну какой из него может получиться скрипач? Стал играть на скрипке в зрелом возрасте, когда уже пора иметь детей и профессию. Но он был рабочий человек, социально подходящая категория. И направили его заниматься в консерваторию. Был он башковитый парень, ловко устраивался и жил в полном достатке. Бочаров обратился ко мне с вопросом, что я собираюсь делать летом? Я рассказал о некоторых вариантах своих намерений. Вдруг он сказал: "Есть возможность хорошо отдохнуть на берегу Черного моря, да еще бесплатно будут кормить и хорошие деньги заплатят. Есть желание?". Даже не подумав, я сразу же согласился. Оказывается, должен был отправиться

какой-то скрипач, но он не подходил по анкетным данным. Бочарову поручили найти другого скрипача. Найти желающих не представляло никакого труда. Но Бочаров избрал меня по чистой случайности, просто встретив первого из своих знакомых.

Уж если я дал согласие, то медлить нельзя. И сразу же повел меня Бочаров на Никитский бульвар в какое-то закрытое учреждение. Мне было уже 16 лет и в моих руках был недавно полученный паспорт. Я назвал свою фамилию. Тут же вспомнили о моем брате и припомнили газетную шумиху по поводу личной беседы моего брата с самим Сталиным. Помню, руководитель этого закрытого учреждения сказал: "Он из вполне подходящей семьи, с моей стороны возражений нет". Да еще я сообщил, что работаю в Гастрольбюро и являюсь студентом консерватории. Позвонили туда и мне там дали отличные характеристики. Предложили заполнить анкету с огромным количеством вопросов. Все во мне их устраивало, только смущались по поводу того, что я не состоял в комсомоле. Но Бочаров заверил, что меня в скором времени примут в комсомол. Назавтра я должен был явиться за ответом. Пришел в назначенное время и мне сообщили, что все в полном порядке. Это было удивительно, ибо в такое учреждение не так легко было попасть. Объяснили, что я не должен разглашать никому о своей работе в этом учреждении. Даже от собственных родителей должен скрыть. Я же толком не имел и понятия, что это за учреждение. Мне дали подписать какие-то заявления, и я, не глядя, поставил свою подпись. Бочаров поручился за мою благонадежность. Единственно, что я знал, что мне полагается высокая заработная плата, и я должен в обеденное время не менее тридцати минут играть в столовой в сопровождении второй скрипки, виолончели и фортепиано. Да еще была возможность играть все, что мне захочется. Бочаров знал о моих композиторских наклонностях и уверял, что будет возможность играть мои произведения. Договор был подписан на два месяца с правом пролонгации еще на один месяц.

Спустя пару дней я приехал на Курский вокзал. Меня ждал Бочаров. Родители меня не провожали. Я им сказал, что отправляюсь в какой-то дом отдыха, да еще буду там

концерты давать. Совместно с Бочаровым я прошел в вагон первого класса, который назывался "Международный". В моих руках скрипка и два солидных чемодана. Взят большой запас заграничных струн. На отечественных скрипичных струнах играть невозможно, они не только фальшивят, но и просто плохо звучат. К счастью, у меня оказался солидный запас струн иностранного производства. Удалось раздобыть через знакомого иностранца. Много места в моем багаже заняли ноты и чистая нотная бумага. Рассчитываю в свободное время посочинять. Двухместное купе международного вагона было к моим услугам. Проводник приносил вкусные вещи. Да и у Бочарова нашлось кое-что дефицитное. Но почему-то мне очень хотелось спать и я почти не слезал с постели. Было уютно и удобно. Миновали Курск, Белгород, Харьков. Я толком и не знал, куда мы едем. Наконец, Крым. Добрались до Феодосии. Оттуда на специальной легковой автомашине привезли в поселок Отузы, близ Коктебеля. Невольно вспомнил чьи-то стихи: "Скажи румяный кок, тебе-ль, дана путевка в Коктебель?".

Отузы довольно маленькое село. Кругом виноградники и фруктовые деревья. Чудесный запах. Нас привезли в закрытый санаторий, который тщательно охранялся часовыми. Мне предоставили хорошую комнату со всеми цивилизованными удобствами. Я быстро привел себя в должный порядок. Пригласили в столовую. Музыкантам отвели отдельный столик. Он был уставлен разнообразной едой, которой я даже не знал, хотя жили мы в Москве не так уж плохо. Кормили, как говорится, на убой. Знакомлюсь с моими коллегами-музыкантами: виолончелистом Корниловым и пианистом Сеней Бельфором. Мне сразу стало ясно, что мои коллеги — хорошие музыканты и с ними будет легко работать. Подошел к нашему столу один из руководителей санатория. Его фамилия Ицков. Хоть и кончается фамилия на "ов", а он самый настоящий еврей. Такое "недоразумение" часто встречается. Ицков заявил, что уже с завтрашнего дня надо будет взять в руки инструменты и развлекать музыкой "принимающих пищу". Откровенно говоря, мне не совсем было ясно, почему надо музыкальными произведениями помогать пищеварению. А что, если "принимающие пищу" хотят между собой о чем-то поговорить и музыка будет действовать

им на нервы? Но не мне решать эти проблемы.

Пока я присматриваюсь к отдыхающим в этом санатории. Здесь представители всех рас земного шара. Каким образом удалось их заполучить в СССР? Сидящий со мной рядом виолончелист Корнилов шутливо сказал, что мы находимся в человеческом зоопарке, где представлены различные виды человеческих существ. Преимущество за неграми. Я старательно сдерживаю свое любопытство и не задаю никаких вопросов. Ведь мною дано соответствующее обещание. Единственно, я не могу заткнуть свои уши и закрыть глаза. Вижу и слышу. Но не говорю. Правда, я начал было о репертуаре для завтрашнего выступления. Но мне заметили, что об этом не следует говорить за столом во время принятия пищи. Для этого есть другое время. Пианист проговорился, что санаторий имеет огромное значение для советского правительства. Здесь не жалеют денег на питание и на развлечения. По мнению пианиста Бельфора, даже в царское время не позволяли себе подобных затрат на иностранных гостей. И еще проговорился Бельфор, что мы находимся в распоряжении КУТВ. Как расшифровать эти буквы я не знал. Мысленно подбирал в голове разные варианты. Почему-то появлялись такие слова: *криминально-уголовные тунеядцы и воры*. Ведь жизнь здесь была, как говорится, малина. На вывеску у входа в санаторий я не обратил внимания. Да и вряд ли она могла что-либо прояснить. Впрочем, пианист сам расшифровал название. Оказывается, это Коммунистический Университет Трудящихся Востока. Ну и роскошно же живут эти трудящиеся! Иным капиталистам не снились такое блаженство и такая роскошь. И где только выловили этих трудящихся? Да и почему они называются трудящимися? Я не хотел никого спрашивать. Но был уверен, что мне разболтают разные тайны.

После обеда полагался "мертвый час". Это значило, что следует раздеться и лечь в постель. Мне спать не хотелось. Достаточно выспался в поезде. Прилег на кровать и стал читать какую-то книгу. Потом был подъем и приглашение попить чаек с вареньем и разными сладостями высшего качества. После чаепития устроили репетицию. Нот было множество. Кто-то позаботился о приобретении целой нотной библиотеки. Слышал, что купили у одного дирижера из ресторана. Рассказывали, что этот

дирижер когда-то приглашался со своим оркестром развлекать царскую семью. Остановили выбор на произведениях различных жанров. Больше всего из сферы танцевальной музыки. Никаких проблем во время репетиции не возникло. Спустя час мы уже были свободны и могли делать что угодно. А я собирался немного поиграть. Но позвали на ужин. У меня уже не было желания есть. Сперва подумали, что я болен и мне пришлось доказать, что в моем теле здоровый дух. От яичницы отказался, но фруктовый салат ел с удовольствием. После ужина пригласили в кино. Показывали заграничный фильм на английском языке. Кто-то переводил на русский. Потом были танцы. Появилось много русских девушек, и обитатели этого питомника быстро их распределили между собой. Танцам аккомпанировал пианист Бельфор, и делал он это мастерски. Его технике можно было позавидовать. К тому же он умел приспособливать известные мелодии из произведений классиков под джазовые ритмы. Здесь его никто не контролировал, и он делал все по своему усмотрению. Я не принимал никакого участия в танцах и решил пойти к себе. Спать не хотелось и я взялся за нотную бумагу. Что-то сочинил для трио. Рассчитывал попробовать с моими коллегами.

Утром встал рано. Кто-то играл на горне и приглашал к физкультурной зарядке. Но я предпочел потренировать пальцы и взял в руки скрипку. Потом пригласили на обильный завтрак. Еды сколько угодно. Но я уже не могу на нее смотреть. Нет привычки. Даже к черной икре отношусь равнодушно. А она выглядит удивительно заманчиво. Каждая икринка налицо, так и играет. После завтрака — посещение пляжа. Потом второй завтрак. С ужасом думаю, что этой едой можно было спасти жизнь многим тысячам голодающих в это время людей, обреченных на искусственный голод. А ведь умершие и были настоящими трудящимися, настоящим пролетариатом и трудовым крестьянством. Но отец народов СССР не пожелал дать им пищу. А сколько детских жизней можно было спасти! Но кто об этом думал?

Днем состоялось наше первое выступление. Мы примостились на небольшой эстраде. Пианист прикладывал к губам рупор, объявляя названия исполняемых произведений. Начали с вальса Чайковского из балета "Спящая красавица". Потом

сыграли "Приглашение к танцу" Вебера, затем я исполнил три вальса Крейсlera — "Муки любви", "Радость любви" и "Прекрасный розмарин". Слушали внимательно, много хлопали в ладоши. После окончания дневного концерта к нам подошел Ицков и выразил полное удовлетворение. Потом подошел один негр и попросил сыграть песню "Палома". Обещали ее включить в нашу следующую программу. После концерта мы сели за стол. "Млекопитающие" обитатели "питомника" уже ушли. К нашим услугам невероятный ассортимент. Откупорены бутылки с дорогими винами. Но я ничего не пью. Меню — самое разнообразное. А еще можно делать специальные заказы. Застольная беседа проходит весело. Рассказывают анекдоты. Даже анти-советские. Меня призывают нарушить свое "целомудрие" и отказаться от застенчивости. Но призывы тщетны. Я боюсь проронить лишнее слово, соблюдаю осторожность. Так и не удалось сломить мой характер.

Жизнь в этом санатории заставила меня о многом задуматься. Я не совсем понимал, почему обитателям этого питомника оказываются такие почести. Краем уха услышал, что это — будущие революционеры, которые должны разбудить страны и континенты от колониального сна. Здесь их обучали методам "национально-освободительной борьбы", организации подпольных коммунистических партий, учили, как устраивать террористические акты. Словом, готовили будущих "прогрессивных" и "государственных мужей", которые должны были расширить сферу влияния СССР. Конечно, о каком-либо бесконтрольном стихийном восстании не было и речи. Все должно было делаться под дирижерскую палочку Кремля и в соответствии с его планами. Обитатели питомника знали не только русский язык, но и нравы советских наставников. Обитателей питомника охраняло множество советских граждан, которые великолепно владели всевозможными иностранными языками и, в случае необходимости, могли вправить мозги своим подопечным.

Помня соответствующие наставления, я не решался вступать в личные контакты с обитателями питомника. Правда, они сами ко мне подходили и выражали желание услышать родные мелодии своих стран. Нот не было и мне приходилось записывать мелодии с напева, по слуху. Делал я это с большой лег-

костью. Потом обрабатывал мелодии и мы их исполняли. Но запись мелодий я делал лишь при свидетелях, никакого уединения. Я интуитивно чувствовал, что за каждым моим шагом следят и надо было соблюдать исключительную предосторожность. Сам же процесс записи народных мелодий доставлял мне огромное удовольствие. Знакомство с необычными интонациями, ритмом, характером песен, воспитывало во мне вкус к этнографии. В дальнейшем не только я сам воспользовался этими народными напевами, но и предложил их многим известным советским композиторам. К несчастью, мои записи исчезли во время войны и это я ощутил как тяжелую утрату. Не знаю, помнят ли некоторые воспитанники этого питомника юного скрипача, который охотно прислушивался к их напевам. Став государственными деятелями, вероятно, где-то в уголке своей бездушной души, они должны помнить санаторий КУТВ'а и обильное угощение не только едой, но и музыкой. А еще — исполнением их родных напевов. Но мы играли не только во время обеда. Устраивались и открытые вечерние концерты. Обычно раз в неделю. Иногда и два раза в неделю. Здесь мы исполняли классические трио Моцарта, Бетховена, Брамса, Дворжака, русских композиторов. Я играл произведения из моего сольного концертного репертуара. Исполнялись и мои композиции. Слушали исключительно хорошо, с повышенным интересом. Этим концертам придавалось большое значение. Они должны были развивать у подопечных культурный вкус. Это было признано необходимым.

Несмотря на возможность смотреть множество иностранных кинофильмов, которые простые смертные увидеть не могли, у меня не развилась любовь к кино. Не вошел я и во вкус роскошной жизни. Часто задумывался о демагогических принципах "равноправия". Зачем нужна была в нашей стране революция, если не удалось ликвидировать неравенство людей? "Ты себя ведешь слишком осторожно, это становится подозрительным", — заявил мне однажды виолончелист Корнилов. Мне почему-то пришло в голову резко ему ответить: "Я не поддаюсь ни на какие провокации". Он покачал головой и сказал: "Так ты проживешь сто лет и ни одна муха тебя не укусит". Мне лишь оставалось ему заметить, что я думаю не только о себе, но и о

моих близких людях. Больше к этой теме мы не возвращались. Каждый из моих коллег жил по своему усмотрению. День мне казался здесь скучным и примитивным. Хотя я успел многое сделать. Прежде всего, хорошо сам позанимался. Много сочинял. Но у меня было желание куда-нибудь исчезнуть хоть на один день. Такой случай представился. С одним из "воспитателей" этого санатория я отправился в Коктебель. Он увлекался планеризмом и хотел посмотреть на состязания планеристов.

Случайно я встретил в Коктебеле моего друга по консерватории дирижера Евгения Заблочкого. Если не ошибаюсь, он устроился дирижером какого-то духового оркестра и смог приятно провести свой летний отпуск. Женя пытался у меня выведать место моего обитания и даже навязывался в гости. Но мне пришлось соврать и заявить, что нахожусь в Крыму случайно и должен на этих днях уезжать в Москву. Каково же было удивление Жени, когда недели через две он пожаловал со своим духовым оркестром в санаторий КУТВ'а и неожиданно увидел меня. Мне пришлось извиниться перед ним и намекнуть, что я здесь живу в особых условиях и связан необходимостью сохранять тайну.

Прошло два месяца. Контракт кончился. Его автоматически продлили. А мне уже надо быть в консерватории на занятиях. Но меня заверили, что опоздание на занятия будет соответствующим образом мотивировано. Моей семье тоже дадут знать. А в консерваторию позвонят из соответствующего учреждения. В середине сентября я уже был в Москве. В консерватории не было никаких недоразумений. Но мой педагог, профессор Ямпольский, ругал меня за легкомыслие. Ведь я должен готовиться к участию во Всесоюзном конкурсе скрипачей. Но когда я проиграл выученную программу, Ямпольский успокоился и выразил надежду, что я буду готов к конкурсу раньше срока.

Из КУТВ'а не раз звонили мне домой по телефону и приглашали выступить в концертах. А еще кто-то оттуда хотел научиться играть на скрипке и верил, что я немедленно откликнусь на эту просьбу. Но я под разными предлогами отказывался явиться в КУТВ, ссылаясь на свою занятость. Я даже набрался смелости и заявил Ишкову, что должен теперь готовиться к кон-

курсу скрипачей и у меня каждая минута на счету. Пригрозил, что буду разговаривать с кем-то из видных людей, которые могут поддержать нашу семью. Это подействовало и Ицков оставил меня в покое. Но мною заинтересовались в КУНЗ'е. А это что за "зверь"? Это — Коммунистический Университет Народов Запада. Заставили выступить у них в концерте. Должен был играть исключительно немецкую музыку. Среди слушателей было много блондинов. Кто эти слушатели — вполне понятно. Да еще в период прихода Гитлера к власти. Слушатели истосковались по классической музыке и захотели ее услышать в своем помещении, в своем питомнике.

Во всяком случае, я был рад, что вышел на волю из этих учреждений без "запятнанной репутации". Да еще умел держать язык за зубами. Сенью Бельфора я потерял из виду. Виолончелист Корнилов заболел какой-то инфекционной болезнью и попал в больницу. Там его быстро вылечили. Но там он вдруг простудился и поймал воспаление легких. Вылечить не смогли, и он отправился на тот свет. Бочаров обнаружил у себя высокий голос — альтино. Незадолго до войны попал в Одессу и его приняли солистом филармонии. Во время оккупации Одессы он оставался в городе. Неплохо устроился при румынах. А после войны я его уже не встречал. Его следы затерялись.

Михаил Гольдштейн

ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕРУБИНЕ ДЕ ГАБРИАК

(ПУБЛИКАЦИЯ А. Н. ТЮРИНА)

Я начну с того, с чего начинаю обычно — с того, кто был Габриак. Габриак был морской чорт, найденный в Коктебеле на берегу против мыса Мальчин. Он был выточен волнами из корня виноградной лозы и имел одну руку, одну ногу и собачью морду с добродушным выражением лица.

Он жил у меня в комнате на полке с французскими поэтами вместе со своей сестрой, девушкой без головы, но с распущенными волосами, также выточенной из виноградного корня, до тех пор, пока не был подарен мною Лиле. Тогда он переселился в Петербург на другую книжную полку.

Имя ему было дано в Коктебеле. Мы долго рылись в чертовских святцах ("Демонология" Бодена) и наконец остановились на имени "Габриак". Это был бес, защищающий от злых духов. Такая роль шла и добродушному выражению лица нашего чорта.

Лиле в то время было девятнадцать лет. Это была маленькая девушка с внимательными глазами и выгнутым лбом. Она была хрома от рождения и с детства привыкла считать себя уродом. В детстве у всех ее игрушек отламывалась одна нога, так как ее брат и сестра говорили: "Раз ты сама хромая, у тебя должны быть хромые игрушки".

"Брат мой был очень странный и необыкновенный. Он рассказывал мне страшные истории из Эдгара По, и за это заставлял меня выпрыгивать из слухового окна. Это было очень высоко и страшно, но я все-таки прыгала. Сестра тоже рассказывала, но всякий раз, когда рассказывала, разбивала мне куклу, чтобы ничего не делалось даром.

Мы иногда приносили в жертву игрушки, бросая их в огонь. Однажды принесли в жертву щенка, но он завизжал, прибежали старшие и его освободили. Однажды мы бросили в воду мамин braslet, и потом сами с плачем рассказывали о случившемся.

Сестра умела свистеть, но няня ей не позволяла, и говорила, что когда девочки свистят, то Богородица с престола прыгает. Брату это нравилось. Он свистел и спрашивал: "Что, уже прыгнула?". Учил меня, т. к. я была еще мала и свистеть не умела, и говорил: "Пусть попрыгает!"

Однажды, недели на две, брат стал "христианином". Они со школьным товарищем решили бить жидов и вырезать у них на лице крест. Поймали мальчика еврея и вырезали у него на щеке крест, но убить не успели. Когда брату было десять лет, он убежал в Америку. Украл у отца денег и написал ему письмо: "Я беру эти деньги с тем, чтобы вернуть их через два года. Если ты честный человек, то никому не скажешь". Он доехал до Новгорода, учился сапожному ремеслу и заходил в полицию спрашивать: нельзя ли там купить фальшивый паспорт. Но когда его вернули в Петербург, то домашние его оставили в покое, ни о чем не расспрашивали и не упрекали.

Когда мне было пять лет, брат задумал творить чудеса, но, чувствуя себя слишком грешным, обратился ко мне и потребовал, чтобы я поклялась, что не совершила ни одного преступления. Я поклялась. Тогда он взял воды и велел мне превратить ее в вино. Я приказала. "Попробуй!". Я попробовала — "Совсем вино!". Но так как я до тех пор вина никогда не пробовала, то он призвал сестру. Она сказала, что вино должно быть красным. Тогда брат очень рассердился, вылил воду мне на голову и остался в уверенности, что я утаила какое-то свое преступление.

Когда мне было десять лет, брат взял с меня расписку, что шестнадцати лет я выйду замуж, и что у меня будет 24 человека детей, которых я буду отдавать ему, а он будет их мучить и убивать. Тоня, сестра, сказала: "А если никто не возьмет ее замуж?" — "Тогда я найду человека, который совершил преступление, и под угрозой выдать его, заставлю на ней жениться".

Однажды он сказал мне очень таинственно: "Я узнал необыкновенную вещь, которой не знает еще никто. Взрослые об этом и не подозревают. Дьявол победил Бога и запер его в

чулан. Теперь нам надо подумать о том, не стоит ли перейти на сторону дьявола, так как всех тех, кто с Богом, будут мучить и убивать". Я была потрясена этим известием, и несколько дней ходила сама не своя, а брат — точно забыл обо всем этом. Наконец, я спросила его: "А как же с Богом?" — "Ах, с Богом... Ему удалось спастись. Он удрал через форточку". На меня это произвело такое сильное впечатление, что я с тех пор перестала молиться Богу.

Лет до пяти меня одевали как мальчика в брюки и курточки. Брат посылал меня на дорогу и заставлял просить милостыню, говоря: "Подайте дворянину!". Деньги потом отбирал, бросал в воду и говорил, что стыдно тратить милостыню на себя.

Брат страдал нервными припадками. Я помню, когда мы остались с ним одни, без старших, в квартире, он, чувствуя приближение припадка, ложился на диван и заставлял меня смотреть на него. Это, по его мнению, укрепляло нервы. Я должна была давать ему капли, но, наливая, испугалась и вылила ему все в глаза, так что потом капель не было. Он сам нюхал эфир и давал мне. Мне тогда становилось страшно и приятно, и я ложилась гденибудь на пол. Когда, недели через две, взрослые вернулись, брат все ходил по квартире, и резал какие-то невидимые нити. Его отправили на несколько месяцев в больницу. Я тоже вскоре заболела дифтеритом, после которого год была слепая. Тогда я утратила воспоминания о предыдущей жизни, которые у меня в раннем детстве были отчетливы и яркие.

Когда брату было 15 лет, я, войдя в его комнату, застала его плачущим. Я была потрясена, так как раньше с ним этого никогда не было. Я спросила, что с ним, он ответил: "Я чувствую, что глупею". С тех пор он очень изменился".

Это — подробности детства Лили Дмитриевой, ставшей впоследствии автором Черубины де Габриа.

*

Летом 1909 года Лиля жила в Коктебеле. Она в то время была студенткой университета, ученицей Александра Веселовского и изучала старофранцузскую и староиспанскую литературу. Кроме того, она была преподавательницей в пригото-

тельном классе одной из петербургских гимназий. Ее ученицы однажды отличились. Какое-то начальство вошло в класс и спросило: "Скажите, девочки, кого из русских царей вы больше всего любите?" Класс хором ответил: "Конечно, Гришку Отрепьева!". К счастью, это никак не отразилось на преподавательнице.

Лиля писала в это лето милые, простые стихи, и тогда-то я ей и подарил чорта Габриаха, которого мы в просторечьи звали "Гаврюшкой".

В 1909 г. создавалась редакция "Аполлона", первый номер которого вышел в октябре-ноябре. Мы много думали летом о создании журнала, мне хотелось помещать там французских поэтов, стихи писались с расчетом на него и стихи Лили казались подходящими. В то время в Петербурге не было молодого литературного журнала. Московские "Весы" и "Золотое Руно" уже начинали угасать. В журналах того времени редактор обыкновенно был и издателем. Это не был капиталист, а лицо, умевшее соответствующим образом обработать какого-нибудь капиталиста. Редактору "Аполлона" С. К. Маковскому удалось использовать Ушковых.

Маковский, Пара Мако как мы его называли, был чрезвычайно и аристократичен и элегантен. Я помню, он советовался со мною — не вынести ли такого правила, чтобы сотрудники являлись в редакцию "Аполлона" не иначе, как в смокингах. В редакции, конечно, должны были быть дамы, и Пара Мако прочил балерин из петербургского кордебалета.

Лиля — скромная, не элегантная и хромяя, удовлетворить его, конечно, не могла, и стихи ее были в редакции отвергнуты.

Тогда мы решили избрести псевдоним и послать стихи с письмом. Письмо было написано достаточно утонченным слогом на французском языке, а для псевдонима мы взяли наулачу чорта Габриаха. Но для аристократичности Чорт обозначил свое имя первой буквой, в фамилии изменил на французский лад окончание и прибавил частицу "де": Ч. де Габриак. Впоследствии Ч. было раскрыто. Мы долго ломали голову, ища женское имя, начинающееся на Ч, пока, наконец, Лиля не вспомнила об одной Брет-Гартовской героине. Она жила на корабле, была возлюбленной многих матросов и носила имя Черубины. Чтобы окончательно очаровать Пара Мако, для тайной светской

женщины необходим был герб. И гербу было посвящено стихотворение.

НАШ ГЕРБ

Червленный щит в моем гербе
 И знака нет на светлом поле.
 Но вверен он моей судьбе,
 Последней — в роде дерзких волей.
 Есть необманный путь к тому,
 Кто спит в стенах Иерусалима,
 Кто верен роду моему,
 Кем я звана, кем я любима.
 И, путь безумья всех надежд
 Неотвратимый путь гордыни,
 В нем пламя огненных одежд
 И скорбь отвергнутой пустыни...
 Но что дано мне в щит вписать?
 Датуры тьмы иль розы храма?
 Тубала медную печать,
 Или акации Хирама?

Письмо было написано на бумаге с траурным обрезом и запечатано черным сургучем. На печати был девиз: "Vae victis!".

Все это случайно нашлось у подружки Лили — Л. Брюловой.

Маковский в это время был болен ангиной. Он принимал сотрудников у себя дома, лежа в элегантной спальне; рядом с кроватью стоял на столике телефон.

Когда я на другой день пришел к нему, у него сидел красный и смущенный А. Н. Толстой, который выслушивал чтение стихов, известных ему по Коктебелю. И не знал, как ему на них реагировать. Я только успел шепнуть ему: "Молчи. Уходи". Он не замедлил скрыться.

Маковский был в восхищении. "Вот видите, Максимилиан Александрович, я всегда Вам говорил, что вы слишком мало обращаете внимания на светских женщин. Посмотрите, какие одна из них прислала мне стихи! Такие сотрудники для "Аполлона" необходимы".

Черубине был написан ответ на французском языке, чрезвычайно лестный для начинающего поэта с просьбой порыться в старых тетрадах и прислать всё, что она до сих пор писала. В тот же вечер мы с Лилей принялись за работу и на другой день Маковский получил целую тетрадь стихов.

В стихах Черубины я играл роль режиссера и цензора, подсказывал темы, выражения, давал задания, но писала только Лиля.

Мы сделали Черубину страстной католичкой, т. к. эта тема еще не была использована в тогдашнем Петербурге.

СВ. ИГНАТИЙ

Твои глаза — святой Грааль,
В себя принявший скорби мира,
И облекла твою печаль
Марии белая порфира.

Ты, обагрявший кровью меч,
Склонил смиренно перья шлема
Перед сияньем тонких свеч
В дверях пещеры Вифлеема.

И ты — хранишь ее один,
Безумный вождь священных ратей,
Заступник грез, святой Игнатий,
Пречистой Девы палладин!

Ты для меня средь дольних дымов,
Любимый, младший брат Христа,
Цветок небесных серафимов
И Богоматери мечта.

*

Я венки тебе часто плету
Из пахучей и ласковой мяты,
Из травинок, что ветром примяты,
И из каперсов в белом цвету.

Но сама я закрыла дороги
 На которых бы встретила ты...
 И в руках моих, полных тревоги,
 Умирают и чахнут цветы.
 Кто-то отнял любимые лики
 И безумьем сдал мне виски.
 Но никто не отнимет тоски
 О могиле моей Вероники.

Затем решили внести в стихи побольше Испании.

*

Ищу защиты в предверьи храма
 Пред Богоматерью всех сокровищ
 Пусть орифламма
 Твоя укроет от злых чудовищ.
 Я прибежала из улиц шумных
 Где бьют во мраке слепые крылья
 Где ждут безумных
 Соблазны мира и вся Севилья.
 Но я слагаю Тебе к подножью
 Кинжал и веер, цветы, камни
 Во славу Божью...
 O, Mater Dei, momento mei!

Кроме того, необходима была преступно-католическая любовь к Христу.

ТВОИ РУКИ

Твои руки со мной неотступно
 Срежь ночной тишины моих грез,
 Как отраднo, как сладко-преступно
 Обвивать их гирляндами роз.
 Я целую божественных линий
 На ладонях священный узор...

(Запевает далеких Эриний
В глубине угрожающий хор).

Как люблю эти тонкие кисти
И ногтей удлиненных эмаль,
О, загар этих рук золотистой
Чем Ливанских полудней печаль.
Эти руки, как гибкие гроздья,
Все сияют в камнях дорогих.
Но оставили острые гвозди
Чуть заметные знаки на них.

Так начались стихи Черубины.

На другой день Лиля позвонила Маковскому. Он был болен, скучал, ему не хотелось класть трубку и он, вместо того, чтобы кончать разговор, сказал: "Знаете, я умею определять судьбу и характер человека по его почерку. Хотите, я расскажу Вам всё, что узнал по Вашему?". И он рассказал, что отец Черубины — француз из Южной Франции, мать — русская, что она воспитывалась в монастыре в Толедо, и т. д. Лиле оставалось только изумляться, откуда он все это мог узнать, и таким образом мы получили ряд ценных сведений из биографии Черубины, которых впоследствии и придерживались.

Если в стихах я давал только идеи и принимал как можно меньше участия в выполнении, то переписка Черубины с Маковским лежала исключительно на мне. Рара Мако избрал меня своим наперсником. По вечерам он показывал мне мною же утром написанные письма и восхищался: "Какая изумительная девушка! Я всегда умел играть женским сердцем, но теперь у меня каждый день выбита шпага из рук".

Он прибегал к моей помощи и говорил: "Вы — мой Сирано", не подозревая до какой степени он близок к истине, так как я был Сирано для обеих сторон. Рара Мако например, говорил: "Графиня Черубина Георгиевна (он сам возвел ее в графское достоинство) прислала мне сонет. Я должен написать *Soneto di riposta* и мы вместе с ним работали над сонетом.

Маковский был очарован Черубиной. "Если бы у меня было 40 тысяч годового дохода, я решил бы за ней ухаживать". А Лиля в это время жила на одиннадцать с полтиной в месяц,

которые получала как преподавательница подготовительного класса.

Мы с Лилей мечтали о католическом семинаристе, который молча бы появлялся, подавал бы письмо на бумаге с траурным обрезом и исчезал. Но выполнить это было невозможно.

Переписка становилась всё более и более оживленной и это было всё более и более сложно. Наконец, мы с Лилей решили перейти на язык цветов. Со стихами вместо письма стали посылаться цветы. Мы выбирали самое скромное и самое дешевое из того, что можно было достать в цветочных магазинах, веточку какой-нибудь травы, которую употребляли при составлении букетов, но которая, присланная отдельно, приобретала таинственное и глубокое значение. Мы были свободны в выборе, т. к. никто в редакции не знал языка цветов, включая Маковского, который уверял, что знает его прекрасно. В затруднительных случаях звали меня, и я, конечно, давал разъяснения. Маковский в ответ писал французские стихи.

Он требовал у Черубины свидания. Лиля выходила из положения очень просто. Она говорила по телефону: "Тогда-то я буду кататься на островах. Конечно, сердце Вам подскажет, и вы узнаете меня". Маковский ехал на острова, узнавал ее, и потом с торжеством рассказывал ей, что он ее видел, что она была так-то олета, в таком-то автомобиле... Лиля смеялась и отвечала, что она никогда не ездит в автомобиле, а только на лошадях.

Или же она обещала ему быть в одной из лож бенеуара на премьерe балета. Он выбирал самую красивую из дам в ложах бенеуара и был уверен, что это Черубина, а Лиля на другой день говорила: "Я уверена, что Вам понравилась такая-то". И начинала критиковать избранную красавицу. Все это Маковский воспринимал, как "выбивания шпаги из рук".

Черубина по воскресеньям посещала костел. Она исповывалась у отца Бенедикта. Вот стихотворения, посвященные ему и исповеди:

Его египетские губы
Замкнули древние мечты,
И повелительны и грубы
Лица жестокого черты.

И цвета синих виноградин
Огонь его потухших глаз.
Он в глубине глазничных впадин
Истлел померк, но не погас.
В нем правый гнев грохочет глухо,
И жечь сердца ему дано.
На нем клеймо Святого Духа —
Тонзуры белое пятно.
Мне сладко силой силу меря,
Заставить жить его уста,
И в древнем, в темном лике зверя
Провидеть гневный лик Христа.

ИСПОВЕДЬ

В быстро сдернутых перчатках
Сохранился оттиск рук,
Черный креп в негибких складках
Очертил на плитах круг.
Я смотрю игру мерцаний
По чекану темных бронз,
И не слышу увещаний,
Что мне шепчет старый ксендз.
Поправляя гребень в косах,
Я слежу мои мечты, —
Все грехи в его вопросах
Так наивны и просты.
Ад теряет обаянье,
Жизнь становится тиха,
Но так сладостно сознание
Первородного греха...

Вот образцы стихов Черубины:

КРАСНЫЙ ПЛАЩ

Кто-то мне сказал: твой милый
Будет в огненном плаще...
Камень, сжатый в чьей праше
Загремел с безумной силой?

Чья кремнистая стрела
 У ключа в песок зарыта?
 Чье летучее копыто
 Отчеканила скала?...
 Чье блестящее забрало
 Промелькнуло там, средь чаш?
 В небе вьется красный плащ...
 Я лица не увидала.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

О, сколько раз в часы бессонниц,
 Вставало ярче и живей
 Сиянье радужных оконниц
 Моих немислимых церквей.
 Горя безгрешными свечами,
 Пылая славой золотой,
 Там под узорными парчами
 Стоял дубовый аналой.
 И от свечей и от заката
 Алела киноварь страниц,
 И травной вязью было сжато
 Сплетенье слов и райских птиц.
 И, помню, книгу я открыла,
 И увидала в письменах
 Безумный возглас Гавриила:
 "Благословенна Ты в женах!"

Наряду с этим были и такие:

Лишь раз один, как папоротник, я
 Цвету огнем весенней, пьяной ночью...
 Приди за мной к лесному средоточью,
 В заклятый круг, приди, сорви меня!

Люби меня! Я всем тебе близка.
 О, уступи моей любовной порче,
 Я, как миндаль, смертельна и горька,
 Нежней, чем смерть, обманчивей и зорче.

Были портретные стихи:

С моею царственной мечтой
Одна брожу по всей вселенной,
С моим презреньем к жизни тленной,
С моею, горькой красотой.

Царицей призрачного трона
Меня поставила судьба...
Венчает гордый выгиб лба
Червонных кос моих корона.

Но спят в угаснувших веках
Все те, кто были бы любимы,
Как я, печалию томимы,
Как я, одни в своих мечтах.

И я умру в степях чужбины,
Не разомкнув заклятый круг.
К чему так нежны кисти рук,
Так тонко имя Черубины?

Легенда о Черубине распространялась по Петербургу с молниеносной быстротой. Все поэты были в нее влюблены. Самым удобным было то, что все вести о Черубине шли только от влюбленного в нее Рапа Мако. Были, правда, подозрения в мистификации, но подозревали самого Маковского.

Нам удалось сделать необыкновенную вещь — создать человеку такую женщину, которая была воплощением его идеала, и которая в то же время не могла его разочаровать впоследствии, так как эта женщина была призрак.

Как только Маковский выздоровел, он послал Черубине на вымышленный адрес (это был адрес сестры Л. Брюловой, подруги Лили) огромный букет белых роз и орхидей. Мы с Лилей решили это пресечь, т. к. такие траты серьезно угрожали гонорарам сотрудников "Аполлона", на которые мы очень рассчитывали. Поэтому, на другой день Маковскому были посланы стихи "Цветы" и письмо.

ЦВЕТЫ

Цветы живут в людских сердцах:
Читаю тайно в их страницах
О недочитанных страницах
О нерасцветших лепестках.

Я знаю души, как лаванда,
 Я знаю девушек-мимоз,
 Я знаю, как из чайных роз
 В душе сплетается гирлянда.
 В ветвях лаврового куста
 Я вижу прорезь черных крылий,
 Я знаю чаши чистых лилий,
 И их греховные уста.
 Люблю в наивных медуницах
 Немую скорбь умерших фей,
 И лик бесстыдных орхидей
 Я ненавижу в светских лицах.
 Акаций белые слова
 Даны ушедшим и забыты,
 А у меня по старым плитам
 В душе растет разрыв-трава.

Когда я в это утро пришел к Рапа Мако, я застал его в несколько встревоженном состоянии. Даже безукоризненная правильность его пробора была нарушена. Он в волнении вытирал платком темя, как делают в трагических местах французские актеры, и говорил: "Я послал, не посоветовавшись с вами, цветов графине Черубине Георгиевне, и теперь наказан. Посмотрите, какое она прислала мне письмо!"

Письмо гласило, приблизительно, следующее: "Дорогой Сергей Константинович! (переписка приняла уже довольно интимный характер). Когда я получила Ваш букет, я могла его поставить только в прихожей, так как была чрезвычайно удивлена, что Вы решаетесь задавать мне такие вопросы. Очевидно, Вы совсем не умеете обращаться с нечетными числами, и не знаете языка цветов". — "Но право-же, я совсем не помню, сколько там было цветов и не понимаю, в чем моя вина!" — восклицал Маковский. Письмо на это и было рассчитано.

Перед Пасхой, Черубина решила поехать на две недели в Париж, заказать себе шляпку, как она сказала Маковскому, но из намеков было ясно, что она должна увидеться там со своими духовными руководителями, так как собирается итти в монастырь. Она как-то сказала, что, может быть, выйдет замуж за одного еврея. Из этих слов Рапа Мако заключил, что она

будет Христовой невестой.

Уезжая, Черубина взяла слово с Маковского, что он на вокзал не поедет. Тот сдержал слово, но стал умолять своих друзей пойти вместо него, чтобы увидеть Черубину, хотя бы чужими глазами. Просил Толстого, но тот с ужасом отказался, так как чувствовал какой-то подвох и боялся в него впутаться. Наконец, Маковский уговорил поехать Трубникова. Трубников на вокзале был, Черубины ему видеть не удалось, но она, очевидно, его видела, так как записала в путевой дневник, который обещала Маковскому вести, что она ожидала увидеть на вокзале переодетого Пара Мако с накладной бородой, но вместо него увидела присланного друга, которого узнала по изящному костюму. Следовало подробное описание Трубникова. Маковский был в восхищении. "Какая наблюдательность! Ведь тут весь Трубников, а она видела его всего раз на вокзале".

В Париже Черубина остановилась в специально-католическом квартале, в отеле возле Saint-Sulpice. Она прислала несколько описаний квартала, описала несколько встреч. Эта часть — ее дневники — выпадают, так как погибли при обыске. Остались только стихи.

В отсутствие Черубины Маковский так страдал, что И. Ф. Анненский говорил ему: "Сергей Константинович, да нельзя же так мучиться. Ну, поезжайте за ней. Истратьте сто, ну, двести рублей, оставьте редакцию на меня... Отыщите ее в Париже".

Однако, Сергей Константинович не поехал, что лишило историю Черубины небезынтересной страницы.

Для его излияний была оставлена родственница Черубины, княгиня Дарья Владимировна (Лида Брюлова). Она разговаривала с Маковским по телефону и приготавливала его к мысли о пострижении Черубины в монастырь.

Черубина вернулась. В тот же вечер к ней пришел ее исповедник, отец Бенедикт. Всю ночь она молилась. На следующее утро ее нашли без сознания, в бреду, лежащей в коридоре на каменном полу возле своей комнаты. Она заболела воспалением легких.

Кризис болезни Черубины намеренно совпал с заседаниями Поэтической Академии в обществе Ревнителей Русского Стиха,

так как там могла присутствовать Лиля и могла сама увидеть, какое впечатление произведет на Маковского известие о смертельной опасности. Ему ежедневно по телефону звонил старый дворецкий Черубины и сообщал о ее здоровье. Кризис ожидался как раз в тот день, когда должно было происходить одно из самых парадных заседаний. Среди торжественной тишины, во время доклада Вячеслава Иванова, Маковского позвали к телефону. И. Ф. Анненский пожал ему под столом руку и шепнул несколько ободряющих слов. Через несколько минут Маковский вернулся с опрокинутым и радостным лицом: "Она будет жить".

Все это происходило в двух шагах от Лили.

Как-то Лиля спросила меня: "Что, моя мать умерла или нет? Я совсем забыла, и недавно, говоря с Маковским по телефону, сказала — "Моя покойная мать" и боялась ошибиться"... А Маковский мне рассказывал: "Какая изумительная девушка! Я прекрасно знаю, что мать ее жива и живет в Петербурге, но она отвергла мать и считает ее умершей с тех пор, как та изменила когда-то мужу и недавно так и сказала мне по телефону "моя покойная мать".

Постепенно у нас накопилась целая масса мифических личностей, которые доставляли нам много хлопот. Так, например, мы придумали на свое горе кузена Черубины, к которому Раа Мако страшно ревновал. Он был португалец, атташе при посольстве и носил такое странное имя, что надо было быть так влюбленным, как Маковский, чтобы не обратить внимания на его невозможность. Его звали дон Гарпия ди Мантилья. За этим доном Гарпией была однажды организована целая охота, и ему удалось ускользнуть только благодаря тому, что его не существовало. В редакции была выставка женских портретов и Черубина получила пригласительный билет. Однако, сама она не пошла, а послала кузена. Маковский придумал очень хороший план, чтобы уловить дону Гарпию. В прихожей были положены листы, где все посетители должны были расписываться, а мы, сотрудники, сидели в прихожей и следили, когда "он" расписется. Однако, каким-то образом дону Гарпия удалось пройти незамеченным, он посетил выставку и обо всем рассказал Черубине.

В высших сферах редакции была учреждена слежка за Черубиной. Маковский и Врангель стали действовать подкупом. Они произвели опрос всех дач на Каменноостровском. В конце концов, Маковский мне сказал: "Знаете, мы нашли Черубину. Она — внучка графини Нирод. Сейчас графиня уехала за границу, и поэтому она может позволять себе такие эскапады. Тот старый дворецкий, который, помните, звонил мне по телефону во время болезни Черубины Георгиевны, был здесь у меня в кабинете. Мы с бароном дали ему 25 рублей и он все рассказал. У старухи две внучки. Одна с ней за границей, а вторая — Черубина. Только он ее назвал каким-то другим именем, но сказал, что ее называют еще и по-иному, но он забыл как. А когда мы спросили, не Черубиной ли, он вспомнил, что, действительно, Черубиной".

Лиля, которая всегда боялась призраков, была в ужасе. Ей все казалось, что она должна встретить живую Черубину, которая спросит у нее ответа. Вот два стихотворения, которые тогда, конечно, не были поняты Маковским.

Лиля о Черубине:

В слепые ночи новолунья
Глухой тревогою полна,
Завороженная колдунья
Стою у темного окна.
 Стеклом удвоенные свечи
 И предо мною, и за мной,
 И облик комнаты иной
 Грозит возможностями встречи.
В темнозеленых зеркалах
Обледенелых ветхих окон
Не мой, а чей-то бледный локон
Чуть отражен, и смутный страх
 Мне сердце злою нитью вяжет.
 Что, если дальняя гроза
 В стекле мне близкий лик покажет
 И отразит ее глаза?
Что, если я сейчас увижу
Углы опущенного рта,
И предо мною встанет та,
Кого так сладко ненавижу?

Но окон темная вода
В своей безгласности застыла
И с той, что душу истомила,
Не повстречаюсь никогда.

Черубина о Лиле:

ДВОЙНИК

Есть на дне геральдических снов
Переливы сверкающей ткани,
В глубине анфилад и дворцов
На последней таинственной грани
Повторяется сон между снов...

В нем все смутно, но с жизнью схоже
Вижу девушки бледной лицо,
Как мое, но иное и то же.
И мое на мизинце кольцо.
Это — я, и всё так непохоже...

Никогда среди грязных дворов,
Среди улиц глухого квартала
Переулков и пыльных садов —
Никогда я еще не бывала
В низких комнатах старых домов.

Но она от томительных будней,
От слепых паутин вечеров —
Хочет только заснуть непробудней,
Чтоб уйти от неверных оков,
Горьких грез и томительных будней.

Я так знаю черты ее рук,
И, во время моих новолуний,
Обнимающий сердце испуг,
И походку крылатых вещуний,
И речей ее вкрадчивый звук.

И мое на устах ее имя,
Обо мне ее скорбь и мечты,

И с печальной каймою листы,
Что она называет своими,
Затаили мои же мечты.

И мой дух ее мукой волнуем...
Если б встретить ее наяву
И сказать ей: "мы обе тоскуем,
Как и ты, я вне жизни живу"
И обжечь ей глаза поцелуем.

С этого момента история Черубины начинает приближаться к концу. Прямое развитие темы дает крутой и неожиданный поворот. Мы с Лилей стали замечать, что кто-то другой, кроме нас, вмешивается в историю Черубины. Маковский начал получать от ее имени какие-то письма, писанные не нами. И мы решили оборвать.

Вячеслав Иванов, вероятно, подозревал, что я — автор Черубины, так как говорил мне: "Я очень ценю стихи Черубины. Они талантливы. Но если это — мистификация, то это гениально". Он рассчитывал на то, что "ворона каркнет". Однако, я не каркнул. А. Н. Толстой давно говорил мне: "Брось, Макс, это добром не кончится".

Черубина написала Маковскому последнее стихотворение, которое не сохранилось. В нем были строки

Милый друг, Вы приподняли
Только край моей вуали.

Когда Черубина разоблачила себя, Маковский поехал к ней с визитом и стал уверять, что он уже давно обо всем знал: "Я хотел дать Вам возможность дописать до конца Вашу красивую поэму"... Он подозревал о моем сообщничестве с Лилей и однажды спросил меня об этом, но я, честно глядя ему в глаза, отрекся от всего. Мое отречение было встречено с молчаливой благодарностью.

Неожиданной во всей этой истории явилась моя дуэль с Гумилевым. Он знал Лилю давно, и давно уже предлагал ей помочь напечатать ее стихи, однако, о Черубине он не подозревал истины. За год до этого, в 1909 г. летом, будучи в Коктебеле вместе с Лилей, он делал ей предложение.

В то время, когда Лиля разоблачила себя, в редакционных кругах стала расти сплетня.

Лилия, обычно, бывала в редакции одна, так как жених ее Воля Васильев бывать с ней не мог. Он отбывал воинскую повинность. Никого из мужчин в редакции она не знала. Одному немецкому поэту, Гансу Гюнтеру, который забавлялся оккультизмом, удалось завладеть доверием Лили. Она была в то время в очень нервном, возбужденном состоянии. Очевидно, Гюнтер добился от нее каких-нибудь признаний. Он стал рассказывать, что Гумилев говорит о том, как у них с Лилей в Коктебеле был большой роман. Все это в очень грубых выражениях. Гюнтер даже устроил Лиле "очную ставку" с Гумилевым, которому она принуждена была сказать, что он лжет. Гюнтер же был с Гумилевым на "ты" и, очевидно, на его стороне. Я почувствовал себя ответственным за все это, и, с разрешения Воли, после совета с Леманом, одним из наших общих с Лилей друзей, через два дня стрелялся с Гумилевым.

Мы встретились с ним в мастерской Головина в Мариинском театре во время представления "Фауста". Головин в это время писал портреты поэтов, сотрудников "Аполлона". В этот вечер я позировал. В мастерской было много народу, в том числе — Гумилев. Я решил дать ему пощечину по всем правилам дуэльного искусства, так, как Гумилев, большой специалист, сам учил меня в предыдущем году: сильно, кратко и неожиданно.

В огромной мастерской на полу были разостланы декорации к "Орфею". Все были уже в сборе. Гумилев стоял с Блоком на другом конце залы. Шаляпин внизу запел "Заклинание цветов". Я решил дать ему кончить. Когда он кончил, я подошел к Гумилеву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощечину. В первый момент я сам ужасно опешил, а когда опомнился, услышал голос И. Ф. Анненского, который говорил: "Достоевский прав. Звук пощечины — действительно мокрый". Гумилев отшатнулся от меня и сказал: "Ты мне за это ответишь" (Мы с ним не были на "ты"). Мне хотелось сказать: "Николай Степанович, это не брудершафт". Но я тут же сообразил, что это не вязалось с правилами дуэльного искусства, и у меня внезапно вырвался вопрос: "Вы поняли?" (То есть: поняли

— за что?) Он ответил: “Понял”.

На другой день рано утром мы стрелялись за Новой Деревней возле Черной Речки если не той самой парой пистолетов, которой стрелялся Пушкин, то во всяком случае современной ему. Была мокрая, грязная весна и моему секунданту Шервашидзе, который отмеривал нам 15 шагов по кочкам, пришлось очень плохо. Гумилев промахнулся, у меня пистолет дал осечку. Он предложил мне стрелять еще раз. Я выстрелил, боясь, по неумению своему стрелять, попасть в него. Не попал, и на этом наша дуэль окончилась. Секунданты предложили нам подать друг другу руки, но мы отказались.

После этого я встретился с Гумилевым только один раз, случайно, в Крыму, за несколько месяцев до его смерти. Нас представили друг другу, не зная, что мы знакомы; мы подали друг другу руки, но разговаривали недолго: Гумилев торопился уходить.

Максимилиан Волошин

Елизавета Ивановна Дмитриева (в замужестве Васильева) родилась в Санкт-Петербурге 31 марта / 12 апреля 1887 г. в семье преподавателя. В 13 лет, еще учась в гимназии, стала писать стихи. После окончания гимназии с медалью в 1904 г. поступила в Женский Педагогический Институт, который успешно окончила и с 1908 г. продолжила свое образование в Петербургском Университете. С 1908 г. начала печатать стихи, была тепло встречена критикой (И. Анненский, Вяч. Иванов, М. Цветаева, А. Ахматова, А. Толстой, В. Брюсов).

О ее жизни и творчестве до и после Октябрьского переворота известно не слишком много. Была учительницей в гимназии, библиотекарем. В 1920-1922 гг. совместно с С. Маршаком создала Детский Театр в Краснодаре, для которого они (каждый в отдельности и совместно) написали ряд пьес, собранных впоследствии в книгу, выдержавшую к середине 20-х годов четыре издания. С 1922 г. работала над созданием Детского Театра в Петрограде. В 1926 г. выпустила повесть для юношества “Человек и Луна” (о Миклухо-Маклае). Напечатала несколько переводов со староиспанского и старофранцузского языков, перевод “Истории Севарамбов” Д. Верраса. Стихи, печатавшиеся в периодических изданиях и сборниках и подписанные псевдонимами (Черубина де Габриак, Ли Е., Ли-Сян-цзы, Дмитриева В. П., Аркасовы Д. и Е. и др.) никогда не были ею собраны в отдельную книгу. Около 1910 гг. вышла замуж за врача В. Н. Васильева, чья сестра была впоследствии за чекистом Менжинским, а тетка — за

С. М. Лукьяновым, философом, медиком, другом Вл. Соловьева и недолгое время обер-прокурором Синода.

В середине 20-х годов арестовывалась в связи с бушевавшими в то время религиозными преследованиями (если не ошибаемся, в Муроме) и после недолгого заключения выслана в Ташкент. Единственный сборник стихов, оставленный ею в рукописи, носит название "Дом под грушевым деревом" (Ташкент, 1927 г.). Елизавета Ивановна умерла от туберкулеза в Ташкенте 5 декабря 1928 г.

Дата знакомства Лили (так называли Елизавету Ивановну Дмитриеву-Васильеву ее друзья) точно неизвестна, но несомненно то, что к 1909 г. она уже была дружна с Волошиным, устроившим описанную Волошиным мистификацию С. Маковского. Воспоминания Волошина имеются в архиве Е. И. Дмитриевой-Васильевой в ИРЛ. Можно полагать, что они написаны не раньше 1921 г. или 1922 г. (год последней встречи Волошина с Лилей в Краснодаре), или же в 1929 и 1931-1932 годах, когда Волошин интенсивно работал над своими воспоминаниями.

А. Т.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 ием.	12 мес.
Франция	45	85	150
Заграница	54	95	170
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн.			
Америка, Южн. и			
Центр. Африка	76	140	250

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ПАМЯТИ ДРУГА

Борис Анатольевич Нарциссов не дожил ровно три месяца до семидесяти семи лет — он скончался 27 ноября 1982 года после долгих месяцев упорного и мучительного сопротивления тяжелой болезни. Пришла она неожиданно, когда, глядя на крупного, крепкого и молодежавшего человека, необычайно трудолюбивого, любознательного и не по возрасту деятельного, всем казалось, что ему суждены еще долгие годы жизни. Однако, когда Б. А. Нарциссов был еще в расцвете физических и творческих сил, его сборник "Память", вышедший в 1965 г., открывался стихотворением "Ткань", в котором автор признавался, что

Все ощутимей рвутся нити
И выпускает их рука.

В сборнике поэта "Шахматы" (1974 г.) ряд завершающих книгу стихотворений посвящен уходу из этого мира, раздумьям и ощущениям, связанным с "последним" и "предпоследним" днем. Особенно это ярко звучит в стихотворении "Птица":

...Тень от нее на все ложится.
Ей весел жалкий ужас мой.
Так смерть бесшумной хищной птицей
Повсюду следует за мной.

Но когда смерть действительно пришла, поэт принял ее мужественно и просветленно. Уже больным, пока мог, писал свое и оценивал написанное другими, приводил в порядок свое литературное хозяйство, подготавливал к печати последнюю, седьмую книгу, которую теперь издаст уже его вдова, Л. А. Нарциссова.

Зная, что мне заказана статья о нем для "Modern Encyclopedia of Russian and Soviet Literature", издаваемой университетом штата Айова и включающей сведения о писателях и поэтах Русского Зарубежья, Борис Анатольевич вручил мне конверт с тридцатью тремя печатными отзывами о его книгах и автобиографическим очерком. Пользуясь этим первоисточником, я имею возможность подробнее рассказать о жизни поэта и очень своеобразного человека, в жилах которого текла кровь матери эстонки и русского отца.

Борис Нарциссов появился на свет в семье земского врача в 1906 г. в деревне под Саратовом, но детство провел в Ямбурге, а в 1919 г. попал с семьей в Эстонию. В 1921 г. он поступил в шестой класс русской гимназии в Тарту (бывшем Юрьеве), а закончив ее, был принят в 1924 г. на химическое отделение физико-математического факультета Тартусского университета. Он стал членом кружка начинающих поэтов "Юрьевский цех поэтов", которым руководил Б. В. Правдин, а также заинтересовался оккультными науками и психологией подсознательного.

В 1930 г. Б. А. Нарциссов окончил университет и приступил к магистерской работе, которая была прервана призывом в армию. Отбыв воинскую повинность, произведенный в офицеры, он получил место в Газозащитной лаборатории эстонского Министерства обороны, а в 1937 г., уже со степенью магистра химии, он стал начальником этой же лаборатории.

В 1936 г. Борис Анатольевич женился на Лидии Александровне Горшковой. В 1934-38 гг. был, вместе с Юрием Иваском, участником "Таллинского цеха поэтов".

В 1940 г. Нарциссов был назначен преподавателем военнo-химического дела в Таллинском военном училище. В 1941 г., после начала войны между Германией и Советским Союзом, это училище было переведено в Тюмень, а оттуда Б. А. был направлен на фронт, в так называемый Эстонский корпус. После боев вокруг Великих Лук, он заболел плевритом, а из госпиталя решил бежать через фронт в Эстонию. Пять дней бродил по лесам, пока не наткнулся на немецкий обоз, был после допроса направлен в распоряжение немецкого командования и послан в Таллин, а позже работал по специальности. Отступая, немцы забирали с собой специалистов, и Нарциссов очутился в Тюбин-

гене, где его застал конец войны. Затем он с семьей попал в лагерь "перемещенных лиц" под Мюнхеном (где и состоялась наша первая встреча), а в январе 1951 г. Б. А. эмигрировал в Австралию, где работал химиком. В марте 1953 г. перебрался в США, где с 1954 года стал работать в научно-исследовательском институте Бателла в Коламбусе, Охайо.

В 1959 г. вся группа специалистов этого института, работавших в области технической литературы на русском языке, была переведена в Вашингтон для подобной же работы при Библиотеке Конгресса, где этот проект продолжался до 1972 года. Мы с мужем работали в Библиотеке Конгресса и, часто встречаясь с Борисом Анатольевичем, очень сблизились с ним и его женой.

После ликвидации проекта, Б. А. Нарциссов вышел на пенсию и посвятил себя литературной работе. Этим занятиям способствовала спокойная и приятная атмосфера, царившая в семье. Лидия Александровна, неизменно окружавшая мужа заботой, умела создать уютное семейное гнездо даже в бараках лагеря для "перемещенных лиц", а уж тем паче в собственном доме в пригороде Вашингтона. Радовало Бориса Анатольевича и то, что его единственный сын Георгий, полковник инженерных войск США, теперь жил с семьей поблизости.

Стихи Борис Нарциссов начал писать еще в гимназии, познакомившись с творчеством поэтов Серебряного века. Своими учителями он считал Бунина, Бальмонта, Гумилева и Блока, так как они показали ему, что "стихи выражают красоту — либо мира, либо — слова". С молодых лет он интересовался таинственным. Увлечшись учением йогов и Фрейда, он стал, по его же словам, "романтиком подсознательного", вглядываясь в свое "я". Отсюда очень упорная тема зеркал и двойников — смертного, "дневного", и переживающего смерть "хозяина" и "лунного" двойника.

С 1958 по 1974 гг. Борис Нарциссов выпустил пять сборников стихов. Пятый из них, "Шахматы" — чуть ли не единственный в русской поэзии, носящий имя королевской игры, как это отметил Э. Штейн, но, кроме двух стихотворений, в нем речь идет отнюдь не о шахматах. Основная идея этого сборника —

мысль упорядочивает хаос, создавая тем самым красоту. Вышедшая в 1978 г. "Звездная птица" объединяет все пять сборников и включает 15 новых стихотворений. Именно в этой книге с особой наглядностью видно, что поэт был весь в движении; в каждом своем сборнике он новый, своеобразный.

Несомненно, можно говорить о высоком поэтическом мастерстве Б. Нарциссова. Широта его интересов — он был отличным собеседником самых различных людей, — сказывалась и на его поэтическом словаре. Фразы у него чеканные, рифмы богатые и изобретательные. Чувствуется глубокая культура и эрудиция автора, отнюдь им не выпячиваемые, даже, скорее, приглушенные. О том, с чем он не познакомился основательно, Борис Анатольевич не писал.

Прямой наследник Серебряного века русской литературы, Нарциссов принадлежит к "поэтам мысли", которые обычно пользуются меньшей популярностью по сравнению с "поэтами чувства". Именно непосредственности чувства, взрыва эмоций он избегает в своих стихах, в его произведениях виден труд вдумчивого и требовательного художника, ищущего точные образы.

Тематика стихотворений Бориса Нарциссова также разнообразна, ему свойственно многократно обыгрывать излюбленные им темы в разных контекстах, иногда посвящая им целые циклы. В первую очередь, это — зеркала, двойники, луна, звезды, часто и апокалиптические видения планеты; охотно изображает он элементы мироздания — огонь, воду, воздух, землю (как это уже отметила проф. Темира Пахмусс в своей статье — Н.Ж., № 148). На фоне величественных и часто угрожающих картин, особенно ярко выступают подчеркиваемые поэтом отъединенность, потерянности человека. Очевь удались ему и хорошо продуманные циклы, посвященные Лермонтову, а особенно — Эдгару По, с которым Нарциссов, видимо, чувствовал душевное сродство.

Проф. Виктор Террас в свое время отметил, что в "блестящем цикле "Edgariana" Нарциссов не ограничился намеками, откликами и параллелями, но проявил подлинное проникновение в мир Эдгара По — не в последнюю очередь под впечатлением мест, связанных с жизнью поэта в Нью Йорке и Балти-

море.

Кроме "Революции" и "Молоха" у Нарциссова нет произведений с политической тематикой. Он скуп и на любовную лирику. Стихотворение "Любовь" посвящено не человеческим чувствам, а воздействию луны на водную гладь, вызывающему морские приливы. Зато сдержанное признание в любви запрягано в стихотворении "Луна", где он пишет, что не стыдно молить

О том, чтоб цепкий свет луны
Завил и сплел две нити вместе
В каких-то глубях бытия,
И к нам пришел с чуть слышной вестью,
Что эти нити — ты и я.

Несмотря на присущий поэзии Нарциссова "умеренный модернизм", поэт, считая, что таким образом помогает читателю сосредоточить внимание, придерживался классической формы стиха, с рифмами и ритмом, умело разнообразя размер своих произведений. Лишь несколько стихотворений Нарциссова ("Голова", "Единорог", "Разговор"), весьма удавшиеся автору, написаны звучным белым стихом.

В интересных "Заметках о поэзии Бориса Нарциссова", предваряющих сборник "Звездная птица", Борис Филиппов отметил, что славянизмы и церковно-славянизмы, областные слова и народные образы часто соседствуют в стихах Нарциссова с научной терминологией, даже с математическими формулами. Отмечу, что "Стихи о гиперболе", которые поэт определил, как "стихи любовные", приведя в виде эпиграфа уравнение гиперболы, полны мягкого юмора:

...Лебединой шеей, женственной линией,
Порывом свежим вешнего ветра,
Вы скользите в пространства бездонно-синие,
Рожденная в мысли Великого Геометра.

...Я крепостной координатной сетки,
Жалкий полип на скале числа,
Молю, чтоб на эту самую клетку
Судьба уравнений вас привела.

В трагическом по смыслу "X = 0" поэт утверждает, по контрасту с "очеловечиванием" гиперболы, что

Мы для кого-то только числа
На разлинованной доске.

У Нарциссова довольно часты и авторские неологизмы, особенно при описании излюбленной этим поэтом "нежити" (Размахай, и др.). Борис Филиппов считает, что именно это пристрастие к описанию "нежити", якобы прочно обосновавшейся в темных уголках нашего ежедневного быта, а также склонность к описанию сновидений, порой кошмарных, уводят Нарциссова в сторону от признанного им своим главным учителем Бунина, родня его с Ремизовым, которого, впрочем, поэт знал мало и к которому сознательно не тянулся.

Нарциссов постоянно старался заглянуть за завесу, отделяющую наш мир от потустороннего, и передать в стихах свои ощущения. В своем повышенном интересе к миру надреального поэт перекликается с современными западными авторами, с их "потусторонними темами". Однако Нарциссов привлекает внимание своей самобытностью. Он не боится заглянуть себе в душу, изучить все ее закоулки, с необычайной суровостью осуждая в себе то, что он считал отрицательным. Как я уже отметила, тема смерти, обреченности часто звучит в стихах этого "сумрачного" поэта, но, вместе с тем, звучит и другая тема — победы над смертью, — то ли в образе памяти, то ли голосов "оттуда", то ли в возвращении на землю еще в одном, новом, перевоплощении. Иногда увлечение Нарциссова "путешествием в страну подсознания", изображением в своих стихах странных снов и кошмаров, ведет к непониманию и неприятию многими читателями (мног, в том числе) таких стихотворений, как цикл "Комнаты" (Носороги, Усышкин, Ужас), "Змеи", "Какаду", "Крокодил" и др.

Вместе с тем поэт по-бунински зорко всматривался в окружающий мир и скупыми точными мазками создавал картины природы, так удававшиеся ему на протяжении всей его литературной деятельности. Он стремился передать все, что видел, образами преимущественно зрительными, в первую очередь, — красками. Этот метод ярко проявляется в следующем

стихотворении:

Тепло и сухо. День осенний
Похож на раннюю весну.
Ползут от голых сучьев тени
И клонит ласково ко сну.

Но листья золотисто-медны
На блеклой выбитой траве,
И пусто, холодно и бледно
В стеклянно-плотной синеве.

И розов на эмали синей
Узор редяющих ветвей
И разгораются живей
Кораллы-бусы на рябине.

Так же точны и наглядны описания виденного в далеких странах, в частности, австралийской природы, как, например, в стихотворении "Эвкалипты". Однако, в сердце поэта всегда жила память о бледной красоте Прибалтики, навеявшей прекрасный цикл "Estonica".

Порой Нарциссов не следует полностью бунинскому методу изображения природы: не ограничиваясь тщательным описанием того, что открывается его глазам, он как бы одушевляет, очеловечивает разные явления и предметы:

Но вот с шипеньем, брызгая слюною,
Длинноволосый водяной старик
Вздывается из водоема вмиг
И оседает пенною копною.
(“Гейзер”)

В одном из двух стихотворений, напечатанных в "Русском Альманахе" (Париж, 1981), Борис Нарциссов наделяет человеческими качествами овощи в своем огороде, бабочек и даже солнце, а в другом ("Дачные паровозы") пишет:

А вот в полдень к скрещенью являлся курьерский,
Громычал и визжал на тугих тормозах,
А потом он скорбел, что "заках, чах-чах-чах!"
...И от долгого бега горячий, распаренный,
У перрона страдал от жары паровоз...

Для Нарциссова все, что не в природе, насыщено и пронизано миром иным, чаще всего недобрым и угрожающим. Даже печь порой оказывается уже не символом уюта и домашнего онага, где, как в "Детстве", "Хохотал огонь веселый, потрясая рыжей бородой", а источником удушья, страшной смерти, что поэт очень впечатляюще представил в "Угаре":

...Нырлял и качался летучей мышью,
По комнатам низко паря.

...За ночь никого в живых не оставил,
Ползал и нежился в печном тепле,
И только будильник, как лунный дьявол,
Круглым лицом сиял на столе.

Интерес к слову, умение отобрать нужный в определенном контексте словесный материал, помогли Б. А. Нарциссову проявить себя и в качестве хорошего переводчика, в частности, — произведений известного эстонского поэта Алексиса Раннита, вызвав положительный отклик столь тонкого литературоведа, каким был покойный В. В. Вейдле.

Борис Анатольевич любил читать друзьям свои стихи, добродушно отбивался от их критических замечаний ("Я не виноват, мне так приснилось!"), а иногда нарочно изводил слушателей произведениями своего "побочного творчества" — пантарифмами, где, для достижения многократной внутренней рифмы, он намеренно подбирал самые невероятные сочетания слов.

Сборники Бориса Нарциссова остались на книжных полках, к ним можно обратиться в любое время, — поэт остается живым и голос его не умолкает, — а человек ушел от нас, и с грустью и теплом вспоминаются неповторимые часы, проведенные в его обществе...

Татьяна Фесенко

МАСТЕР И ОНИ

О стихах Бориса Нарциссова

О нем писали. Одобряли. Хвалили. То "технику стиха" похвалят, то эстонские ландшафты, то австралийские. (Бог мой, когда же поймут, что, говоря о большом поэте, просто неудобно хвалить его "мелодичный словарь" — ...и такое писали!... и "технику стиха"! Это азбучно: ну какой же мастер без техники? Всякий мастер техникой овладел, и о ней уже не думает, не беспокоится, она сама всегда тут, к его услугам).

И как-то даже странно: кто бы ни писал — всё мимо, всё не о том, не в ту точку бьет, не в ту дверь ломится... Вроде как сам Нарциссов говорит в стихотворении "Отрицательный мир":*

... мой адрес: "Не нам, не сюда".

Пожалуй, лишь Б. Филиппов лет пять назад в статье "Заметки о поэзии Бориса Нарциссова" сказал верные слова о поэте. А другие писавшие — так ничего и не увидели, будто и не догадывался никто, что не в мелодичности и не в ландшафтах тут дело. Дело в том, что недавно ушедший от нас мастер своим творчеством приоткрывал дверь в мир, соседствующий с нами, скрытый от нас, но подмигивающий и мелькающий то и дело —

По чуланам и темным углам,

да какое по углам! Вот выглядывает из-за дверцы шкапа, из-за спинки кровати, вот оконницей стукнуло, вот вздохнуло и опять притихло. Это "они" — "маленькие"; это целый мир как бы средних существ — ни светлых, ни вовсе демонски-черных, — а сереньких, как сумерки. *Нежить* — назвало их народное слово. Huldre Folk — скрытый народец — называют их скандинавские сказания. А англичане и шотландцы, чтобы задобрить их (с ними лучше жить в ладу), называют их Good Folk; но уж какой там "good" — доброты у них едва ли доищешься. Они чуют чело-вечью беду, и она их веселит. Нарциссов это знает:

*Все цитаты в этой статье взяты из сборника Бориса Нарциссова "ЗВЕЗДНАЯ ПТИЦА", Вашингтон, 1978. — О. А.

Знаешь, если кому-нибудь больно,
То у пыльных под крышею пляс...

говорит он, вещими глазами поэта разглядывая пыльников,
угластых зелёнышей, кикимор. Видя то, чего мы не видим:

За зеркалом, шкафом, за ложкой во шах
Сквозит потаённая полость.

Всю жизнь, всей зоркой силой своего таланта он следит за ними,
а они — за ним.

... И льются из комнаты в комнату,
Но любят там, где не спят:
Собираются целые сонмы там,
В одеяниях серых до пят.

Кто они такие? Откуда?

Тот, кто их видит, или хоть чувствует, подслушивает — тому этот вопрос не дает покоя. Душа народа дает объяснение: от Ремизова, который ничего попусту не выдумывает, а гением своим черпает из потаенных народных кладов, мы узнаём, как "Коротала нечисть весеннюю ночь... [Ночевавшие в лесу Алалей и Лейла сперва оробели]. — Не бойся, Лейла, — сказал Алалей, — это они... К ним надо привыкнуть... это совсем не люди. Только не бойся, Лейла!".

А нечисть "друг с дружкой разговор вела". Один долгоносый рассказал: "Нас у Адама было детей много. Раз на Пасху приказал Бог Адаму вывести всех нас, детей, Себе на показ. Адам постеснялся: совестно тащить такую ораву! Поташил Адам только старших, а мы дома остались. Мы и есть эти самые скрытые домашние дети Адама" (Ремизов, "К Морю-Океану").

Сходное есть и в норвежском фольклоре. В норвежских народных сказаниях, собранных Р. Кристиансенем, читаем: "Господь раз пришел к Адаму в гости и хотел поглядеть на детей. А Ева не успела всех детей вымыть, постеснялась, и немых припрятала. Господь, конечно, узнал правду и сказал: Кого ты скрыла, — те так всегда и будут скрыты!"

Вот и пошел оттуда "скрытый народец" — *huldre Folk*.

И остались они — ни туда, ни сюда. Не люди, не бесы. Льнут к нам, цепляются, пугают, и вероятно, питаются той

темнотой, какую носим мы в себе, и жиреют на харчах той грязцы, которой мы замараны и опутаны.

Третьесортная нечисть — грязненькая...

говорит о ней Нарциссов. Да, жалкая, мелкая она, но и страшная. Дан мастеру дар: видеть, чего другие не видят. А легко ли это?

Вот смотри на такое в окошко:

Вам-то что, а мне с ними тут жить...

А не смотреть — не может. Тянет смотреть. Манит это, притягивает. И пугает, и мучит. В бесконечном разнообразии, в прихотливом калейдоскопе огромного поэтического мастерства — шевелится, копошится этот срединный, поддонный мир. Вон головастый губан, вон на чердаке ходит свещеглазник, вон упырь в подземке нью-йоркской, вон кикимора: "кувыркнётся и вскачь!" А вот и хуже того — что-то совсем безликое:

...Двигалось белой грядюю,
Дыбилось космами козьими
Что-то, что было бедюю.

И множатся и растут скопища тварей-нетварей, — плесени, пузырей болотных. Одолеть их Мастеру трудно, и нет у него на них "владычного слова". Должно быть, легче бороться с сильным, грозным духом. А это — сырость, поганки, пауки.

А ведь нежить — она-то живучая!

говорит Нарциссов, не подсмеиваясь над ней, как бывало в молодости, но с дрожью испуга:

Облегла, притаилась и ждет...

Это он, правда, про траву, но траву тоже недобрую, ведовскую, навью...

И гнезвился в ней жабень и всяческий гад...

Конечно, именно *эта* область творчества Нарциссова делает его талантливым, неповторимым поэтом. Б. Филиппов в уже

упоминавшейся нами статье справедливо пишет: "Борис Нарциссов — поэт, ни на кого в Русском Зарубежье не похожий". Еще бы! поэт со своим собственным миром, с сонмищами одновременно ирреальных — и жутко-реальных насельников этого мира. Уж никак его ни с кем не спутаешь. Ну, а вывод? Вывод в самом буквальном смысле — как *вывести* поэту — самого себя, свою душу — из трясины нежити?

Теперь, когда только что ушел от нас Борис Нарциссов — мастер, собрат и друг — невольно наша мысль тянется в *то*-светную сторону, хочет сломать перегородки, заглянуть — как же там? Преодолеет ли мастер "воздушные мытарства", о которых говорит нам церковное предание?

У художника Николая Орлова есть картина: души умерших поднимаются вверх. У каждой в руках — светильник. (Думаю, это их вера). Медленно и трудно — это видно по фигурам их, по сжатым рукам — совершается восхождение. А вокруг них, половою тумана — плывут недобрые лица — хари — маски, сверлят точки глаз, лапы тянутся, чтобы выбить, опрокинуть светильники... Это то, что отцы церкви называют воздушными мытарствами.

Но просвет есть. В стихах мастера, в душе мастера. Не одни подполья сознания видит он. Он видит, — как апостол и поэт видел в Откровении, — знаки на своде неба.

И ночью их книгу сквозь звездный туман
На острове малом читал Иоанн...

Видит по этим знакам приближение конца нашего мира. Ближе и ближе. Страшный свет, страшная зари — но не тупик и не тьма. И от невыносимого блеска этой страшной зари бегут и расточаются все "они" — темные, сырые, ползучие.

Мир не думает о конце, он слишком занят своими убийствами и своими предательствами. Мир хохочет, визжит, злобствует. А немногие — слышат, чувствуют. Вот как говорит об этом Борис Нарциссов:

А ночью торжественным пологом
Текли по бездонному своду
Стихи пламенеющих строф.

И только поэты-астрологи
Принимали по звездному коду
Далекий сигнал катастроф.

Ольга Анстей

ЧТО ХОЧЕТ И ЧЕГО НЕ МОЖЕТ АНДРОПОВ?

Смена верховного правителя в стране социализма не может не быть, если не для всех, то для многих ее граждан чрезвычайно драматическим и судьбоносным событием. Она всегда сопровождается сменой ряда важных лиц на важных постах: новый верховный правитель должен подобрать себе достаточно надежную команду исполнителей и предотвратить появление любых возможных соперников. Единое хозяйство обобщественной собственности требует единого управления — единой власти.

Можно пояснить суть дела следующим образом. Представьте себе, что столица СССР Москва вдруг испарилась бы вместе с Андроповым, Политбюро, Госпланом и всем центральным государственным аппаратом, т. е. испарилась бы эта самая единая власть. Что тогда произойдет? Застопорится весь плановый поток распределения финансов, распределения пищи. Прекратится поток распоряжений и директив, необходимый для функционирования огромного общественного хозяйства. Весь вышколенный, послушный единой воле, аппарат везде на местах придет в полное замешательство. Все встанет. Прекратится выдача зарплат, прекратится обеспечение пищей, энергией, топливом. Все ведь в руках Москвы и это не пустая фраза, а реальная социалистическая действительность, вытекающая из факта государственной собственности на все. Воцарится хаос, голод и холод по всей стране. (Конечно, до тех пор, пока активные люди на местах не начнут действовать самостоятельно, ликвидируя понятие общественной собственности, а это произойдет совсем не сразу.) Представьте себе, что то же самое произойдет со столицей США Вашингтоном, включая Белый Дом, Кон-

гресс и государственный центральный аппарат. К чему это приведет? Ни к чему. Страна будет жить, как и раньше. Подозреваю, что найдутся люди, которые даже вздохнут с облегчением: не нужно будет платить федеральных налогов. В общем, ни голода, ни холода, ни хаоса не произойдет. Федеральная собственность и ее управление — планирование еще не настолько велики и важны, чтобы определять жизнь и смерть всему хозяйству страны, как это имеет место в СССР. В монопольном государстве социализма, таким образом, смена верховного правителя не может оставить ни одного человека в стране равнодушным. (Не только в стране, но и за ее пределами.) Каждый советский человек знает, что вся его жизнь зависит от Москвы и от верховного вождя.

Только-только появился Андропов, а уже в ключевых центрах СССР демонстративно прибавилось товаров в магазинах и даже сугубо дефицитной пищи. Откуда? Почему? Из военных запасов, из резервов "высшего командования". Новый верховный правитель создает себе рекламу. (Это приятное "изобилие", конечно, быстро кончится. Даже еще до того, как правитель отстроит свой аппарат власти. Ресурсов-то фактически нет.)

Только-только появился Андропов (еще даже до его официального появления) и загремели по всему СССР фанфары смещений довольно высоких лиц, слишком погрязших во взяточничестве и злоупотреблениях властью. Некоторые даже заблаговременно решили кончить жизнь самоубийством. Какая великолепная реклама "неподкупности" и активности нового правителя!! КГБ, а за ним "критика" или "самокритика" на страницах газет добрались и до союзных министров, раньше бывших для них неприкосновенными. (Конечно, это тоже быстро кончится, когда Андропов отстроит свой аппарат управления. Свой аппарат и у него может быть только "неподкупным" и вне критики.)

КГБ "нелицеприятно" взялось не только за некоторых министров, но уже почти ликвидировало и всех политических диссидентов.

Кто может сомневаться в серьезности намерений нового правителя "повернуть" социализм на правильный путь и именно социализм?

Уже и в эмиграции отдельные люди начинают вытаскивать из хлама свои былые надежды на "настоящий", "хороший" социализм. Подновляется кое-где и старый диссидентский лозунг: "Да здравствует советская власть, уважающая права человека!". (Как будто такая противоестественная комбинация возможна!).

Ну и ведь нельзя сказать, что такие ожидания полностью беспочвенны. Как они могут быть беспочвенны, если все "потроха" всего населения СССР зависят от высшей власти, от верховного правителя? Следовательно, *стоит им захотеть* и прекратится произвол продажных властей в стране. Развал трудовой дисциплины превратится в полный порядок и строгое соблюдение лозунга: от каждого по способностям, каждому в соответствии с качеством и количеством вложенного труда. Неуклонное падение производительности труда заменится быстрым ее ростом и процветанием всей страны. Спрашивается, почему бы Андропову и его аппарату этого не хотеть? Лично я полностью уверен, что именно этого Андропов и хочет. (Как, в свое время, хотели все советские вожди. Какой правитель, какой страны этого не хочет?).

Больше того. Всё ведь в любой стране, включая СССР, производится и создается ее населением, а не вождями или аппаратом власти. Если население СССР будет добросовестно трудиться, в несколько лет можно достигнуть небывалого процветания. Не понадобятся те 200 лет, которые трудились американцы. Сейчас ведь не нужно будет изобретать новых средств производства, дающих высокую производительность труда. Они уже существуют, известны. Многих лет образования и повышения квалификации населения тоже не понадобится. В СССР и это имеется в полном достатке. А разве население СССР не хочет процветания? Безусловно, хочет. Андропов и его аппарат тоже этого хотят. Спрашивается, в чем же дело? И правитель и аппарат власти и население хотят одного и того же — процветания страны. Всего только и нужно, что приложить к делу свои руки и мозги. Почему же это неосуществимо?

Спросите любого жителя СССР, какие надежды он возлагает на Андропова и на будущее страны теперь, когда снова подул, пусть не очень свежий, но ветер перемен? Спросите даже

бывалого эмигранта. Можно не сомневаться, что их надежды окажутся близкими к нулю. "По секрету" могу сказать, что и у Андропова эти надежды весьма и весьма невелики. А ведь если бы процветание страны осуществилось, так и власть и авторитет Андропова и его величие достигли бы до небес. Процветание СССР и Андропову и всем социалистам мира нужно до зарезу, а то, что его не будет, знает в СССР даже грудной ребенок.

Какой парадокс!! Самая сильная в мире власть над страной и, одновременно, полное бессилие достигнуть цели, желаемой и правителями и населением.

Давайте попытаемся разобраться в этом парадоксе.

Злоупотребление властью, коррупция

Ничто так не действует на воображение населения, как отдача под суд тех или других продажных вершителей наших судеб и, тем более, их наказание. Это то, что сейчас вроде бы и делает (конечно, по старому рецепту) новый правитель Андропов. Ему нужно заменить целый ряд брежневцев на андроповцев, как, в свое время, Брежневу нужно было заменить хрущевцев на брежневцев. Есть, однако, и некоторая разница. Андропов гораздо более конкретно знает возможности и средства КГБ. Поэтому, умело используя это знание и аппарат КГБ, Андропов может совместить приятное с полезным: использовать смену брежневцев на андроповцев для пропаганды андроповской борьбы с коррупцией. Тем более, что эта борьба будет населением поддержана и, чем чорт не шутит, может быть, вдохновит трудящихся на большее количество и качество труда.

А вдруг Андропов и есть тот самый идеалист, который ликвидирует коррупцию, как таковую, а не просто заменит одних ее носителей на других? Идеалист, который, наконец-то, впервые в истории и в мире создаст "демократический социализм", "социализм с человеческим лицом" или, как его еще называют? Не верите? Я тоже. А что вы бы сами, читатель, сделали если бы волею судеб оказались генсеком КПСС? Ведь вы-то — явный идеалист! Конечно, сразу-то вы и одного колхоза не распустите. Говорить нечего о такой реформе, как,

скажем, свобода торговли. Вам ведь придется сначала подчинить себе большинство отнюдь не идеалистического Политбюро, а то ведь оно и вас в момент ликвидирует. Этого мало. Нужно будет подчинить себе и аппарат КГБ и управления страной. Идеалистов-то и там раз-два и обчелся. И этого мало. Идеалы-то идеалами, но если они расходятся с жестокими законами экономики, то идеалами 270 миллионов человек не накормишь. Так что вам, идеалисту, нужно хорошо подумать, чтобы ваши идеалы не были несовместимы с экономикой и жизнью, обеспечив населению не только духовную, но и материальную жизнь. Ваша проблема идеалов сводится, в конечном итоге, к завоеванию вами личной власти над Политбюро и всем аппаратом управления страной. Это как раз и есть то самое, что тысячи лет делали всякие цезари, а в свое время такие "идеалисты", как Марат, Дантон, Робеспьер, Ленин, Сталин, Хрушев, Брежнев, а теперь Андропов. Надо прямо сказать, что этот процесс завоевания власти гораздо больше связан с грязью, интригами, убийствами, со звериной борьбой, чем с идеалами. Чем полнее и больше власть, тем больше не идеалов, а грязи и крови. Тем в большей степени эта борьба за власть превращает идеалиста в чекиста. Не удивительно, что, добравшись до уровня Андропова, любой идеалист превратится в самого оголтелого убийцу. Когда этот бывший идеалист захватит власть, она все время (днем и ночью) будет оспариваться. Все время придется ее поддерживать любыми, далеко не идеалистическими средствами. Так что Андропов идеалистом быть не может и вам, идеалисту, с ним не тягаться.

Не-идеалист Андропов, тем не менее, хочет процветания страны. Хочет потому, что оно укрепит его власть и авторитет и их будет легче поддерживать. Потому также, что будет легче "оплачивать" услуги множества "материалистов"-исполнителей в аппарате власти и управления страной. Аппарат управления в любой стране требует привилегий и притом далеко не духовных. Помните, как поэтому большевики отказались от парт-максимума (умеренного предела зарплаты любого члена партии независимо от должности)? Поэтому очень быстро появилась и "номенклатура", т. е. слой привилегированных лиц, принадлежащих к важнейшей части аппарата управления. Как

появились и градации (чины) в номенклатуре, в соответствии с которыми происходит распределение благ и привилегий. (Я полагаю, что вы, читатель, догадываетесь для чего нужны эти чины? Как появились и "закрытые распределители", закрытые медицинские учреждения, закрытые дома отдыха и санатории и правительственные дачи и поместья. Как появились и телохранители, и "внутренние войска" (смотрите недавний приказ министра обороны). Была бы страна много богаче, многое из этого набора было бы ненужно. Чем более нищей является страна, тем опаснее и противнее (аморальнее) становится служба управителей. Тем больше требуется благ и привилегий для аппарата управления, чтобы создавать и поддерживать "мораль" аппарата и управлять страной.

В первые годы после революции многие могли работать почти "за так", во имя идеалов социализма. Однако и тогда партмаксимум продержался очень недолго. К брежневскому времени все социалистические идеалы у всех исчезли и управлять страной "без оплаты" стало невозможным. К тому же, испарившаяся вера населения в идеалы и в советскую власть привела к смене роста производительности труда на ее падение и к большим затруднениям с обеспечением привилегий. В то же время, нижний слой управленческого аппарата стал поглядывать на верхний слой и завидовать. Один получал бесплатную бутылку коньяку к празднику, а другой — целый ящик бутылок. Разве не завидно? Какой-нибудь захудалый секретарь райкома, не сдержав зависти и пренебрегая чинами и правилами, стал строить за государственный счет себе огромное поместье, за забором, с охраной 24 часа в сутки: мы, мол, тоже не лыком шиты.

Официальная ("законная") часть вознаграждения за службу вообще перестала удовлетворять ожидания и даже стала оскудевать. (Трудящиеся-то не работают, как надо, не производят всего, что нужно, в достатке.) Аппарат управления стал в массовом порядке переходить на собственную организацию обеспечения благ: взятки, кумовство, воровство и т. п. злоупотребления властью. Уже Брежневу пришлось судить некоторых незадачливых, главным образом провинциальных номенклатурщиков, которые (представляете?!) незаконно претен-

довали на, скажем, импортные сапожки для жены (смотрите советские газеты).

Этот процесс разложения все распространялся и грозил развалить управление народным хозяйством окончательно. Неудивительно, что Андропову приходится мобилизовать резервы власти и пытаться соответствующими наказаниями приостановить этот процесс разложения аппарата власти. Однако на наказаниях далеко не уедешь. Нужно во что бы то ни стало поднять падающую производительность труда в стране, чтобы было чем подкупать аппарат власти, да и население успокоить. Если один конец проблемы — аппарат власти, не работающий, как полагается, другим концом являются распустившиеся трудящиеся. Коррупция-то распространяется и на министров, и на трудящихся. И те и другие начинают больше воровать у государства, чем его своими трудами обогащать. Организуется все-союзный поход против тех трудящихся, в первую очередь, которые слишком явно пренебрегают своими социалистическими обязанностями и тем понижают общую производительность труда в стране.

СССР очень нищая страна по сравнению с США, но и в США злоупотребления властью — вполне обычное явление, как и везде в мире. После знаменитого дела президента Никсона не проходит дня, чтобы в прессе или на ТВ не сообщалось о новых судебных процессах или расследованиях по поводу взяточничества и злоупотреблений властью то одного, то другого высокопоставленного лица или "избранника народа". Да и трудящиеся Запада, как нетрудно видеть, отнюдь не блещут последнее время трудовыми подвигами на благо своей страны.

Суть дела при этом совсем не в том, что избраны в аппарат власти "плохие" люди или трудящиеся Запада плохие. Нет. Суть в том, что все они — люди, а "избранники" — люди с желанием власти. Власть, как мы знаем, развращала даже самых выдающихся своими качествами людей. Искушение использовать власть для своего собственного обогащения и, особенно, для собственного возвеличения очень велико. Таким образом, везде, где есть власть, будет и коррупция. Закон таков: увеличьте в 3 раза власть и увеличьте в 3 раза штат носителей власти (любых, начиная, скажем, со сторожа общественного музея) и вы увели-

чите в 9 раз (в квадрате) коррупцию и злоупотребления властью. На Западе численность аппарата управления, численность его функций и уровень полномочий непрерывно растут, а с ними, в квадрате, растут и злоупотребления властью. Вы вероятно поразитесь, узнав, что по последним официальным данным численность государственного (федерации, штатов и местных властей) аппарата достигла 13,6 миллионов, т. е. каждый восьмой работник есть чиновник государства. В СССР и численность и полномочия и число функций государственного аппарата (министерства, советы, КПСС) предельно велики и предельно велика коррупция и злоупотребления властью. Поскольку страна бедная, то коррупция приобретает самые отвратительные черты, до которых Запад еще не "докатился" (но может докатиться).

Тысячи лет коррупцию в аппарате управления обществом старались искоренить правители — не чета Андропову — и безуспешно. Уменьшить ее можно, но только уменьшив численность аппарата, его функций и степени власти. Русские купцы этот закон хорошо знали: чем больше приказчиков, тем больше воровства. Чем больше у приказчиков власти и функций, тем больше воровства.

Кампания Андропова против коррупции, конечно, рассчитана лишь на саморекламу и упрочение его власти. Главная цель этой кампании — привести коррупцию в соответствие со структурой власти. Скажем, секретарю райкома не положено строить дачу на государственный счет, а секретарю обкома можно, но небольшую, т. е. в соответствии с чином. Ну и конечно: "воруй, да дело делай, а то совсем распустились: и дела не делают и воруют не по чину".

Бюрократия

Тысячи лет и правители и граждане боролись с бюрократией, а бюрократия не только живет, а везде процветает. Многие полагают, что бюрократия есть свойство характера некоторых людей, которых не следует выбирать на общественные должности. Это глубокое заблуждение. В действительности, бюрократия есть прямое следствие существования общественных должностей и необходимости общественного

контроля.

Растрачивая свои собственные деньги и распоряжаясь своим собственным имуществом, вам нет особой нужды вести отчетность. У вас не появится желания "спихнуть" на кого-то ваше решение, скажем, о покупке той или иной вещи для себя или о расстановке мебели в вашей комнате. Смешно будет предложить вам взятку, чтобы вы продали ваши вещи за бесценок или даром. Другое дело общественное имущество и общественные дела. Тут вам придется отчитываться во всем, а общественный контроль может быть весьма частым и придирчивым. У вас на все должна быть запись, обоснование. Вам станет хорошо известно, что доказать целесообразность ваших решений постороннему для вас контролеру невероятно трудно и часто невозможно. Появится желание не принимать решений, если их нельзя "железно" и документально обосновать. Лучше их "спихнуть" начальству. А ваше начальство предпочтет "спихнуть" дальше, на еще более высокое начальство и так — до самого верха. К страшному, конечно, неудовольствию гражданина, добивающегося от вас решения. Тогда вы рискуете стать никому ненужным. Выход состоит в том, чтобы создать просителю как можно больше препятствий в его фактически пустяковом деле и затем их героически преодолеть, показывая вашу абсолютную незаменимость, высокую квалификацию и трудовой героизм. Такое очковтирательство, т. е. представление любого пустяка в качестве великого достижения или отсутствие работы в качестве трудового подвига, совершенно необходимо, если вы хотите продвижения на общественной службе.

В сущности, если немного подумать, то становится ясно, что бюрократия, спихотехника, очковтирательство, кумовство и т. п. являются прямым порождением общественных обязанностей, необходимых для управления общественным хозяйством. Они также растут в квадрате с ростом общественного аппарата. Вы все время можете наблюдать метаморфозу, как вполне нормальный и хороший человек, попав в общественные работники, по мере накопления у него опыта общественной работы, становится законченным бюрократом и очковтирателем.

Поскольку Андропов не может существенно уменьшить государственный аппарат, он не может уменьшить и бюро-

кратию, очковтирательство, спихотехнику, кумовство, как бы он этого ни хотел. Как любой верховный правитель, он этого; конечно, хочет: бюрократия тоже понижает общественную производительность труда.

СССР — страна небывалого в истории, многоступенчатого, многостороннего общественного контроля общественных организаций и деятелей. Контроль пожирает огромную часть трудовых ресурсов. Тем не менее, его результатом является полная безответственность и хаос коррупции и бюрократии. Советский опыт хорошо показывает, что никакой человеческий контроль не может заставить миллионные массы бюрократов работать по совести и не может заменить по результату простого личного интереса в хорошем выполнении работы.

Подпольная экономика

Что такое подпольная экономика в СССР? Представьте себе, например, государственное предприятие, выпускающее, скажем, дефицитные головные платки. В интересах предприятия получить низкий план и высокие "нормы" потерь. Это, в какой-то степени, и в интересах министерства, руководящего этим предприятием: план предприятия входит в план министерства и им обоим будет легче план выполнять. Получив такой план, предприятие будет выпускать две продукции: государственную и частную (из "сэкономленных" материалов). Государственную похуже, а частную получше. Документация оформляется соответственно по типу "двойной бухгалтерии". Государственная продукция идет обычными путями, а частная, по договоренности с магазинами и ларьками, идет в продажу из-под прилавка по двойным и тройным ценам. Доходы достаточно велики, чтобы оплачивать и работников предприятия и милицию и соответствующих контролеров и партийное начальство.

"Взаимопонимание" людей между собой против государства так велико, что огромное число простых рабочих делает свой вклад в подпольную экономику, выпуская на своих рабочих местах, из фабричного материала свою частную продукцию. Вынести ее через, конечно охраняемые, фабричные проходные особого труда не представляет при договоренности с охраной.

Множество работает на частный рынок и у себя на дому.

Иногда же бывает и так, что под скромной вывеской государственного предприятия работает фактически полностью частное производство. Суть этого любопытного явления в том, что уже около двух десятков лет, все население снизу доверху осознало для себя необходимость и возможность обмана эксплуататорского государства.

Эта подпольная экономика, конечно, чрезвычайно разрушительно действует на управление народным хозяйством — планирование. Трудно составить и поддержать необходимые экономические балансы, когда трудовые, сырьевые и денежные ресурсы отвлекаются из народного хозяйства в распоряжение непланируемого частного, подпольного рынка. Денежные суммы скопляются и расходуются не там, где желательно плану, и хозяйство уходит из-под контроля.

По грубой оценке, доля подпольной экономики сейчас составляет около 15-20%. Если эта доля достигнет 30-40%, планирование, т. е. управление народным хозяйством, станет просто невозможным. Это значит, что исчезнет власть над людьми, даваемая централизованным планированием производства и распределения. Люди, получая жизненные блага не от государства, станут от него экономически и, следовательно, политически независимыми. Единовластие социализма будет разрушено. Экономика страны рассыплется на миллионы частных, местных экономик. Власть Москвы над всей страной будет потеряна.

Одна из самых важных задач Андропова — ликвидировать эту подпольную экономику. Всех пересажать? Невозможно. Слишком много и притом самых высокопоставленных, а также самых предприимчивых и квалифицированных. Это и чрезвычайно опасно для самого Андропова при всем его знании и власти над КГБ. Аппарат КГБ, так или иначе, и сам вовлечен в эту подпольную экономику. Могут и его, Андропова, ликвидировать запросто. Ведь ликвидировать подпольную экономику значит отнять у этих "преступных" миллионов кусок хлеба с маслом.

Значит и в этом деле для Андропова реклама возможна, но настоящее дело исключено. Убежден, что Андропов это

превосходно понимает. Это для идеалиста непонимание законов жизни есть главная почва для его идеалов, с которой он старается не расставаться. Андропов не идеалист.

Хорошо было Сталину! Тогда у него были миллионы послушных исполнителей, ожидавших для себя от советской власти больших перспектив. Сейчас этих миллионов нет даже в КГБ. Разве что, остатки безграмотных и примитивных "иностранцев" из "Тьмутаракани". Однако, много ли с ними сделаешь? Да немного и их осталось.

Главное же в понижении производительности труда. Количество и качество производимых в стране потребительских благ так стремительно сокращается, что уже обеспечение номенклатуры приходится тоже урезать и сокращать, а аппетиты-то значительно выросли. И опять приходится вспоминать сталинские времена, когда лишний кусок простого хлеба в руках хозяина мог делать чудеса. Кончилось и это.

Можно заметить, что все проблемы ведут к одному и тому же: нужно поднять производительность труда в стране. Тогда и коррупция и бюрократия не страшны. Тогда и подкуп будет невозможен и ликвидация подпольной экономики произойдет. Тогда и социализм будет оправдан. Тогда и до мировой победы недалеко. В свое время Ленин правильно сказал, что именно высочайшая производительность труда есть главное условие победы социализма.

Однако и он, и Карл Маркс грубо ошибались, когда утверждали, что сам социализм обеспечивает эту высокую производительность труда. Оказалось, что социализм и высокая производительность труда совершенно несовместимы.

Неустранимые причины крайне низкой производительности труда при социализме

Любопытно, что везде на Западе люди предпочитают терпеть убийства, грабежи, насилие над собой со стороны преступников, полагая, видимо, что ограничение преступника есть тоже ограничение свободы. Мне, лично, это кажется простым идиотизмом, но что может значить мое мнение? Нуль без палочки. В то же время те же люди оставляют без всякого внимания го-

раздо более существенные для их свободы явления, как рост и централизация государственной власти, неудержимый рост монополий и гигантских корпораций, концентрирующих в себе колоссальную власть над людьми и хозяйством страны. Они вполне искренне радуются, когда вводятся все новые и новые налоги и законы против частного, конкурентного предпринимательства, в "пользу трудящихся". Налоги и законы, нарушающие экономические и социальные балансы в пользу большинства общества — трудящихся, ведущие поэтому не к процветанию трудящихся, а к инфляции, безработице, к росту нищеты. Налоги и законы, наделяющие государство и экономических гигантов все более концентрированной и страшной властью над людьми и страной.

Наконец, они оставляют совсем без внимания происходящую постепенную национализацию народного хозяйства и переход его под власть все растущего государства.

Парадокс? Безусловно. Тот самый парадокс, который привел к социализму в России, а с ним и к этой самой задаче Андропова поднимать падающую производительность труда. Тот самый парадокс, который привел к другому социалистическому парадоксу: колоссальной власти государства над людьми и полной невозможности организовать добросовестный труд этих подвластных людей для их же собственной пользы!! (Кстати, этот же самый парадокс есть единственная причина хронических инфляций, безработицы и роста нищеты на Западе и повсеместного (кроме Швейцарии) перманентного экономического кризиса). Я уже говорил, что, чем сильнее и полнее государственная власть, тем неизбежно, в квадрате, больше коррупции, бюрократии, черного рынка, подпольной (неплатящей налогов) экономики. Тем, конечно, меньше свободы. Решающим завершением этого процесса лишения людей свободы и превращения их в социалистических рабов является, конечно, завершение процесса обобществления народного хозяйства страны. Оно и ведет к единому планированию единого теперь хозяйства, которое наделяет незначительную кучку правителей диктаторской властью над жизнью и смертью граждан страны. Оно и ведет к ликвидации свободного рынка — основы демократии и независимости граждан. Ибо разумное планирование единого хозяй-

ства и непредсказуемость и хаос свободного рынка несовместимы.

Однако, полное планирование даже при единовластии социализма находится за пределами возможностей человеческого разума. Поэтому суть нынешнего реального социалистического планирования состоит в планировании только "ключевых" элементов хозяйства и его балансов: зарплат, цен, численности работников, трудовых норм выработки и, конечно, распределения ресурсов в соответствии с приоритетами социализма и его текущими задачами. Среди всего хаоса миллиона планов и плановых заданий, среди систематических их невыполнений, эти ключевые элементы экономических балансов находятся прочно в руках правителей и, хочешь — не хочешь, но как-то регулируют народное хозяйство.

Каждому директору запланирована сумма всех затрат предприятия (фонд зарплаты), численность всех работников (штаты). Следовательно, запланирована средняя зарплата. Цены на все товары и услуги тоже запланированы по всей стране. Следовательно, запланирована доля товаров и услуг в стране, полагающаяся за эту среднюю зарплату среднему работнику в стране. Этим самым запланирован важнейший экономический баланс совокупности зарплат по стране и совокупности товаров и услуг, произведенных в стране и потребленных ее населением.

Даже такая ограниченная задача планирования оказывается тоже плохо разрешимой и балансы все время нарушаются. Однако, ликвидация единого планирования есть ликвидация единовластия социализма и власти правителей страны и наступление полного хаоса. Волей-неволей приходится держаться за план. Было сделано огромное число попыток повышения эффективности народного хозяйства через децентрализацию принятия решений, через введение прямых связей (не через Госплан) между поставщиками и потребителями, через предоставление той или другой самостоятельности директорам и т. п. Все они оказались безуспешными: без автоматического механизма регулирования, т. е. конкурентного свободного рынка, хозяйство приходило в еще больший хаос и в еще большую неэффективность и нарушение балансов. Пресловутая борьба между централизаторами (Брежнев) и децентрализаторами (Косыгин) есть плод не очень

грамотного воображения. Ни Брежнев, ни Косыгин потерять власть вообще, ни власть воздействия на хозяйство страны никак не хотели, а отказаться от единого и централизованного планирования именно это и означало.

В то же время, и Брежневу и Косыгину было, вероятно, ясно (как сейчас Андропову), что единый план с его балансами и есть главная причина низкой производительности труда и неэффективности. Устранить эту причину нельзя без ликвидации социализма. Судите сами.

Если предприятию задан штат и фонд зарплаты, то заплатить больше работнику, который в данный момент, в данном месте произвел больше продукции, невозможно, если только не за счет другого работника. Если же заплатить и перерасходовать фонд, в масштабе страны важнейший экономический баланс будет нарушен — возникнет страшная инфляция.

Таким образом, единый план приводит к полной невозможности осуществления главного социалистического лозунга: от каждого по способностям, каждому — по труду. Практика социализма показала, что этот лозунг осуществляется только в условиях частного хозяйства и свободного конкурентного рынка.

В результате действия единого плана у всех 140 миллионов трудящихся исчез всякий стимул к повышению личной производительности труда. Наоборот, всем трудящимся стало ясно, что лозунг дня есть "как бы ни работать, где бы ни работать, только не работать".

Положим, вы — директор и ваши работники — идеалисты и работаете не за деньги. Вы нашли возможность перевыполнить план в два раза, не требуя зарплаты. Невозможно. Вам понадобится дополнительное сырье, которое планом не предусмотрено, дополнительная энергия, дополнительные вагоны для транспортировки дополнительного сырья и продукции. Все это вы не сможете получить. Ресурсы по всей стране уже распределены и ничего лишнего нет.

Ну, а если все это заранее запланировать? Тогда должны будут запланировать вдвое и ваши поставщики и поставщики ваших поставщиков, и так по всей стране. Большинство-то, однако, не такое умное и бескорыстное, как вы и ваши работники.

Ваша затея обречена на провал.

Таким образом обобществленное народное хозяйство и единый план полностью ликвидируют возможность проявления трудящимися трудового героизма и вообще проявления любой творческой, для пользы всего общества, инициативы. Социализм показал, что возможность творчества существует только в условиях частного хозяйства и свободного конкурентного рынка.

Правители социализма достаточно умны, чтобы это понимать, но они себе не враги. Только реальная угроза для жизни может оказаться хуже угрозы потери власти и потери воздействия на ход вещей.

“Классовое противоречие”

Есть и еще другая, не менее страшная причина несрабатывания социализма. Когда государство берет на себя функции всеобщего, монопольного хозяина, всеобщего, монопольного продавца (государственная торговля) и всеобщего, монопольного банкира, оно автоматически перенимает и соответствующие интересы. Интерес потребовать больше и лучше труда за более низкую зарплату. Интерес подороже продать иногда низкого качества товар или услугу. Интерес заплатить меньше проценты за ваш вклад в банк (сберегательную кассу) и потребовать с вас большие проценты за ваши долги. Интерес не иметь забастовок. Интерес не иметь помех управлению хозяйством в виде независимых профсоюзов или любого другого центра власти. Нетрудно видеть, что все это в точности те же интересы, что у капиталистов-предпринимателей. Нетрудно видеть, что у всего населения интересы прямо противоположны: поменьше и полегче работать, получать побольше зарплату, подешевле купить, побольше получить процентов на свой вклад и поменьше дать процентов на свой долг, иногда забастовать, и иметь организацию для защиты своих интересов.

В условиях свободного конкурентного рынка (без монополий и гигантов) капиталисты не имели монополии и осуществляли свои интересы в пределах экономической целесообразности. Монопольное социалистическое государство

такого ограничения не имеет и использует свою силу в осуществлении указанных интересов в полном виде. Нужно прямо сказать, что оно имеет для этого вполне разумные и, я бы сказал, вполне моральные основания. Эти государственные интересы служат процветанию страны. Будет больше дешевых и качественных товаров и услуг, прибыль позволит расширять и совершенствовать производство, не допуская безработицы и повышая уровень жизни. Прибыль позволит иметь высокие пенсии, хороший медицинский уход и т. д. и т. п.. Тогда как интересы трудящихся таковы, что действуют против всего этого. Существенно отметить, что эти интересы и при капитализме были таковы и сохранились в полной мере и при социализме. Как вы хорошо знаете сами, ни один трудящийся не жертвует своей зарплатой или условиями работы в пользу процветания страны. Он даже и связи между тем и другим не видит.

Что же получилось? "Классовое противоречие" между капиталистами (хозяевами, торговцами, банкирами) и трудящимися, которое должно было исчезнуть после ликвидации частной собственности и капиталистов, в бесклассовом обществе социализма не исчезло. Оно невероятно усилилось и сконцентрировалось в колоссальное противоречие между государством, как таковым, и всем населением. (Андропову же приходится по служебной обязанности стоять на страже интересов социалистического государства, а по своей частной сущности, вести себя, как и все трудящиеся: желать и брать для себя и своей семьи все, что нужно и можно). *Оказалось, что темные намеки, мелькавшие иногда в социалистической прессе об усилении "классовых" противоречий при социализме, совсем не случайны.*

В обществе свободного рынка (нигде теперь в полном виде не существует) миллионы частников капиталистов сдерживали разрушительную силу интересов трудящихся миллионов и в условиях жестокой конкуренции были вынуждены сдерживать и свои интересы, ведя страну к процветанию. Это главнейшее противоречие расщеплялось на многие миллионы индивидуальных противоречий и, ко всеобщему, в среднем, удовольствию заканчивалось миллионами различных компромиссов. В СССР силы оказываются для компромисса слишком неравными. При всей мощи государства сила многих миллионов трудящихся

неизмеримо мощнее. Трудящиеся своей индивидуальной силой и стихийной солидарностью разрушают социализм и государство. Они воруют, бездельничают, гонят брак, работают "налево", торгуют на черном рынке и т. д. и т. п.

Социалистическое государство не в состоянии никакой силой сбалансировать это неустранимое противоречие, вызванное к жизни в таком масштабе ликвидацией частной собственности. Социалистическое хозяйство приходит в упадок и не Андропову заменить его подъемом. Для этого нужны многие миллионы частных.

Новый НЭП

Как все дороги ведут в Рим, так и все мысли о плачевном состоянии экономики социализма ведут к НЭПу, как к способу решения вопроса. К сожалению, и НЭП не дает полного решения.

60 лет тому назад НЭП *не был возвращением от социализма к частнику*. И сами частники еще не были все истреблены. И опыт частного хозяйства еще сохранился. Просто временно перестали частника душить и даже несколько поощрили.

Эффект НЭПа тоже был сильно преувеличен. Фактически, он создал огромный и немедленный контраст с полным развалом хозяйства и голодом предыдущих лет военного коммунизма.

Конечно, частные мелкая торговля и мелкое ремесло и никогда полностью не умирали и их развитие будет возможно. Беда в том, что, пока это частное хозяйство невелико, оно не делает погоды. Так же, как факт существования приусадебных участков и подпольной экономики в СССР сейчас не повышает производительности труда всей страны и, следовательно, мало влияет на общий уровень жизни в стране. Например, в Польше сейчас НЭП больше по масштабу, чем он был в свое время в СССР. Результат вы знаете: он плохой. Все выгоды частника съедаются нацело неэффективностью государственных "командных высот" и давлением очень высоких государственных цен на сырье, энергию, машины, необходимые частнику. Производительность труда в Польше остается низкой и хозяйство продолжает разваливаться.

Вы должны знать, что и в ГДР тоже НЭП, который тоже не блещет результатами. А чем хуже НЭП в Югославии? А в Югославии огромные инфляция, безработица, рост нищеты и долгов не меньше, чем у Польши. Венгрия? (Раньше "поднимали на шит", как пример социалистического успеха, Югославию, затем, как вы помните, Польшу, а теперь Венгрию.) Так Венгрия-то маленькая страна и вся в долгу, как в шелку. Она просто живет за чужой счет (Запада). СССР так прожить не может. Кроме того, в Венгрии все каждый год меняется ("совершенствуется") и каждый год обнаруживаются новые дефекты. Из этих дефектов самый главный — потеря управляемости (власти) экономических балансов. Именно Венгрия показывает, как легко упустить власть над экономикой и, следовательно, над населением. Все время приходится жонглировать. Ну чужих хлебах Кадару это делать легче, чем, скажем, Ярузельскому в Польше. Это жонглирование едва-ли приемлемо для СССР. Это может быть и верно, что Венгрия есть экономическая лаборатория для Андропова, но убедительных результатов в ней еще не получено.

Так или иначе, все эти НЭПы показывают, что смесь типа одна лошадь плюс один рябчик не делает из блюда конины блюда рябчика. Такую смесь из лошади обобщественного хозяйства и рябчика частного хозяйства можно наблюдать во всех НЭПах и рябчик этот мало что меняет. Простой пример. Положим, что 20% хозяйства частные и имеют производительность труда в относительных величинах 100%, 80% хозяйства государственные с производительностью труда в 50%. Тогда совокупная производительность труда будет $0,2 \times 1 + 0,8 \times 0,5 = 0,6$, т. е. 60% вместо 50%, если бы было только государственное хозяйство. Лучше, но все еще плохо. Конечно, Андроповым, так или иначе, придется идти по этому пути (одна "лошадь", один "рябчик"), чтобы просто затянуть процесс, задержать его, стараясь отложить радикальные меры на будущее. Очень многое будет зависеть от скорости разрушения социалистического хозяйства и распространения по стране голода и холода. Финляндизация Европы могла бы сильно задержать развал социализма, но конечно не устранить его.

Во всяком случае, сделать эффективного конкурентного частного ведущим по объему производства и тем создать про-

цветание страны означает ликвидацию единого планирования и ликвидацию власти Андроповых. Пока их сама жизнь еще не в опасности, Андроповы на это не пойдут. Вопрос другой, если придется выбрать между социализмом и жизнью.

Единственное преимущество социализма

Маркс видел социалистическое общество в виде огромных армий, действующих по приказу единого командования. Сегодня армия "бросается", скажем, на уборку урожая. Завтра она валит лес, добывая древесину. Послезавтра строит жилища или заводы. Действительно, если бы можно было превратить все население в послушных солдат единой армии, вероятно, социализм бы действовал. Однако, это нереализуемо. Тем не менее, прямое родство социализма с военной машиной прямо проявляется в процветании при социализме военной машины. Военная машина относительно легко планируется, ею много легче командовать, чем многомиллионным населением. Вложили миллиард рублей в военную машину и получаете великолепный авианосец. (Вложили тот же миллиард в гражданское хозяйство и получаете пшшк.) Идеологическая война, терроризм, диверсии являются тоже прямой специальностью социализма.

Эту ситуацию уже Брежнев превосходно понимал и знал. Андропов знает не хуже. Можно не сомневаться, что для Андропова вполне ясно, что единственный успех может быть только на попроще внешних завоеваний и диверсий. Завоеваний, конечно, не военной силой, а военным, политическим и идеологическим шантажом и диверсиями. Социализм без этого жить не может. Нужно пугать войной изо всех сил, но война будет определено концом социализма и Андроповых. Влезать в войну с Западом нельзя. Однако нужно оторвать Европу от США и, без прямой войны, подчинить ее себе, чтобы подкормить и подбодрить население социализма. Захват Афганистана и создание на его юге огромного военного плацдарма (главная и полностью реализованная цель СССР) вместе с раздуванием арабско-израильского конфликта и иранско-иракской войны ставят под контроль СССР энергетику Европы. Продажа газа и нефти Европе служит той же цели. Контроль же над энергетикой Европы есть

контроль над Европой, как экономический, так и политический.

Одновременно, без особых затрат, чужими руками развивается и расширяется враждебная блокада и осада США. Пока американские граждане развлекаются парадом новых кандидатов в президенты, социализм тихой сапой проникает в душу и тело великой страны. Какой толк в грандиозной системе обороны, в технологическом превосходстве мощного оружия, когда враг проникает с незащищенного черного хода и через души самих американцев. Многотысячелетняя история показывает, что поражение в войне приходит, в конечном итоге, через души защитников. Самое сильное оружие в мире не спасет от гибели, если пропагандное оружие никудашнее и забыто. У Андропова же главное и мощнейшее оружие — оружие беспардонной пропаганды и диверсий. На это смертоносное оружие у США нет никакого ответа. Ядерная ракета не защищает души. Андропов это хорошо знает.

И единственное преимущество не вечно

Легко сообразить, что, как ни верти, а развал гражданского хозяйства рано или поздно захватит и процветающую пока военную машину. Нужно торопиться и во внешних и во внутренних делах. Одно с другим тесно связано. Распрощаться с надеждами на сохранение социализма в СССР и на его подкрепление за счет Запада Андропову очень трудно. Если мировая ситуация выглядит для Андропова обнадеживающе, этого нельзя сказать о делах внутри страны. Придется предпринимать множество экспериментов по поднятию производительности труда, эффективности социализма. Положение отчаянное. Приходится за соломинку хвататься. Однако, карта социализма бита окончательно. Единственно, что социализм может — уморить или убить еще много миллионов невинных людей. Именно это нам и нужно постараться предотвратить.

Кошмар социализма кончается. Как это произойдет, конкретно сказать невозможно. Если вас интересуют некоторые дополнительные возможные варианты, обратитесь к моей книге "О новой России. Альтернатива".

А. Федосеев

СОЦИАЛИЗМ И ИЕРАРХИЯ

1. "Пирамида коллективностей"

Социалисты грезят равенством. Они привлекают к себе симпатии как масс, так и чутких к несправедливости народных печальников тем, что обещают уничтожить в обществе различия и в потреблении, и в труде, и в пользовании властью. В действительности же стремление избавиться от социальной иерархии посредством уничтожения частной собственности и связанных с нею классов приводит социалистов к возведению особой государственной иерархии, монополюно (и к тому же плохо) выполняющей обязанности уничтоженных собственников. *На практике* это происходит *всегда*. В теории существует ряд направлений социалистической мысли, стремящихся включить *всех* работников, то есть *всех* граждан, на *равных* основаниях в процесс управления обществом и государством. Так, "конструктивный социалист" В. Чернов, в своей книге обобщающий и согласующий друг с другом ряд социалистических движений (синдикализм, муниципальный, кооперативный, гильдейский и марксистский социализмы), предупреждает читателя, что истинная социализация не имеет ничего общего с огосударствлением ("ни с государственным социализмом, ни с государственным капитализмом", — говорит он)¹. Ему вторят и многие современные социалисты, считающие себя более демократами, чем сторонники западной демократии нынешних образцов. Если бы, действительно, отличие социализации от огосударствления было доказано логически безупречно, исчез бы главный тупик

1. В. Чернов, "Конструктивный социализм". Прага, 1925. (Т. 1, разд. 12 "Что такое социализация", стр. 277). Примерно то же в своих статьях о социализме говорит сегодня и Е. Наклеушев.

социализма невозможность по уничтожении конкурентного рынка обойтись без государства-монокапиталиста, централизующего управление экономикой и неизбежно преобразующего постреволюционное общество в тоталитарную структуру. В. Чернов предлагает, по его словам, "сугубо децентралистический" план социалистического общественно-планомерного самоуправления. Он рассматривает отдельно сельское хозяйство и промышленность, производство и потребление. В сельском хозяйстве, по его представлению, саморегуляция начнётся с "семейной кооперации". Равенство посемейного "трудового землепользования" будет регулироваться "волостной и сельской общиной". Межволостные и межсельские земельно-производственные взаимоотношения должны координироваться районами, районные — областями. Проблемы общенационального землепользования и сельскохозяйственного производства смогут разрешаться некоей верховной *коллективной* инстанцией. Примерно так же строится В. Черновым предполагаемая ступенчатая иерархия самоуправления и в промышленности, где начальным звеном саморегуляции явится низовая ячейка профсоюза, а высшим, конечным её звеном станет некий межотраслевый и общенациональный синдикат, управляемый всеми своими членами, то есть практически всеми производителями. Потребление организуется через такую же ступенчатую кооперацию, разворачивающую свои операции от семьи вплоть до "превращения великой всероссийской кооперации по *распределению* (курсив Чернова) в великую российскую кооперацию по *трудовому использованию* (курсив Чернова) земли". Посредством такой кооперации Чернов намерен дойти "до разрешения в этой области основной проблемы социализма" — "постепенной коллективизации трудовых прав", постепенного построения общенационального, всеобъемлюще планомерно регулируемого хозяйства¹. Кроме того, существует ещё и некое надобщинное, надкооперативное и надсиндикальное звено, согласующее сельскохозяйственную деятельность с промышленной, производство с потреблением и т. д. Вопрос о политических и административных внешних и внутренних функциях госу-

1. Там же, стр. 280.

дарства автором не рассматривается.

Чернов глубоко уверен, что в его социализированном хозяйстве "общественные *коллективы* разных степеней выступают... как регуляторы действительного равенства пользователей"¹. А вся описанная выше структура представляется ему не иерархией управляющих разного ранга, а "*пирамидой коллективностей*, в совокупности своей способной уравнивать условия... труда и распределения... в общенациональном масштабе".

С незначительными изменениями подобные "пирамиды коллективностей" строят (в теории) все демократические социалисты, намеревающиеся сохранить в своём новом мире инициативу за массами, а не за администрацией того или иного рода. Поэтому, рассматривая внимательно проект Чернова, мы одновременно исследуем литературные конструкты всех демократических (по их собственному убеждению) социалистов.

Создаётся впечатление, что, начав перечислять свои регулирующие инстанции снизу, а не сверху, Чернов полагает, что и управляющие всей управленческой пирамидой импульсы будут двигаться снизу вверх, а не наоборот. Поскольку он рассматривает низовые малые коллективы прежде высших и всё расширяющихся, ему представляется, что его пирамида управляющих будет стоять на наиболее узком и элементарном своём основании (свободная инициативная личность) и расширяться кверху — вплоть до включения в широчайшее верхнее основание *всех* личностей — *всех* членов общества. И уж эти *все* будут вырабатывать общенациональные планы. Ту же схему рисуют и синдикалисты, и муниципалисты, и кооперативники, и гильдейцы: схема Чернова лишь объединяет все их частичные иерархии в одну всеобъемлющую.

Однако вполне самоочевидно, что и в модели Чернова, и в более узких, частичных её вариантах *степень коллективности управления будет снижаться* по мере расширения задач управления и укрупнения его объектов. Там, где Чернов и его единомышленники видят "пирамиду коллективностей", то есть иерархию всё расширяющихся самоорганизующихся человеческих множеств, одновременно и работающих, и управляющих

1. Там же, стр. 280.

работой, ведущих её согласно выработанному при их непосредственном участии единому общенародному плану, на деле существует лишь иерархия управляющих. Выборность даже всех сверху донизу руководителей и работников управленческих аппаратов не меняет дела. Для того, чтобы нереальность построения "пирамиды коллективностей" (взамен пирамиды управляющих) выступила с полной наглядностью, введём некий объективный показатель *коэффициент коллективности управления*. Этот коэффициент представляет собой отношение числа управляющих, **ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОДНОВРЕМЕННО И УПРАВЛЯЕМЫМИ**, к общему числу управляемых. Речь идёт о совмещении управления и подчинения, развёрнутых так, чтобы управляющие одновременно и вырабатывали полноценные решения, и выполняли их в ряду других исполнителей.

На уровне семьи, сельского схода или низовой ячейки профсоюза и кооператива этот коэффициент в идеальном случае может быть равен единице (все работают и, собираясь на общие сходки, управляют своей работой). Мы пренебрегаем, соглашаясь с такой возможностью, наличием лидеров, неизбежно появляющихся уже на самых элементарных уровнях общественной организации. По мере укрупнения задач и руководимых объектов коэффициент коллективности управления будет неизбежно падать. Более того: изменится наше определение этого коэффициента. Уже где-то на одном из достаточно низких уровней иерархии исчезнет подчеркнутое нами условие: управляющие перестанут быть одновременно и управляемыми; коэффициент коллективности управления начнёт измеряться отношением числа управляющих к числу управляемых. — без того, чтобы первые участвовали непосредственно в исполнении своих решений. И этот коэффициент будет тоже падать по мере расширения задач управления и числа управляемых. Сравнительно рано появится "третья сила" — технические аппараты управления, то есть служащие, не принимающие решений, но технически участвующие в их подготовке и доведении до сведения исполнителей. Эти промежуточные инстанции будут расти гораздо быстрее числа действительно инициативных управляющих, а на определённом этапе — и числа непосредственных производителей товаров, услуг и т. п. ("закон Паркинсона").

Чернов предполагает, что управляющие и их аппараты могут оставаться везде одновременно и управляемыми, то есть занимающимися производительным трудом. Но это неверно: уже сравнительно низовые руководители и их помощники объективно не смогут совмещать хозяйственно-производственное управление с практическим исполнением своих команд. Достаточно рано исчезнет и выборность всех руководителей и их аппаратов.

Для руководства решением мало-мальски серьёзных административных и профессиональных задач нужна соответствующая квалификация, соответствующее специальное образование. Масса избирателей некомпетентна в специальных вопросах и, следовательно, не сможет не только решать их, но и обоснованно избирать специалистов для их решения. Не сможет она и адекватно оценивать труд этих специалистов.

В СССР 1918-1919 гг. на верхушке партии и профессиональных союзов велась ожесточённая борьба между защитниками всеобщей выборности должностных лиц и сторонниками их назначенства. Закономерно, что одержала победу не марксистская эгалитарная догма поголовной выборности¹, а прагматическая тенденция назначенчества.

В. Чернов, как и все без исключения социалисты, пишет о *планомерном* использовании "всех производительных ресурсов страны", о *всеобъемлюще* плановом производстве и потреблении, как о программе-максимум социализма. При этом он полагает, что его *единый и взаимосвязанный для всей страны* план будет строиться *индуктивно, снизу*, самими трудящимися, постепенно расширяясь и обобщаясь на каждом уровне его "пирамиды коллективностей", стоящей как бы на своём острие. Но ведь низовые инстанции во всеобъемлюще взаимосвязанном производстве и потреблении могут планировать лишь весьма ограниченное число сугубо местных и частных моментов своей деятельности. Да и то — исходя из спущенного им сверху более широкого плана. Иначе построить свой план с учётом всего механизма связей, в которые они включены, они не смогут из-за

1. В "Государстве и революции" Ленин предусматривает выборность даже школьных учителей.

отсутствия у них необходимой информации. У них нет достаточной широты обзора и компетентности для участия в общенациональном планировании. Если общество подчинено единому плану, каждое звено управления должно руководствоваться и руководствуется установкой инстанции, имеющей более широкие, более общие представления о данном деле, чем это звено. Таким образом, в своей специфической сфере действия (управление) все управляющие, кроме наивысших, являются одновременно и управляемыми. Но управляются они не собственными решениями и не волей "коллективностей" своего уровня, а критериями стоящей над ними инстанции, а на самом верху — лидера иерархии.

Когда социалисты-антиэтаписты строят (разумеется, на бумаге) свои "пирамиды коллективностей", от них ускользает ещё одно важное обстоятельство: на самом-то деле никто из граждан не пребывает лишь на каком-то одном уровне упомянутой выше пирамиды! Каждый из них одновременно проживает и в микрорайоне, и в районе (городе), и в области, и в республике, и в стране, состоит и в цеху, и на заводе, и в отрасли, и в целом в промышленности, и так далее. В большинстве моделей социализма обобщенное планирование всего и вся доходит до планетарного уровня. Значит, каждый должен участвовать в составлении планов на всех этих уровнях? Теоретически пирамида коллективностей" приводит таким образом в пределе к тому, что любое существенное решение должно приниматься скопом, вечевым способом, всеми гражданами страны или всем человечеством. Невозможность этого самоочевидна. Естественно, что при любой попытке своей реализации "пирамида коллективностей" уступает место пирамиде частично избираемых, частично (в подавляющем большинстве случаев) назначаемых сверху *управляющих*. Для согласования же всех локальных потребностей и для включения всех локальных процессов в единый планомерный процесс оказывается необходимой какая-то полномочная инстанция, стоящая достаточно высоко, чтобы иметь всеобъемлющее поле обзора. Кроме того, она неизбежно должна обладать и всеобъемлющими полномочиями. Таким образом, откуда ни начинался бы путь ко всеобъемлющей единоплановости: с решительного отказа от

централизованной государственной иерархии или с её безудержной апологии, — обойтись без этой иерархии невозможно. Нельзя обойтись и без венчающего её всевластного верховного Центра.

2. В защиту неидеальных выходов

Есть ли выход из перечисленных выше тупиков?

Идеального выхода, который позволил бы создать действительно совершенный всепроникающий план существования общества и при этом отождествил бы критерии правящих с критериями управляемых, да ещё обеспечил бы эффективность и нравственность этих критериев, по-видимому, в распоряжении человечества нет. Во всяком случае, ни одно из известных автору социалистических учений не подсказывает такого выхода.

Природа, однако, открывает обществу некий путь смягчения перечисленных выше противоречий, который решительно не устраивает ни социалистов, ни значительную часть их противников. Иными словами этот путь неприемлем ни для кого из тех, кто жаждет для общества идеального, а не всего лишь удовлетворительного существования, позволяющего сносно разрешать свои затруднения (хотя бы до тех пор, пока не возникнут какие-то более совершенные возможности).

Тот факт, что этой дорогой идёт сейчас меньшинство человечества, не свидетельствует против неё. Жизнь вообще весьма маловероятное состояние Сущего, а жизнь, организованная плодотворно, — тем более.

Я говорю о механизме конкурентного рыночного отбора, принципиально подобном механизму естественного отбора, следовательно, не предлагаю ничего нового и ничего идеального. Разумеется, этот механизм чреват своими опасностями. Но работоспособней него общество, ища оптимальной самоорганизации, ничего пока что не выдумало — ни сознательно, ни стихийно.

Слово "рынок" мы привыкли связывать лишь с торговлей вещественными товарами. Более или менее легко представим ещё и рынок услуг — самых разнообразных, включая, к сожалению, и услуги противозаконные. Но что, как не рынок программ и идеологий, представляют собой периодические сво-

бодные многопартийные выборы, на которых партии (а в профсоюзах — партийные фракции), конкурируя друг с другом, наперебой предлагают избирателю каждая свой способ наилучшей, по её утверждению, защиты его интересов? То же можно сказать и о поставщиках информации различных видов, включая идеи и образы. Что есть свободная гласность, независимая литература и не стандартизируемое никакими административными канонами искусство, как не всё то же конкурентно-рыночное предложение обществу идей и образов? Я понимаю, что такая профанация идей и образов выглядит непривлекательно. Но что поделаешь, если информация, этот товар товаров, не может накормить и благоустроить своих создателей, не будучи кем-то оплаченной? В обществе, где законно бытуют много критериев, как правило, самые разнообразные идеи и образы находят некие большинства или меньшинства, готовые их оплатить. Кроме того, их создатели не лишены возможности творить и вне всякой зависимости от рынка, добывая средств к существованию каким-то иным путём. В условиях же, подчиняющих всё общество *одному* критерию, идеи и образы соотносятся *только с этим* верховным критерием. И в этом случае покупатели оплачивают любые товары: материальные и нематериальные — не прямо, а через посредство государства — автора и эксплуататора своего, единственно-легализованного критерия. Всё, что не соответствует государственной мерке, попадает в общественное обращение лишь нелегально и чревато опасностью для обеих сторон — для создателя и для потребителя незаконной информации.

На каждом рынке поставщиков много. И каждый покупатель (избиратель), стоя один на один со всем многообразием рекламируемых товаров, услуг и программ, говорит им каждый раз "да" ("беру") или "нет" ("отказываюсь") на основании *своих собственных* критериев качества и целесообразности. И личность, и меньшинство находят здесь для себя товары по своему вкусу — как хорошему, так и дурному. Рыночный спрос управляет поведением поставщиков. При этом поставщики всех видов товаров и услуг планируют свою деятельность (с вероятностным учётом деятельности конкурентов и спроса), а все потребители заранее приблизительно соотносят свой выбор с

вероятной рыночной конъюнктурой. Таким образом, уровень плановости в их поведении довольно высок. Области, охватываемые таким локальным планированием, многократно меньше сферы, охватываемой всеобъемлющим общенациональным планом. Поэтому многократно меньше дефицит информации и ниже вероятность ошибок. Последние неизменно присутствуют, но они локальны, а не глобальны. Их последствия менее болезненны для общества в целом. Определённые профессиональные инстанции, в том числе и государственные, поставляют обществу вероятностные прогнозы во всех интересующих его областях, а также, не являющиеся обязательными, рекомендации.

Здесь тоже широкие области централизованного и планового регулирования подчинены государству и его законам. Но и эти области существенно меньше и ограниченной в количестве, чем при осуществлении тотальной плановости. Это позволяет совершенствовать частичную плановость и рекомендательно-прогнозирующую деятельность государства. Кроме того, государство как собственник некоторой части предприятий и банков тоже участвует в свободном рынке и подвержено конкуренции с другими собственниками, то есть конечным санкциям потребителей, которым, в отличие от условий полной централизации, есть из чего выбирать.

Поскольку в условиях конкурентно-демократических *все* покупают, выбирают и голосуют, то совокупность *всех* и образует в конечном счёте регулятор, управляющий обществом. Но *каждый* из всех управляет не в равной со всеми другими мере: лишь право доступа к управлению у него равно с каждым из прочих. Вес же его решений в коллективных санкциях рынков, охватывающих все проявления социальной жизни, пропорционален его платежеспособности, престижу, авторитету, его функции в обществе, его нужности обществу, его личным качествам, удачливости и пр.

Забаллотированные рынком поставщики, от товаров и услуг которых покупатель отказывается, и неплатежеспособные покупатели терпят бедствия, когда-то очень жестокие и непоправимые — как при естественном отборе в природе. Теперь эти бедствия амортизируются рядом страховок, в том числе и со стороны государства. Возникло много легальных путей борьбы

покупателей (избирателей) за повышение своей платежеспособности на рынках рабочей силы, на арене политической и профсоюзной борьбы.

Партии, поставляющие обществу свои программы и идеологии, сменяют друг друга у кормила власти по воле большинства избирателей, находящей своё выражение на конкурентных выборах. Выборы должны быть достаточно редкими для того, чтобы правящие партии успевали себя проявить, и достаточно частыми для того, чтобы дурные правительства не могли завести общество в глубокий тупик. Кроме того, парламенты конкурентно-демократических стран могут вотировать своё недоверие правительству, и порой перевыборы ускоряются.

Конкурентные выборы и свободная гласность не отождествляют избирателя с депутатом. *Кoeffициент коллективности управления* не перестаёт падать по мере усложнения задач и роста объектов управления. Во время своих каденций правительства действуют достаточно самостоятельно для того, чтобы *управлять*. Но деятельность избранных контролируется оппозиционными партиями и свободной гласностью, стимулируется наличием альтернативных программ, открыто предлагаемых обществу оппозициями как на выборах, так и между ними. Благодаря гласности и нефиктивным выборам (тому, что, действительно, есть из чего выбирать), деятельность избранных *периодически* приводится в соответствие с критериями избирателей, с их представлениями о своих интересах. Всего лишь периодически и не абсолютно, но эта поправка существенно меняет бытие общества, жизнь людей.

У конкуренции достаточно много трудных и тёмных сторон. Поэтому в условиях демократии очень сильны симпатии и тяготение общества ко всеобъемлющей плановости, устраняющей конкуренцию с её случайностями, с её неустойчивостью выигравшей и проигравшей.

Эти живые симпатии подогреваются тем, что многие современные социалисты обязуются сохранить в условиях всеобъемлющей плановости гласность, многопартийность и свободные выборы, уничтожив одну только рыночную конкуренцию с её эксцессами и неравенством граждан в имущественном отно-

шении. Это было бы, вероятно, возможно, если бы экономическая централизация, без которой немислим всеобъемлющий план, улучшала, а не ухудшала функционирование общественного хозяйства. Но, по ряду объективных причин, она его резко ухудшает. Свобода же, не чреватая изменением существующего строя и падением власти, возможна только в обстоятельствах, по мнению большинства членов общества, более или менее удовлетворительных.

Симпатии к социализму, сильные в досоциалистических обстоятельствах, неотвратно слабеют в условиях победившего социализма, где антипатия граждан ко власти преодолевается только насилием и ложью.

3. О пределах свободы

Для того, чтобы не развалиться грудой обломков или не превратиться в какую-то из монархий, демократия должна непрерывно соблюдать чувство меры в своих тенденциях. Как известно, наши пороки суть продолжения наших достоинств. Для демократии это наблюдение весьма справедливо.

Построенная на узаконенном разнообразии и поэтому чрезвычайно терпимая, она должна своевременно улавливать, какие тенденции, программы, идеологии, вкусы угрожают извне или изнутри её принципам и самому её существованию, уметь на них реагировать оперативно и достаточно твёрдо. Такой твёрдостью большинство демократий не грешит, а потому пребывает в постоянной опасности быть разрушенными или перестроенными в не-демократию.

На всех демократических рынках, в том числе и на рынках рабочей силы, зримо присутствует стремление конкурентов монополизировать предложение, остаться в своей области сбыта единственными. А всякое приближение поставщиков к единственности подвигает демократию к монопольной власти какой-то одной силы, и потому должно быть предупреждаемо. Однако, оно предупреждаемо далеко не всегда и не всюду.

Растут и усложняются общенациональные задачи, что неизбежно увеличивает влияние государства в общественной жизни. И это тоже приближает демократию к социализму, чему должны быть поставлены разумные и действенные пределы. И не раз

навсегда, а с постоянной практической перепроверкой и законодательной координацией этих пределов.

Свободное самовыражение граждан — тоже один из фундаментальных принципов демократии. Но и в нём существуют тенденции монополизма, которые должны бы обществом предупреждаться. Плоды свободного самовыражения бывают и ядовитыми, и растлевающими. Общество вправе отвергать такую продукцию, что оно чаще всего не делает. И лучше бы осуществлять это не посредством наложения запретов на её производство, а посредством отказа такую продукцию потреблять. Ведь в конечном счёте до тех пор, пока монополизация не убивает конкуренцию, музыку заказывает потребитель.

Никакие достоинства конкурентнорыночного механизма не обусловят его полезной работы, если потребитель (он же — избиратель, он же — производитель) будет близорук и аморален в своих запросах, предъявляемых им этому механизму. Как ни при одном другом способе социальной организации, степень здоровья и плодотворности демократии зависит от степени нравственного, духовного, интеллектуального здоровья её сочленов, от их прозорливости, от их умения в каждом конкретном случае заказать или выбрать то, что совершенствует, а не разрушает человека и общество. Нужно ли говорить о том, насколько запросы и мерки граждан современных демократических государств далеки от такого оптимизма?..

Дора Штурман

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В СССР

Западные наблюдатели, а также активные деятели Русской Православной Церкви в СССР давно изображали Церковь как пленницу режима, управляемую центральными и местными партийными и государственными органами, полную доносчиков, скованную суровым законодательством, парализованную инерцией и неспособную уже более выполнять свой долг и защищать свои интересы. Настоящая статья посвящена рассмотрению оттенков и трений между Церковью, ее активными членами, и советской властью, для чего использованы выводы необычайно откровенного конфиденциального доклада Совета по Делах Религии при Совете министров СССР, направленного в ЦК КПСС.

Публикация на Западе¹ этого документа дает необычайно зримую картину подлинных отношений между Церковью и государством в СССР, особенно если ее сравнить с приукрашенной официальной версией, предназначенной для прессы и внешней пропаганды. Обширный доклад, подготовленный в 1975 г. за подписью Заместителя Председателя Совета по Делах Религии В. Фурлова дает как характеристику православных иерархов, так и деятельности самой Церкви. Самый язык доклада не оставляет никаких сомнений насчет полного подчинения церковной иерархии Совету, который, как очевидно, не только определяет всю церковную политику, но и осуществляет самый мелочный надзор за деятельностью епископата.

Из доклада вполне ясно, что успех своей деятельности Совет

1. "Вестник Русского Христианского Движения", №№ 130, 131.

оценивает по тому, насколько он преуспел в нейтрализации влияния Церкви внутри страны, одновременно используя ее за рубежом в целях советской пропаганды.

Доклад делит всю православную иерархию (патриарх, митрополиты, архиепископы, епископы) на три группы, снабжая отдельных представителей характеристиками.

- Те, кто всецело поддерживают режим и его политику, включая религиозную политику (в эту группу включен и патриарх Пимен);
- Те, кто, будучи лояльными по отношению к властям, все же озабочены интересами Церкви, стараясь, тем не менее, не нарушать советского законодательства о религии и, наконец,
- Те религиозные активисты, за которыми замечены попытки уклониться или нарушить советское законодательство о религиозных культах в пользу большей роли Церкви, распространения веры или даже оппозиция по отношению к официальной политике в области религии.

Доклад проливает свет на довольно большое число ранее неизвестных фактов, но главная его ценность в том, что нарисованная в нем картина отношений между государством и Церковью, предназначенная к тому же исключительно для внутреннего потребления, полностью соответствует сведениям из неофициальных советских источников и выводам западных наблюдателей. Читатель доклада приходит к следующим выводам, которые вытекают из него, не будучи, впрочем, высказаны открыто:

- Советский режим добился полного контроля над Русской Православной Церковью и ее иерархией, поставив церковную иерархию в такое положение, при котором она принимает активное участие в советской религиозной политике, направленной на разрушение Церкви и постепенное создание подлинно атеистического общества.
- В то же время в интересах режима — сохранять цельность Церкви и авторитет ее иерархов ради предотвращения развития разногласий или, тем более, появления голосов открытого протеста среди духовенства и при-

хожан. Для обеспечения повиновения верующих в рамках советского законодательства властям необходимо поддерживать авторитет церковной иерархии, поскольку самые действия советских властей всегда могут вызвать обвинения в том, что советские граждане преследуются за свои убеждения.

- Несмотря на то, что режим достиг полного контроля над Церковью, в самой Церкви все еще остается довольно значительное число людей, включая как духовенство, так и черное монашество, которые недовольны наложенными на Церковь драконовскими ограничениями, вынуждающими ее действовать вопреки своей совести и духовному долгу.

Весь доклад проникнут недоверием к духовенству и содержит предупреждение о необходимости постоянной бдительности со стороны государственных и партийных органов.

Когда в 1978-80-х годах советские власти усилили свои преследования организованного диссидентства, жертвами этих преследований стали все четыре неконформистские группы — политическая, неонационалистическая, культурная и религиозная. Что касается антирелигиозной кампании, то она была, в основном, продолжением традиционной советской политики по отношению к религии, хотя в указанный момент и была направлена не столько против религии *per se*, сколько против ее определенных проявлений:

- против религиозной активности, служащей выходом националистическим чувствам (как, например, среди литовских католиков),
- против незарегистрированных религиозных вероисповеданий,
- против официально неразрешенных религиозных объединений и групп внутри зарегистрированных религиозных культов.

Короче, против всякой религиозной деятельности, не контролируемой властями.

Появление в 1960-х годах православных активистов-дисси-

дентов совпало с появлением независимой мысли и активности в других сферах жизни советского общества. Если распространение свободомыслия и, в конечном счете, открытого диссидентства пришлось на период хрущевского развенчания Сталина, периоды репрессий и либерализма в жизни Русской Православной Церкви следовали в иной последовательности. После всех жестокостей пореволюционного периода, Церковь в 30-е годы влячила самое жалкое существование.

Вторая мировая война дала Церкви временную перелынку. Сталин не мог недооценить роли церкви в деле снискания советскому режиму народной поддержки, что и послужило основой соглашения, вернувшего Патриархат к жизни и поставившего церковно-государственные отношения на солидную основу. Традиционная церковь достигла степени относительной стабильности и преуспела в открытии церквей, монастырей и семинарий, поддерживая режим и служа ему, и никак не участвуя в борьбе за "религиозную свободу". Патриархия неоднократно утверждала, что такая политика является продолжением патриотической исторической роли Церкви, связавшей свою судьбу с судьбой русского народа.

Однако, либерализация интеллектуального климата в хрущевскую эпоху не коснулась верующих. Напротив, в позднейший период своего правления, Хрущев развязал яростную антирелигиозную кампанию (1959-1964), результатом которой было массовое закрытие церквей (с 20 тысяч до 7 тысяч), сокращение числа священников и потеря многих из привилегий, которых Церковь добилась в конце войны.

Патриархия пережила атаку ценою молчания, бессильно наблюдая за закрытием и разрушением церквей. При этом, конечно же, высокопоставленные клирики продолжали на международных съездах живописать положение Церкви в самых розовых тонах, в подкрепление своих слов ссылаясь на советскую конституцию, якобы "гарантирующую свободу совести".

В брежневский период официальная политика в отношении Церкви была, в целом, не столь прямолинейна, как при Хрущеве. Перманентный нажим на религию, разумеется, не претерпел изменений, но применялся выборочно и умело, будучи проводим под покровом "законности". Некоторым вероисповеданиям

везло в этот период больше — либо в силу местных особенностей (например, Армянской Церкви), или же международной обстановки (мусульмане). Непрекращающиеся преследования незарегистрированных евангелистских сект, таких, как Пятидесятники или Адвентисты Сельмого Дня, были сбалансированы сравнительно благосклонным отношением к официальному (т. е. зарегистрированному) сегменту Баптистской Церкви.

Русская Православная Церковь при Брежневе продолжала рассматривать свою традиционную политику молчания как главное условие своего выживания, однако, мудрость подобной политики с годами становилась все более сомнительной. Невыгоды заметно превышали преимущества, а цена, которую Церковь должна была платить за свою целостность, оказалась непомерно высокой. Пресмыкательство перед режимом уже не вознаграждалось безопасностью и устойчивостью, как это было в поздние сталинские годы, но, напротив, превращало церковных иерархов в пособников выбранной Советом по Делах Религии тактики "салями" — постепенного, но неуклонного отсечения и сокращения материальных, моральных, организационных ресурсов Церкви.

Православная иерархия была поставлена в такое положение, при котором она не могла защитить веру, традиционные интересы Церкви и права самих верующих; когда иерархия оставалась глуха и слепа к мольбам о помощи как со стороны отдельных лиц, так и групп верующих; когда она намеренно закрывала глаза на явные нарушения законов со стороны официальных представителей власти; когда она безропотно выполняла все официальные инструкции, включая меры дисциплинарного характера как по отношению к активным мирянам, так и духовенству; когда эта самая иерархия с готовностью исполняла международные поручения советского режима, — только попроси. Действительно, режим свел всю деятельность Патриархии к осуществлению международных контактов, крайне пристально контролируя Отдел Внешних Сношений Патриархии с помощью КГБ.

Так или иначе, но, начиная с середины 50-х годов, Патриархия перестала выполнять свои основные функции по руководству церковными делами, перестала быть организующим и

направляющим центром православной религиозной жизни. Отдельные епархии вдруг обнаружили, что они предоставлены самим себе, не получая со стороны Патриархии никакой поддержки в разрешении местных проблем, равно как и в их сношениях с центральными советскими властями.

Патриарх не посещает епархии, редко издает указы или принимает верующих, включая даже архиепископов. Единственная его связь с верующими сведена к появлению на службах в нескольких московских церквях. Такая самоизоляция патриарха не добровольна, к ней он принужден официальной политической линией власти. Его деятельность, в сущности, ограничена лишь теми указаниями, которые ему дают чиновники из Совета по Делах Религии. Даже его личный шофер, по слухам, — отставной майор КГБ. В частном порядке патриарх, якобы, говорил, что он "живет в золотой клетке".

Одной из целей неуклонного сокращения количества церквей, особенно в сельской местности, было желание властей лишить как можно большее число верующих возможности посещать действующие церкви или же отправлять религиозные требы. В результате Православная Церковь испытала ошутимый отток верующих за счет их перехода в другие вероисповедания, особенно к баптистам. В условиях непрекращающегося антирелигиозного давления властей евангелистские протестантские группы проявили большую гибкость и лучшую способность к выживанию, так как они опираются на личную активность своих членов, объединенных в небольшие инициативные группы, тесно друг с другом не связанные, но оказывающие друг другу взаимопомощь.

Как это ни парадоксально звучит, но упадок официальной Православной Церкви создал условия для возрождения и обновления самого Православия, вызвав появление неофициальных учебных групп и религиозных семинаров. Организованные активистами, они функционировали вне формальной церковной структуры или — реже — объединялись вокруг отдельных бесстрашных священников — на приходском уровне. Это самозародившееся течение было способно окрепнуть и набрать силу в результате возродившегося, скромного вначале, интереса к рели-

гии со стороны тех советских людей — в особенности молодых которых отталкивала духовная пустота официальной культуры.

Официальная Церковь не могла пожать плодов этого возродившегося интереса к религии, так как пристальный контроль со стороны Совета по Делах Религии не давал Церкви никакой возможности заняться новообращенческой деятельностью или даже выказать самую малейшую заинтересованность в росте религиозного сознания. Напротив, Совет требовал от Церкви каких-то внешних подтверждений правильности советской догмы о неуклонном упадке церковной и религиозной жизни, о постепенной утрате Церковью своей паствы.

Мы располагаем свидетельствами того, что некоторые представители иерархии приветствовали появление неофициальных активистов, так как они вливали в церковные вены новую свежую кровь, сообщали интеллектуальную энергию и мужество, обновляя все церковное здание. Эти активисты открыто говорили о том, что Церковь должна утаивать, они оживили обсуждение проблем, жизненно важных для Церкви, если она хотела выжить. Вне всяких сомнений, некоторые представители иерархии оказывали активистам хотя и скромную, но поддержку и ободрение, исподтишка распространяя самиздатскую литературу (так же как и религиозную литературу на русском языке, опубликованную за границей) и предпочитали не подвергать этих активистов дисциплинарным взысканиям, если только их к этому не принуждали вышестоящие органы.

В то же время отношения между религиозными активистами и самой Патриархией неуклонно ухудшались, как вследствие того, что Патриархия испытывала все более сильное давление со стороны Совета по Делах Религии, требовавшего "сокрушить" диссидентство внутри Церкви, так и потому, что сама Патриархия стала мишенью диссидентской критики. Трудно было критиковать политику советского режима в области религии, избегая упреков по адресу Патриархии, бездействующей и никак не защищающей интересы Церкви.

Опубликованные в печати материалы содержат обширную документацию, разоблачающую официальную антирелигиозную политику, включая и репрессивные акции против религиоз-

ных активистов. Однако, куда меньше внимания было привлечено к решительным обвинениям Патриархии со стороны Комитета по защите прав верующих, а также к последствиям этих обвинений для Православной Церкви в ее сношениях с советской властью.

Документы Комитета изобилуют критическими замечаниями о внутренней и внешней политике Патриархии, но, возможно, наиболее убедительная критика внутренней политики Патриархии содержится в послании Комитета Вселенскому Патриарху Димитрию от апреля 1978 г. Комитет возлагает должное Димитрию за провозглашение 1977 года как года Религиозной веротерпимости, а затем объясняет, почему ему не следует ожидать поддержки и симпатии со стороны Московской Патриархии. По утверждению Комитета, непрекращающееся враждебное давление принудило Патриархию уклониться от ее пастырских обязанностей и ответственности: "Вследствие архиерейского отвержения исповедной благодати, создалась ситуация, при которой заступнический долг церковного владыки был предан забвению... В государстве, где господствующая идеология враждебна христианству, стремление сохранить внешнее благолепие столь овладело помыслами церковных владык, что они начинают заниматься тем, что представляется абсолютно недопустимым... неким слиянием христианства с идеологией противников Христовых".

Такое уклонение от пастырского долга привело, как утверждает Комитет, к тому, что Патриархия заняла позицию, пахивающую доктринальным заблуждением, если не ересью. Послание излагает эти заблуждения в точных теологических формулировках.

Цитируя заявление Патриарха Пимена о том, что православные в их литургической жизни руководятся канонами Православия, но в своей повседневной и общественной жизни — принципами Октябрьской революции, Послание отмечает: "Подобное заявление главы Православной Церкви равносильно эклезиялогическому несториянству... официальному допущению того, что в условиях советского общества христианин должен быть двуликим, должен вести двойную жизнь...". Духовенство, например, должно следовать церковным правилам, управляя

религиозные обряды, но вне церкви оно "должно следовать этим правилам постольку, поскольку они не противоречат общей политике уничтожения религии...". В результате "любой священник, ведущий миссионерскую работу, рискует не только подвергнуться преследованию со стороны государственных органов, но и подвергнуться церковному запрещению своего владыки".

Послание называет "образом эклизиологического монофизитства в его крайней, досетической форме" утверждение церковных владык Патриархии о том, что зависимость Церкви от государства условна, и что в духовном плане Церковь всегда оставалась абсолютно свободной. Вышеупомянутая доктрина является отражением крайнего недоверия ко всякой человеческой деятельности и творчеству, отрицанием того, что Бог может действовать в истории через человеческую волю. Церковная позиция непротivления злу на практике превратилась в бегство от действительности и отрицание любой формы активности.

Названные уклонения от Православия, заключает Послание Вселенскому Патриарху, привели "епископат, и значительную часть духовенства" к проявлению "враждебности, подозрительности или же безразличной отчужденности в отношении деятельности по защите прав человека, движения за открытие церквей и регистрацию новых приходов. Весьма нередко архиереи используют свой авторитет, чтобы противиться подобным начинаниям..."

Послание обвиняет Русскую Православную Церковь в том, что, отдав себя под государственный контроль и надзор, она нарушила Постановления Всероссийского Поместного Собора 1918 г., восстановившего Патриаршество и объявившего Церковь самоуправляемой и независимой от государства. Эти обвинения, очевидно, задели Церковь за живое, вынудив к непривычно оправдательно звучащему ответу Патриарха Пимена в его Рождественском Послании от 7 января 1981 года. Пимен утверждал, что Православная Церковь "как и прежде, осуществляет свое служение в рамках современного советского общества в полном соответствии с учением Христа и его апостолов, Священным Писанием и установлениями Матери-Церкви".

В мае 1975 г. три православных активиста (о. Глеб Якунин,

Виктор Капитанчук и Лев Регельсон — двое последних стали впоследствии членами-основателями Христианского Комитета) призвали Православную Церковь к поминовению в своих молитвах тех, кто мученически погиб за веру от рук коммунистов во время Гражданской войны и религиозных гонений. Более того, в письмах, направленных Патриарху и Русским Православным Церквам за границей¹ они указали на необходимость проведения подготовительной работы по канонизации наиболее видных мучеников этого времени. "Московский Патриархат, подчеркивается в письме, — исключительно из практических соображений, отказался от своих мучеников, и обрек их на забвение". Письмо также выражает сожаление, что Патриархия упустила благоприятную возможность потребовать официальной реабилитации по крайней мере отдельных мученически убитых православных иерархов в период т. н. "разоблачения культа личности", когда советский режим реабилитировал многих жертв своего террора.

В 1979 г. Христианский Комитет приветствовал принятое за год до того решение Русской Православной Синодальной Церкви за рубежом приступить к канонизации замученных клириков, выразив только одно пожелание, а именно, чтобы акция была бы по возможности предпринята соединенными усилиями всех Русских Православных Церквей. На второе решение Синодальной Церкви — рассмотреть вопрос о канонизации Николая II, Комитет реагировал осторожно, но в целом благоприятно, отметив сложность этой проблемы. В письме из трудового лагеря, попавшем на Запад, о. Глеб Якунин приветствовал канонизацию Новомучеников, осуществленную Русской Православной Церковью за рубежом Актом от 1 ноября 1981 г.

Последним средством воздействия на Патриархию, имеющимся в распоряжении Христианского Комитета и других православных активистов, была угроза возможного церковного раскола. В письме к Патриарху от августа 1978 года Комитет упрекал Патриарха в сотрудничестве с властями, в том, что он противится созданию новых приходов. Комитет предупреждал,

1. "Вольное Слово", № 28, Франкфурт, 1977.

что подобная позиция Патриарха в конце концов может привести к тому, что какой-нибудь епископ, будучи не в состоянии удовлетворить настойчивые просьбы верующих своей епархии, дозволит создание нового прихода, признающего юрисдикцию другой православной автокефальной церкви. Возможность того, что и сам епископ может перейти под юрисдикцию другой православной церкви не была высказана открыто, но подразумевалась. Комитет указал, что формально нет никаких канонических препятствий для перехода православных приходов в СССР в другую юрисдикцию, тем более, что аналогичные случаи имели место в Соединенных Штатах, где некоторые приходы Московской Патриаршей Церкви перешли под начало Автокефальной Православной Церкви в Америке.

Незадолго до ареста в ноябре 1979 года в своем последнем докладе Христианскому Комитету о. Глеб Якунин выразил мнение, что ходом исторических событий был нарушен один из основных канонических принципов — принцип организации Православной Церкви по территориально-географическому признаку. Ведь никакие канонические правила не могли предусмотреть появление "такой Поместной Церкви, которая отказывалась бы пасти своих духовных чад, отказывалась бы проповедовать Евангелие, поскольку это запрещается атеистическим государством". При таком положении вещей, считает о. Глеб Якунин, могут "иметь место исключения, вызванные условиями нашего времени", включая и принятие Православной Церковью в Америке (или какой-либо другой Православной Церковью) "под свою юрисдикцию преследуемую и страждущую православную паству из СССР".¹

Независимая и не желающая подчиняться авторитетам позиция православных активистов представляла собой угрозу существующей структуре церковно-государственных отношений в СССР. В случае распространения диссидентства, Патриарх мог оказаться перед лицом усиливающегося разброда внутри Церкви и вызова своему авторитету. Со своей стороны, власти понимали, что Патриархия и ее иерархия — главные орудия конт-

1. "Православный Вестник", Вашингтон, № 7-8, 1980, стр. 101.

роля над Церковью — нуждаются в укреплении по крайней мере внешнего своего авторитета (но, разумеется, не реальной их власти). И Патриархия и власти понимали, что активистов надо заставить замолчать. Доказательства их взаимного сговора отрывочны и случайны, но не исключены.

Аресты. Во время общего наступления на организованное диссидентство, начавшегося в 1978 г., властями были арестованы и отданы под суд наиболее видные православные активисты:

— *Александр Огородников* — член Христианского семинара, арестованный в ноябре 1978 г. В январе 1979 г. приговорен к одному году лагерей за "тунеядство".

— *Владимир Пореш* — член Христианского семинара, арестованный в августе 1979 г. В апреле 1980 г. приговорен к пяти годам лагерей плюс три года ссылки по обвинению в антисоветской деятельности (по статье 70 Уголовного Кодекса РСФСР).

— *Татьяна Щипкова* — член Христианского семинара, арестована в сентябре 1979 г. В январе 1980 г. получила три года лагерей по обвинению в хулиганстве.

— *Глеб Якунин* — православный священник, основатель и идейный вдохновитель Христианского Комитета по защите прав верующих, арестованный в ноябре 1979 года. В августе 1980 г. получил пять лет лагерей плюс пять лет ссылки по обвинению в антисоветской деятельности (ст. 70).

— *Лев Регельсон* — член Христианского семинара, арестованный в декабре 1979 г. В сентябре 1980 г. приговорен условно к пяти годам по обвинению в антисоветской деятельности. Признал себя виновным и покался.

— *Владимир Бурцев* — основатель Христианского семинара. В апреле 1980 г. приговорен к 18 месяцам лагерей по обвинению в "подделке документов".

— *Димитрий Дудко* — православный священник, получивший известность благодаря своим красноречивым проповедям. Арестован в январе 1980 г. В октябре 1980 г. приговорен к пяти годам условно. 20 июня 1980 г., выступая по советскому телевидению, покался в своей "антисоветской деятельности".

— *Виктор Капитанчук* — член Христианского Комитета,

арестованный в августе 1980 г. В октябре 1980 г. приговорен к пяти годам условно, после признания своей вины и раскаяния в "антисоветской деятельности".¹

60-летие восстановления Патриаршества, праздновавшееся в мае 1978 г., получило широкое освещение в советской массовой информации, включая и трехчасовую речь Патриарха, которую он произнес на приеме в гостинице "Советская". Начиная с 1980 г., Патриарху стали оказываться необычайные знаки внимания (по советским меркам) со стороны властей и средств массовой информации:

- Было разрешено увеличить число поступающих в православные семинарии.

- В марте 1980 г. ТАСС распространил довольно обширное сообщение, освещающее деятельность Синода Русской Православной Церкви и самой Церкви в "борьбе за мир".

- В авторитетной статье В. А. Куроедова, председателя Совета по Делах Религии при Совете министров СССР, опубликованной в журнале "Коммунист" (№ 5, 1980) последний критиковал различные вероисповедания в СССР, как якобы нарушающие советское законодательство о религии, но ни разу не упомянул в этой связи Православную Церковь и ее деятельность. Напротив, Куроедов одобрительно отзывался о работе Патриархии как "миролюбивой" и "поддерживающей внешнюю политику советского государства".

- 22 июня 1980 г. "Известия" сообщили о награждении Патриарха Пимена Орденом Дружбы Народов в связи с его 70-летием, 20 июня (т. е. как раз в тот день, когда отец Дудко каялся перед советскими телезрителями).

- Хотя в сентябре 1980 г. Церковь официально и не участвовала в праздновании 600-летия Куликовой Битвы, в средствах массовой информации отмечалась ее роль в возрождении русского национального самосознания.

- В начале октября 1980 г. Патриарх официально открыл предприятие по производству и реставрации предметов культа.

1. Добавим к этому списку Зою Крахмальникову, издателя и редактора сборника христианского чтения "Належда", арестованную в августе 1982 г. и до сих пор находящуюся под следствием. *РЕД.*

Хотя это предприятие и было построено на церковные деньги, разумеется, без одобрения властей оно бы не достигло и стадии сметного листа.

- Советский фильм о жизни Русской Православной Церкви, производства ЦСДФ, показанный 31 октября 1981 г. во время лекции Агенства Печати Новости, живописует церковную жизнь безо всяких антирелигиозных эксцессов, как существенный компонент современной советской действительности — службы, молящиеся, семинаристы со звучащим за экраном православным хором.

- 18 ноября 1981 г. на церемонии в Кремле, преданной гласности Агенством ТАСС, Первый Зам. Председателя Верховного Совета СССР Кузнецов вручил Патриарху Пимену Орден Дружбы Народов. Патриарх, выражая свою благодарность, заявил: "Мы, верующие Советского Союза, глубоко ценим заботу, проявляемую руководителями советского государства об улучшении жизни советских людей, преданность советских руководителей делу прочного мира, и от всего сердца желаем им дальнейших успехов в их благородной деятельности".

- В 1980-81 годах Церкви было разрешено осуществить ряд изданий религиозной литературы, включая — впервые с 1917 г. — объединенные Молитвенник и Псалтырь тиражом 150 тыс. экземпляров.

- В сентябре 1981 г. Патриарх Пимен торжественно открыл новый издательский центр в Москве, заменивший прежний, ютившийся в нескольких комнатах Новодевичьего монастыря (у Церкви, однако, так до сих пор и нет своей собственной типографии).

В свою очередь, Церковь продолжает поддерживать внешнеполитические акции советского режима за границей. Так, выступая на пресс-конференции в Мадриде, архиепископ Никодим горячо поддержал советскую позицию на Мадридской Конференции. Патриархия стала инициатором проведения

1. Последняя внешнеполитическая акция патриарха Пимена, продиктованная его советскими хозяевами — Послание президенту Рейгену от 28 марта 1983 г., опубликованное в виде платного объявления в New York Times в номере от 3 апреля 1983 г. и скрепленное подписью настоятеля Николасвского собора в Нью-Йорке Льва Махно. В этом послании Патриарх обвиняет президента Рейгена в

Международной конференции в Москве "Религиозные деятели против угрозы ядерной войны" в 1982 г.¹.

Во время арестов и судов над активистами-верующими, Церковь сохраняла позицию невмешательства и отчужденности. Во всех перечисленных выше случаях против отдельных верующих выдвигались уголовные обвинения, ни в коей мере не затрагивающие самое Церковь. Тот факт, что Патриархия никак не выступила в защиту обвиняемых, разумеется, нисколько не служит к украшению Московской Патриархии.

Тем не менее, в случае трех активистов, признавших свою вину, возникает вопрос — какие методы были использованы с тем, чтобы добиться от них покаяния, и какими при этом мотивами руководились сами обвиняемые. Информация, доступная нам о поведении на суде Регельсона и Капитанчука, полностью признавших свою вину, не проливает на этот феномен ни малейшего света. Ведь, насколько мы знаем, они вели себя достойно в продолжение процессов, не дали ни против кого компрометирующих показаний. Они оба признали, что их дела и писания повредили советским интересам и нарушили советские законы.

На процессе еще одного активиста, непокаявшегося о. Глеба Якунина, с показаниями выступили свидетели, занимающие определенное положение внутри Патриархии, что дает основания предполагать участие Церкви, по крайней мере, в этом судейском деле. Это были А. И. Осипов, профессор Московской Духовной Академии, и игумен Иосиф Пустовойтов — оба из Отдела Внешних сношений Патриархии. Они засвидетельствовали, что публицистика Якунина нанесла огромный ущерб деятельности Московской Церкви за границей. В частности, они заявили, что письмо Якунина, посланное в 1975 г. конференции Всемирного Совета Церквей в Найроби, причинило "непоправимый ущерб". Кроме того, они обвинили Якунина в подстрекательстве православных против советского режима. После про-

разжигании вражды к миролюбивому Советскому Союзу (Президент назвал СССР "an evil empire" и выразил надежду, что в недалеком будущем коммунистическое общество уйдет в небытие и будет вспоминаться только как "печальная и причудливая глава в истории человечества"). РЕД.

песса в интервью, данном агентству ТАСС, Пустовойтов заявил, что он выступал на процессе как частное лицо, а не как представитель Патриархии. Другим лицом, свидетелевавшим против Якунина, был Александр Шушанов, известный стукач КГБ, бывший переводчик Патриаршего Отдела Внешних сношений. Двумя годами раньше Якунин и Капитанчук разоблачили Шушанова как провокатора, но Патриархия никак не реагировала на это, и он продолжал занимать ответственную должность в церковном управлении.

В случае с о. Дмитрием Дудко Патриархия, однако, не сумела сохранить даже видимости позиции невмешательства, хотя и пыталась. Самые обстоятельства покаяния Дудко, как они были срежиссированы и преподнесены властями, не оставляют никаких сомнений в активной роли Патриархии в этом деле. Покаянное письмо, зачитанное Дудко по советскому телевидению 20 июня и опубликованное в "Известиях" на следующий день, датировано 5-м июня. Причины, по которым власти избрали именно 20 июня, чтобы представить Дудко по телевидению, стали понятны, когда 22 июня "Известия" сообщили о присуждении Патриарху Пимену Ордена Дружбы Народов по случаю его 70 летия, пришедшегося на 20 июня. Позже ТАСС предало гласности письмо Дудко к Патриарху с просьбой о прощении без всякого указания на то, что письмо, скорее, предшествовало, нежели воспоследовало телевизионному покаянию Дудко.

А. Левитин-Краснов, друг Дудко, дал объяснение тех обстоятельств, при которых Дудко был убежден принести свое покаяние. Согласно Левитину-Краснову, Дудко написал Патриарху, будучи в подавленном состоянии в период своего ареста и ожидания суда. Дудко хорошо знал Пимена: Пимен, в бытность свою Архиепископом Дмитровским, лично помог Дудко стать священником (что было непросто, т. к. Дудко только что был освобожден из лагеря) и лично посвятил его в сан. Таким образом, письмо дало КГБ возможность использовать в своих целях даже личные отношения Дудко и Пимена. По словам Левитина-Краснова, вскоре после того, как Дудко написал Патриарху, "его посетил в здании КГБ митрополит Ювеналий, который от имени Патриарха стал склонять Дудко подписать раскаяние. Я уверен, что митрополит говорил: "Это угодно Небу... Ваша паства то-

мится без вас. Сам Святейший просит об этом". Затем КГБ устроило свидание с Патриархом, привезя Дудко в Чистый переулок, Патриаршую резиденцию. И там он решил, наконец, сдаться. Впрочем, о роли Патриарха в этом деле можно было догадаться еще за месяц до этого, когда митрополит Ювеналий, во время своего визита в Бельгию, заявил: "Я думаю, что с отцом Дудко все обойдется благополучно".

Сразу после своего освобождения Дудко впервые отслужил литургию в Московском Новодевичьем монастыре совместно с митрополитом Ювеналием. Он стоял рядом с Ювеналием, когда тот произносил проповедь. Затем он получил приход под Москвой, где ныне и живет в уединении. В переправленном за границу письме Дудко выразил сожаление в связи со своим раскаянием. Как сообщают, он будто бы отказывается от дальнейшего сотрудничества с властями.

Хотя описываемые события и нанесли определенный ущерб облику Русской Православной Церкви и свидетельствуют о некотором разброде в ее рядах, все же нет никаких признаков того, что политика выживания через "непротивление насилию" может быть изменена.

Но брожение внутри Церкви существует, несмотря на все репрессии и преследования. Значительное число принадлежащих перу активистов полемических, исторических и богословских работ продолжает тайно циркулировать среди духовенства всех рангов и мирян. Подобно всем советским гражданам, православное духовенство подвержено шизофрении и лицемерию, двоедушию, столь характерным для всего морального строя советской жизни. Но, пребывая двоедушными, они видят перед собой пример евангелистских сект с их волей к жизни и упорством, или же пример сплоченных и хорошо организованных литовских католиков, среди недавних достижений которых — петиция Брежневу, подписанная 143 тысячами верующих. Среди обнадеживающих знаков внутри Православной Церкви стоит упомянуть о письме Брежневу, написанном епископом Феодосием Полтавским и Кременчугским в октябре 1977 г., в котором епископ красноречиво протестует против нарушений советских законов местными властями.

Проблемы, поднятые Христианским Комитетом, так и

остаются неразрешенными. Из всего сказанного можно сделать вывод, что Православная Церковь в СССР — пленница атеистического режима. Поэтому церковным активистам, стремящимся восстановить духовное здоровье Церкви, приходится бороться на два фронта — против церковной политики государства и против самой Церкви.

Игорь Белоусович

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ХРИСТИАНАМ

Вряд ли кому-либо из христиан свободного мира, интересующихся жизнью своих собратьев в СССР, неизвестно имя Глеба ЯКУНИНА — мужественного священника Русской православной церкви, руководителя Христианского комитета защиты прав верующих.

За исполнение своих пастырских обязанностей, за защиту прав верующих от посягательств воинствующих атеистов в лице руководителей СССР отец Глеб был арестован и осужден на 5 лет лагеря и 5 лет ссылки. Особую ярость гонителей религии в СССР вызвал тот факт, что отец Глеб оказался, как христианин, стоек, не отказался от своих религиозных убеждений и даже на суде продолжал беспощадно обличать врагов церкви. В марте 1981 г. отец Глеб прибыл в 37-й полит. лагерь. Продолжая исполнять свои пастырские обязанности, он, как мог, облегчал страдания узников. Всегда находил для них слова утешения и ободрения. И я, как духовный сын отца Глеба, свидетельствую, что сердца абсолютного большинства узников тянулись к мужественному и стойкому священнику, который для многих явился образцом христианина. И это вызвало особое бешенство КГБ: отцу Глебу запретили пользоваться Библией и иной религиозной литературой, которой до этого разрешали пользоваться в период следствия. В сентябре 1981 г. отец Глеб вынужден был начать голодовку с требованием возратить незаконно отобранную литературу. Его голодовка была поддержана большинством узников лагеря № 37¹. Как только не изощрались

Это "Обращение ко всем христианам" напечатано в ежемесячном обзоре "Религия и атеизм в СССР", март, 1983, № 3(184), выходящем в Мюнхене под редакцией Пьетро Модесто (800 Munchen 80, Röntgenstrasse 5). *РЕД.*

гос/ударственные/ органы, как только не глумились над чувствами священника: добивались запретить ему пользоваться Библией в зоне, до какого цинизма они только не доходили, ибо их пугало то, что, несмотря на все лишения, страдания, унижения отец Глеб находит в себе силы и несет людям столь необходимые им слова правды, истины, добра, милосердия.

Издевательство над священником, продолжавшееся несколько месяцев, было прекращено только тогда, когда вмешались христиане всего мира и потребовали от властей СССР уважать права верующих и вернуть литературу священнику. Литература была возвращена. Но КГБ и администрация ИТУ продолжают делать максимум возможного, дабы причинить как можно больше страданий отцу Глебу.

10 июля 1982 г. отец Глеб был водворен в ПКТ ИТУ 37 сроком на 4 месяца "за недостойное поведение и ведение религиозной пропаганды среди молодежи". 4 месяца пытки голодом, холодом и бессонницей — такова месть за стойкость и мужество священника. "Недостойным поведением" садисты от КГБ считают активное противодействие отца Глеба проведению карательно-"воспитательного" процесса в ИТУ, состоящего в причинении как можно больших страданий и унижений политзаключенным, которых не удалось сломить КГБ.

Да, отец Глеб активно разоблачал агентов и провокаторов КГБ: МАГДЕЕВА Р., поставившего свою подпись под грязной стряпней КГБ, которой последние безуспешно пытались опорочить правозащитников лагеря № 37; МИХАЙЛОВА О., террориста от КГБ, пытавшегося по заданию тех же "гуманистов" и "человеколюбцев" запугать стойких полит. узников лагеря № 37; СВЕРДЛОВА В., пытавшегося спровоцировать, по заданию КГБ, отца Глеба на передачу сведений военного характера, дабы потом привлечь его по ст. 64 УК РСФСР за измену Родине и дискредитировать его как священника и борца за права верующих в СССР. Но и этой, еще одной провокации КГБ не суждено было сбыться. Велико желание "правдолюбцев" от КГБ расправиться с отцом Глебом. Священнику вменяется в вину "ведение религиозной пропаганды среди молодежи". Что может быть чудовищней и нелепей? Это же все равно, что слышащему отрезать уши, говорящему вырвать язык, видящему выколоть

глаза, а любящему пронзить сердце за то, что он слышит, говорит, видит и любит. А в отношении священника ЯКУНИНА пытаются сделать сразу все это. Жестокость и злоба КГБ не имеют границ, история с отцом Глебом еще раз убеждает в этом. До какой степени бесчеловечности нужно дойти, чтобы запретить священнику исполнять свои обязанности и подвергать его за это физическим и моральным пыткам!

Сколь долго это будет продолжаться, зависит от всех христиан. Как православный христианин, духовный сын отца Глеба, я обращаюсь ко всем христианам, ко всем иерархам христианских церквей с призывом — возвысить свои голоса в защиту прав верующих в СССР, потребовать от советского руководства освобождения из заключения мужественного священника ЯКУНИНА, который подвергается пыткам, издевательствам и унижению за свои религиозные убеждения. Только совместными усилиями всех христиан мы сможем прекратить чудовищное уничтожение того, кто, взяв на себя обет служить Богу, столько раз облегчал наши страдания! Настал тот час, когда мы со всей решительностью должны выступить в защиту своего пастыря и облегчить его страдания.

Николай Ивлюшкин, православный п/з (†)

(Пермский лагерь № 37, вскоре после 10.7.1982)

(†) АС № 4800

СОГЛАШЕНИЕ ДОСТИГНУТО

ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Мы печатаем часть этих исторически чрезвычайно ценных документов из большой работы Ю. Фельштинского, за что приносим ему благодарность. По-русски эти документы печатаются впервые. Перевод сделан Ю. Фельштинским. РЕД.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1948 году государственный департамент США выпустил на немецком и английском языках сборник документов "Нацистско-советские отношения, 1939-1941 гг. Документы из архивов германского министерства иностранных дел"*. Этот сборник сразу привлек к себе внимание международной общественности, а в Советском Союзе, как и следовало ожидать, был подвергнут резкой правительственной критике. Более того. С целью хоть как-то парировать "удар", нанесенный советскому престижу американским правительством, в СССР была выпущена брошюра "Фальсификаторы истории", в которой доказывалось, что опубликованные в США документы — фальсификация.

Увы, никаких фальсификаций в опубликованных документах не было и нет. В 1939 году советское правительство действительно изменило курс своей внешней политики и пошло на сближение с нацистской Германией. В послевоенные десятилетия неоднократно поднимался вопрос о причинах этого сближения. Думается, что у историков есть полное основание считать родственными тоталитарные национал-социалистические и коммунистические системы. Однако целью этой публикации является не анализ причин советско-германского сближе-

*Das Nationalsozialistische Deutschland und die Sowjetunion, 1939-1941; Akten aus dem Archiv des Deutschen Auswärtigen Amts. Department of State, 1948.

ния, но лишь обнародование никогда ранее не публиковавшихся *по-русски* дипломатических документов. Предлагаемые читателю документы относятся к августу 1939 года, месяцу заключения советско-германского договора о ненападении, ставшего отправной точкой будущего сотрудничества двух стран и будущих трагедий двух народов.

Советско-германские переговоры, начавшиеся летом 1939 года, закончились подписанием 23 августа советско-германского Пакта о Ненападении. Договор считался гласным и широко публиковался в печати. Но одновременно с ним был подписан и так называемый секретный дополнительный протокол. В августе 1939 г. о нем знали немногие. Ю. Ф.

Имперский министр иностранных дел послу Германии в Советском Союзе [графу Шуленбургу].

Телеграмма. Отослана из Берлина 14 августа 1939 г.
— 22.53. Получена в Москве 15 августа 1939 — 4.40.

Очень срочно.

Москва.

№ 175 от 14 августа.

Лично послу.

Я прошу Вас лично связаться с господином Молотовым и передать ему следующее:

1. Идеологические расхождения между Национал-Социалистической Германией и Советским Союзом были единственной причиной, по которой в предшествующие годы Германия и СССР разделились на два враждебных противостоящих друг другу лагеря. Развитие последнего периода, кажется, показало, что различия во взглядах на мир не препятствуют деловым отношениям двух государств и восстановлению нового и дружественного типа сотрудничества. Период противостояния во внешней политике может закончиться раз и навсегда; дорога в новое будущее открыта обеим странам.

2. В действительности интересы Германии и СССР нигде не сталкиваются. Жизненные пространства Германии и СССР граничат друг с другом, но столкновения не являются их естественной потребностью. Таким образом, причины для агрессив-

ного поведения одной страны против другой отсутствуют. У Германии нет агрессивных намерений в отношении СССР. Имперское правительство придерживается того мнения, что между Балтийским и Черным морями не существует вопросов, которые не могли бы быть урегулированы к полному удовлетворению обоих государств. Среди этих вопросов следующие: Балтийское море, Балтика, Польша, Юго-Восточный район и т. д. В подобных вопросах политическое сотрудничество между двумя странами может иметь только положительный результат. То же самое относится к германской и советской экономике, которая может расширяться в любом направлении.

3. Нет никакого сомнения, что сегодня германо-советская политика пришла к поворотному пункту своей истории. Решения, принятые в ближайшем будущем в Берлине и Москве по вопросу об этой политике, будут в течение поколений иметь значение для отношений между германским и советским народами. От этих решений будет зависеть, придется ли когда-нибудь двум народам снова без какой-либо неотложной причины выступить друг против друга с оружием в руках, или же снова наступят дружеские отношения. Прежде, когда они были друзьями, обе страны получали совместную выгоду, и все стало плохо, когда они стали врагами.

4. Верно, что Германия и Советский Союз, в результате многолетней вражды их мировоззрений, сегодня относятся друг к другу с недоверием. Должно быть счищено много накопившегося мусора. Нужно сказать, однако, что даже в этот период естественные симпатии немцев и русских друг к другу никогда не исчезали. На этой базе заново может быть построена политика двух государств.

5. Имперское правительство и Советское правительство должны на основании всего своего опыта считать определенным тот факт, что капиталистические Западные демократии являются неумолимыми врагами, как Национал-Социалистической Германии, так и Советского Союза. Сегодня, заключив военный союз, они снова пытаются втянуть СССР в войну против Германии. В 1914 году эта политика имела для России катастрофические последствия. В общих интересах обеих стран избежать на все будущие времена разрушения Германии и СССР, которое

будет выгодно лишь Западным демократиям.

6. Кризис в германо-польских отношениях, спровоцированный политикой Англии, а также британская агитация за войну и связанные с этим попытки создания блока, делают желательным скорейшее установление ясности в германо-советских отношениях. В противном случае, независимо от действий Германии, дела могут принять такой оборот, что лишат оба правительства возможности восстановления германо-советской дружбы и совместного выяснения территориальных вопросов, связанных с Восточной Европой. Поэтому руководителям обоих государств следует не пускать события на самотек, а действовать в подходящее время. Будет губительно, если из-за взаимного недостатка понимания взглядов и намерений наши народы окончательно разойдутся в разные стороны.

Насколько нам известно, Советское правительство также желает ясности в германо-советских отношениях. Поскольку, однако, судя по предшествующему опыту, подобное наведение ясности может быть достигнуто лишь постепенно и через обычные дипломатические каналы, Имперский министр иностранных дел фон Риббентроп готов прибыть в Москву с коротким визитом, чтобы от имени фюрера изложить взгляды фюрера господину Сталину. Только такое непосредственное обсуждение может, на мой взгляд*, привести к изменениям; и таким образом, уже не будет казаться невозможной закладка фундамента для определенного улучшения германо-советских отношений.

Приложение: Я прошу Вас не вручать эти инструкции господину Молотову в письменном виде, а прочесть их ему. Я считаю важным, чтобы они дошли до господина Сталина в как можно более точном виде, и я уполномочиваю Вас в то же самое время просить от моего имени господина Молотова об аудиенции с господином Сталиным, чтобы Вы могли передать это важное сообщение еще и непосредственно ему. В дополнение к беседе с Молотовым условием моего визита поставлены широкие переговоры со Сталиным.

Риббентроп

*На взгляд Риббентрона. Ю. Ф.

**Германский посол в Москве [граф Шуленбург] в
Министерство иностранных дел [Германии].**

Телеграмма. Отослана в Берлин 15 августа 1939 г.
Получена в Берлине 16 августа 1939 — 2.30.

Берлин

Спешно.

№ 175 от 15 августа

На Вашу телеграмму № 175 от 14 августа.

Секретно!

Молотов с величайшим интересом выслушал информацию, которую мне было поручено передать, назвал ее крайне важной и заявил, что он сразу же передаст ее своему правительству и в течение короткого времени даст мне ответ. Он может заявить уже сейчас, что Советское правительство тепло приветствует германские намерения улучшить отношения с Советским Союзом, и теперь, принимая во внимание мое сегодняшнее сообщение, верит в искренность этих намерений.

В связи с прибытием сюда Имперского министра иностранных дел он хочет высказать в порядке гипотезы свое личное мнение о том, что подобная поездка требует соответствующих приготовлений для того, чтобы этот обмен мнений мог дать результаты.

В связи с этим его интересует вопрос о том, как германское правительство относится к идее заключения с Советским Союзом пакта о ненападении, а затем, готово ли германское правительство повлиять на Японию с целью улучшения советско-японских отношений и урегулирования пограничных конфликтов, и намеревается ли Германия дать возможные совместные гарантии Прибалтийским государствам.

Касательно поисков путей расширения коммерческих связей М[олотов] признал, что переговоры в Берлине развиваются успешно и приближаются к благоприятному исходу.

М[олотов] повторил, что если мое сегодняшнее сообщение включает в себя идею пакта о ненападении или что-то похожее, вопрос должен быть обсужден более конкретно, чтобы в случае прибытия сюда Имперского министра иностранных дел вопрос не свелся бы к обмену мнениями, а были бы приняты конкрет-

ные решения.

М[олотов] признал, что быстрота нужна для того, чтобы не быть поставленными перед совершившимися фактами, но отметил, что необходима соответствующая подготовка упомянутых им вопросов.

Подробный меморандум* о ходе беседы будет послан самолетом в четверг, специальным курьером.

Шуленбург

Меморандум германского посла в Москве [графа Шуленбурга]

Секретно.

Меморандум.

Я начал беседу с Молотовым около 20 часов 15 августа заявлением, что в соответствии с информацией, которая дошла до нас, советское правительство заинтересовано в продолжении политических переговоров, но что оно предпочитает, чтобы они происходили в Москве.

Молотов ответил, что это так.

Тогда я зачитал господину Молотову содержание инструкции, которая была мне прислана, причем немецкий текст сразу же, параграф за параграфом, переводился на русский. Я также информировал Молотова о содержании приложения к инструкции, которую я получил. Молотов принял к сведению мое сообщение о том, что по инструкции Имперского министра иностранных дел я прошу аудиенции с господином Сталиным, а также мое заявление, что в дополнение к беседе с Молотовым условием предполагаемого визита Имперского министра иностранных дел ставятся широкие переговоры с господином Сталиным. Молотов ответил согласительным жестом на желание Имперского министра иностранных дел о том, чтобы содержание инструкции было передано господину Сталину в возможно более точном виде.

Молотов выслушал зачитываемую инструкцию с напряженным вниманием и дал своему секретарю указание запи-

*См. следующий документ.

сывать как можно более полно и точно.

Молотов затем заявил, что ввиду важности моего сообщения он не может дать мне ответ сразу же, но должен сначала представить доклад своему правительству. Он может, однако, сообщить уже сейчас, что советское правительство тепло приветствует выраженное германской стороной намерение улучшить отношения с Советским Союзом. В данный момент, перед тем, как он в скором времени, после получения инструкций своего правительства, представит мне дальнейшие соображения, он хочет выразить свою собственную точку зрения относительно предложений германского правительства.

Поездка Имперского министра иностранных дел в Москву потребует обширных приготовлений, чтобы предполагаемый обмен взглядами принес какие-нибудь результаты. В связи с этим он просит меня сообщить ему, соответствуют ли следующие сообщения фактам.

В конце июня этого года советское правительство получило от своего Поверенного в делах в Риме телеграфное сообщение о беседе последнего с Министром иностранных дел Италии Чиано. В этой беседе Чиано заявил, что Германия разрабатывает план, целью которого является существенное улучшение германо-советских отношений. В этой связи Чиано указал на следующие пункты плана:

1. Германия не относится с неприязнью к идее использования своего влияния на Японию с целью улучшения ее отношений с Советским Союзом и прекращения пограничных споров.

Далее предусматривается возможность заключения с Советским Союзом пакта о ненападении и совместное гарантирование Прибалтийских государств.

3. Германия готова заключить с Советским Союзом торговый договор на широкой основе.

Содержание вышеперечисленных пунктов вызвало со стороны советского правительства большой интерес, и он, Молотов, очень хотел бы знать, в какой степени план, сформулированный Чиано в только что упомянутой форме советскому Поверенному в делах, соответствует действительности.

Я ответил, что заявление Чиано, очевидно, основано на сообщении, о котором мы уже слышали, здешнего итальянского

посла Росо. Содержание этого сообщения, в основном, зиждится на умозаключениях Росо.

На вставленный Молотовым вопрос, была ли эта информация выдумана Росо, я ответил, что она правильна лишь частично. Как знает Молотов, мы хотим улучшить германо-советские отношения и, естественно, обсуждаем вопрос о том, может ли произойти это улучшение и в какой степени. Результат этого обсуждения содержался в моих сообщениях, которые известны Молотову, и в заявлениях Имперского министра иностранных дел и господина Шнурре господину Астахову.

Молотов ответил, что вопрос о том, информировал ли Росо правильно свое правительство его более не интересует. Советское правительство в настоящий момент заинтересовано кроме всего прочего в получении информации о том, существуют ли в реальности планы подобные тем, которые содержались в сообщении Росо или что-нибудь подобное им, и придерживается ли все еще германское правительство этой линии. Он, Молотов, услышав сообщение из Рима, не увидел в нем ничего невероятного. В течение последних лет советскому правительству казалось, что правительство Германии не желает идти на улучшение отношений с Советским Союзом. Теперь ситуация изменилась. На основании бесед, которые имели место в течение нескольких последних недель, советское правительство вынесло впечатление, что германское правительство действительно искренно в своих намерениях внести изменения в отношения с Советским Союзом. Он рассматривает заявление, сделанное сегодня, как решающее и одно из тех, в котором это желание было выражено особенно полно и ясно. Что касается советского правительства, то оно всегда занимало доброжелательную позицию по вопросу об установлении хороших отношений с Германией, и оно радо, что и германская сторона теперь занимает такую же позицию. Не такую уж огромную важность представляет собой вопрос о том, действительно ли соответствовали германским намерениям пункты, содержащиеся в сообщении Росо. У него, Молотова, создалось впечатление, что в них было много правды, так как эти мысли соответствовали тем, которые выдвигались германской стороной в течение нескольких месяцев. В связи с этим он выразил удовлетворение

по поводу того, что экономические переговоры в Берлине продолжаются и несомненно обещают хорошие результаты.

Я заметил, что ход экономических переговоров удовлетворяет также и нас, и я спросил, как он представляет себе *modus procedendi** в дальнейших политических переговорах.

Молотов повторил, что кроме всего прочего он заинтересован в получении ответа на вопрос о том, имеется ли со стороны Германии желание уточнить более конкретно пункты, выделенные в сообщении Росо. Так, например, советское правительство хотело бы знать, видит ли Германия какую-нибудь реальную возможность повлиять на Японию с целью улучшения ее отношений с Советским Союзом. "А еще, как обстоят дела с идеей о заключении пакта о ненападении? Относится ли германское правительство к этой мысли с симпатией, или этот вопрос подробно еще не рассматривался?" — таковы точные слова Молотова.

Я ответил, что касается отношений с Японией, то Имперский министр иностранных дел уже говорил господину Астахову о том, что у него на этот счет есть свое собственное мнение. Таким образом, можно предположить, что Имперского министра иностранных дел может заинтересовать и этот вопрос, тем более, что его влияние на японское правительство определенно не маленькое.

Молотов заявил, что все это его очень интересует, и в связи с этим он вставил, что Чиано сказал советскому Поверенному в делах, что идеи сообщения Росо он поддерживает полностью. Он [Молотов] продолжил, что в связи с предстоящей поездкой в Москву Имперского министра иностранных дел советскому правительству было бы очень важно получить ответ на вопрос о том, готово ли германское правительство заключить с Советским Союзом пакт о ненападении или что-нибудь в этом роде. Ранее упоминалась возможность "восстановления и обновления прежних договоров".

Я подтвердил господину Молотову, что мы действительно обсуждаем новый порядок вещей — или на основании того, что происходило до этого, или же, возможно, на абсолютно новой

* *Modus procedendi* - порядок первоочередности. Ю. Ф.

основе. Я затем спросил его, могу ли я сделать вывод, что вопросы, поднятые им передо мной, заключают в себе существо беседы с Имперским министром иностранных дел в Москве и что он [Молотов] сообщил их мне только для того, чтобы я мог подготовить к этим вопросам Имперского министра иностранных дел.

Молотов ответил, что он все еще не готов сделать мне дальнейшие заявления по вопросу о визите сюда Имперского министра иностранных дел. Ему кажется, однако, что для подобной поездки необходимо предварительное выяснение и подготовка определенных вопросов, чтобы все не ограничилось просто беседами, проведенными в Москве, а были бы приняты решения. Он искренне присоединяется к моему заявлению о том, что желательно скорейшее уяснение. Он также придерживается мнения, что желательно поторопиться, чтобы ход событий не поставил нас перед совершившимися фактами. Он должен, поэтому, повторить, что если германское правительство настроено благожелательно к идее заключения пакта о ненападении и если мое сегодняшнее сообщение содержит эту или похожую идею, более подробное обсуждение этих вопросов состоится немедленно. Он попросил меня представить своему правительству информацию в этом духе.

Граф фон Шуленбург

Москва, 16 августа 1939 г.

Германский посол в Москве [Шуленбург] Государственному секретарю Министерства иностранных дел [Германии Вейцекеру].

Письмо

Москва, 16 августа 1939 г.

Многоуважаемый господин Государственный секретарь!

В связи с моим вчерашним разговором с господином Молотовым я хотел бы немедленно особенно подчеркнуть следующее:

Довольно неожиданно господин Молотов оказался угодлив и откровенен. У меня создалось впечатление, что предложение визита Имперского министра очень польстило лично господину

Молотову и что он рассматривает это как действительное доказательство наших добрых намерений. (Я напоминаю, что согласно официальным сообщениям газет, Москва просила, чтобы Англия и Франция прислали сюда министра и что вместо этого прибыл только господин Стрэнг, так как Лондон и Париж были разгневаны тем, что господину Ворошилову не разрешили принять приглашение на британские маневры, что, на самом деле, совершенно другой вопрос (поскольку высокопоставленные советские русские никогда не ездят за границу).

Во вчерашнем заявлении господина Молотова должна быть также по достоинству отмечена умеренность его требований по отношению к нам. Он ни разу не использовал слов "Антикоминтерновский пакт" и не требовал от нас, как он делал это в предыдущей беседе, "отказа" от поддержки японской агрессии. Он ограничил себя высказыванием соображения о том, что мы могли бы способствовать советско-японскому урегулированию.

Более существенным является его совершенно ясно выраженное желание заключить с нами пакт о ненападении.

Несмотря на все попытки, мы так и не смогли выяснить абсолютно точно, каковы пожелания господина Молотова в вопросе о Прибалтийских государствах. Похоже, что он упомянул о совместных гарантиях Прибалтийским государствам как об одном из пунктов сообщения господина Россо, но он не потребовал от нас определенно дать такие гарантии. Мне кажется, что подобные совместные гарантии находятся в противоречии с линией поведения советского правительства на англо-французских переговорах.

Все это в действительности похоже на то, что в переговорах здесь в данный момент мы как будто бы достигли желаемых результатов.

С сердечным приветом и с приветом Гитлеру [und mit Heil Hitler!], господин статс-секретарь, всегда преданный Вам

Граф фон Шуленбург

Секретный дополнительный протокол

По случаю подписания Пакта о Ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик ниже-

подписавшиеся представители обеих Сторон обсудили в строго конфиденциальных беседах вопрос о разграничении их сфер влияния в Восточной Европе. Эти беседы привели к соглашению в следующем:

1. В случае территориальных и политических преобразований в областях, принадлежащих Прибалтийским государствам (Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве), северная граница Литвы будет являться чертой, разделяющей сферы влияния Германии и СССР. В этой связи заинтересованность Литвы в районе Вильно признана обеими Сторонами.

2. В случае территориальных и политических преобразований в областях, принадлежащих Польскому государству, сферы влияния Германии и СССР будут разграничены приблизительно по линии рек Нарев, Висла и Сан.

Вопрос о том, желательно ли в интересах обеих Сторон сохранение независимости Польского государства и о границах такого государства будет окончательно решен лишь ходом будущих политических развитий.

В любом случае оба Правительства разрешат этот вопрос путем дружеского соглашения.

3. Касательно Юго-Восточной Европы Советская сторона указала на свою заинтересованность в Бессарабии. Германская сторона ясно заявила о полной политической незаинтересованности в этих территориях.

4. Данный протокол рассматривается обеими Сторонами как строго секретный.

Москва, 23 августа 1939 г.

За Правительство
Германии
И. Риббентроп

Полномочный представитель
Правительства СССР
В. Молотов

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ОХОТА НА ЭМИГРАНТОВ

В газете "Русская Жизнь" (Сан Франциско) в номере от 11 марта с. г. напечатано такое "письмо в редакцию":

"Многоуважаемый Апполон Александрович!

Покорно прошу поместить нижеприведенное письмо, которое является отражением мыслей целой группы членов Русского Центра.

Русские во всем свободном мире уже больше 60-ти лет решительно выражают свой гнев поступками советских правителей и их приспешников. У нас в Русском Центре ежегодно в ноябре отмечается «День скорби и непримиримости». Здесь же в Сан Франциско, по злополучному договору между правительствами США и СССР, официально работает советское консульство, которое безнаказанно раскинуло свои сети для улова наивных, недалеких и беспринципных людей. Какое-то небольшое число по своей простоте или глупости в эти сети влипают. Но есть и такие, кто за пресловутые 30 серебрянников рубят сук, на котором они сами сидят...

Основатели Русского Центра стремились создать «русский дом», в котором сохранится кусочек России с ее традиционной культурой, бытом и духом, то есть со всем тем, что планомерно уничтожалось после революции теми, кому на Россию наплевать... Было признано, что в Русском Центре должна царствовать политическая свобода, но с «непримиримостью к бесчеловечному современному режиму, бережно относясь к историческому прошлому покинутой родины, русскому народу, его святыням и с благоговейной памятью к умученным и убиенным отцам и братьям...».

И вот, в стенах Русского Центра на Татьянинном балу в сопровождении странных лиц появляется советский вице-консул! Как это объяснить? Где совесть тех, кто об этом знал и ничего не предпринял? Почему этих непрошенных гостей не вывели с полицией? Ведь будучи частным клубом, ежедневно объявляющим на страницах «Русской

Жизни», что он является АНТИКОММУНИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, безопасность непрошенных «гостей» гарантироваться не может. Нам кажется, нацистский вице-консул в еврейский клуб носа сунуть не посмел бы. А визитерам из советского консульства очень повезло, поскольку о их присутствии не стало известно тем, кто пострадал от советской власти, которую они здесь представляют. А таких жертв в Сан Франциско немало! Дальнейшие визиты советчиков в Русский Центр могут кончиться не так благополучно, как это было на Татьянинном балу.

А. Захарова

О ГЕН. Б. А. ШТЕЙФОНЕ (Письмо в редакцию)

Многоуважаемый г-н редактор, не откажите в любезности поместить в Вашем журнале это письмо. В "Новом Журнале", в кн. 138, 139, 145, были опубликованы статья др. В. М. Зернова, заметки Б. Прянишникова и Левашова с весьма неблагоприятными сведениями из биографии ген. Б. Штейфона. Но гораздо более неблагоприятный для биографии этого генерала факт опубликовал в газете "Нов. Русс. Слово" от 24 октября 1982 г. профессор-историк князь А. П. Щербатов. В 1945 году, в Германии, кн. Щербатов работал над разборкой так называемого Смоленского Архива НКВД, во время войны попавшего к немцам, а потом переданного в Центр документов американской армии в Баварии. Кн. А. П. Щербатов пишет: "Интересно отметить, что, разбирая архив, немцы узнали, что генерал Б. А. Штейфон, командир русского охранного корпуса в Югославии (после Скородумова) был в контакте с Третьяковым. Генерал Штейфон умер при очень загадочных обстоятельствах. Официального вскрытия тела не было".

Известно, что соратник ген. Скоблина в деле похищения ген. Миллера С. Н. Третьяков на основании бумаг Смоленского Архива был разоблачен немцами, как советский агент, арестован и расстрелян. Если бумаги Смоленского Архива устанавливали связь ген. Штейфона с С. Третьяковым, то "смерть во сне" ген. Штейфона представляется не столь уж загадочной.

С уважением В. Южин

БИБЛИОГРАФИЯ

ЗАПИСКИ РУССКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ В США. Т. 15

Вышедший недавно 15-й том Записок Русской Академической группы целиком посвящен русскому искусству 16-20 веков. Подзаголовок гласит — "На избранные темы". Действительно, все статьи касаются лишь отдельных течений, аспектов или художников указанного отрезка времени, не претендуя на полный охват истории русского искусства этого периода. Тем не менее по глубине знаний и серьезности подхода все статьи представляют собой значительный вклад в русское искусствоведение. Но не только в этом ценность 15-го тома. Как и предыдущие издания Русской Академической группы, он содержит статьи на русском, английском и французском языке и рассчитан, таким образом, не только на русского читателя. Да и сами авторы различны по своему опыту. Некоторые из них принадлежат к старой эмиграции, другие — природные американцы и англичане. Наталья Тетерятникова — представитель "третьей волны", а Алла Русакова живет в России и статья ее, по понятным причинам, печатается без ее ведома. Но всех их связывает глубокая любовь к русскому искусству, а также убеждение, что художественное наследие России до сих пор недостаточно знакомо Западу. И в этом — одна из целей публикации 15-го тома Записок Русской Академической группы.

"Не подлежит сомнению, что на Западе, после сравнительно долгого забвения, сейчас пересматривают и заново оценивают русское искусство как с интеллектуальной, так и с коммерческой точки зрения", — пишут в предисловии к Запискам редакторы Надежда Жернакова и Джон Э.Боулт. "Многочисленные публикации, симпозиумы, выставки и аукционы привлекли внимание публики к русскому искусству, которое часто подвергалось несправедливой критике по причинам политическим и чисто академическим. Это касается в особенности русского искусства 19-20 веков. Только сейчас мы начинаем понимать, что русская живопись и скульптура этого времени являлись частью общеевропейского искусства и внесли много оригинального и ценного в развитие реализма, символизма, конструктивизма и других современных течений".

Все статьи (их 15) можно приблизительно разделить на три группы. К первой относятся статьи о старом русском искусстве: "О значении изображений св. Никиты, бьющего беса" Натальи Тетерятниковой,

"Поздняя иконопись на Руси" Мэри Шамо, "Русское искусство 16-го века в свете исторического процесса" Сергея Зеньковского и "Московское барокко — спорный вопрос" Линдзи Хьюза. Во второй группе статей рассматривается русское искусство 19-го века. Это "Творчество Александра Иванова" Евгения Климова, "Мое знакомство с художником Поленовым" Василия Арсеньева, "Символизм в русской живописи" Аллы Русаковой и "Наследие Лермонтова: "Демон сидящий" и "Демон поверженный" Врубеля" Джанет Кеннеди. И, наконец, третья группа статей посвящена русскому искусству 20-го века: статья Джона Э. Боулта "Любовь Попова как художница", Натали Ли — "Исконно русские мотивы у Кандинского" и Мэтью Фроста — "Николай Пунин и критика как "наука". К этой же группе надо отнести и четыре статьи Никиты Лобанова — "Моя коллекция русской театральной живописи", "Дмитрий Бушен", "Владимир Желдинский" (соавтор — М. Л. Желдинская) и "Русская живопись начала 20-го века — несколько определений".

Комментировать каждую статью в рамках краткого обзора чрезвычайно трудно. Неизбежны общие, описательные характеристики, которые мало что говорят. Остается только порекомендовать интересующимся приобрести этот 15-й том. Как русский, так и нерусский читатель найдет в нем обширный, интересный и хорошо иллюстрированный материал о русском искусстве. Отрадно также, что ни одна статья не засорена тем "техническим" жаргоном, к которому склонны иногда некоторые искусствоведы, желающие объяснить сложные явления еще более сложным языком.

Себе же я позволю остановиться только на тех местах отдельных статей, которые меня лично заинтересовали. Хочется, в первую очередь, отметить прекрасную статью Джона Э. Боулта о рано скончавшейся талантливейшей Любове Поповой. "Попова была одним из наиболее трезвых, наиболее последовательных и рационально мыслящих членов русского авангарда", пишет он. "Ее бесфигурные архитектурные композиции 16-го года и последующих лет принадлежат к "чистейшей" живописи 20-го века". Джон Боулт отмечает с удовлетворением, что простые композиции цветowych плоскостей в ее работах "не заставляют нас задумываться над "мистическим", "космическим" их значением и спрашивать себя, насколько они выражают "русскую душу". Работы Поповой, считает он, во многом близки тенденциям американского искусства после 2-й Мировой войны.

В статье Натали Ли об "Исконно русских мотивах у Кандинского" интересным и несколько спорным было для меня то место, где она проводит известную параллель между Кандинским и Врубелем. Отмечая, что Кандинский, как и Врубель, был заинтересован во внутреннем мире человека и что оба художника разрушали внешнюю форму для выявления внутренней сущности, она пытается объяснить то "непонятное молчание", которым Кандинский обходит Врубеля в своих записках. Вызвано оно, по догадке Натали Ли, тем, что Кандинский не хотел в какой-либо мере быть открыто связанным с "сумасшедшим декадентом" Врубелем, как того часто называли его недруги. Желая все же доказать известную связь Кандинского с Врубелем, Натали Ли сопоставляет рисунок последнего "Всадник" (иллюстрация к "Демону" Лермонтова) с гравюрой на дереве Кандинского "Лирическое". В обоих случаях мы видим всадника на стремительно несущемся коне. Внешне сходство, действительно, большое. Однако, по духу своему и технике гравюра Кандинского кажется мне гораздо ближе к работам немецкого экспрессиониста Франца Марка, у которого много упрощенно-динамических животных образов. Творчество Марка, убитого на войне в 1916-ом году, было, конечно, не менее знакомо Кандинскому, чем творчество Врубеля. И, думается, ближе ему по духу, т. к. у Марка нет ни тени иллюстративности. А иллюстративность, доходящая иногда до грани банальности, была присуща Врубелю (Царевна-Лебедь, Морская Царевна и ряд других работ). В целом же Натали Ли делает обстоятельный обзор всех русских влияний, которым подвержено было творчество молодого Кандинского — от русской иконы и народного лубка до Рериха, Бакста и Билибина.

Такой же тщательной аргументацией отличаются статьи Натальи Тетерятниковой и Мэри Шамо. Название статьи Сергея Зеньковского "Русское искусство 16-го века в свете исторического процесса" говорит само за себя. Выдающийся критик дает широкую картину всех колебаний, потрясений и переориентаций русского искусства в описываемый им период. Не менее интересна статья Линдзи Хьюза о русском барокко, посвященная памяти скончавшегося в прошлом году в Англии ученого Николая Ефремовича Андреева.

Если старое и новое русское искусство "принято" Западом, то искусство 19-го века, как правильно замечают редакторы Записок, во многом еще не оценено или оценено, с русской точки зрения, неверно. Кто из нас не слышал сетований на то, что Запад игнорирует Репина, Серова, Леви-

тана и других русских художников, считая их провинциальными? Кто не знает, что многие западные художники подобного же направления по таланту слабее наших мастеров, но тем не менее пользуются уважением и почетом, в то время как о русских говорится со снисходительной улыбкой? Все эти несправедливости, действительно, имели место в истории искусства 19-го века. Но несправедливость несправедливости рознь и только детальная художественно-историческая оценка отдельных художников или течений живописи может определить степень недооценки.

Большая статья Аллы Русаковой "Символизм в русской живописи" касается именно этой проблемы. "Прошло уже около трех десятилетий, как произошло второе открытие символизма в изобразительном искусстве Европы, а волна острого интереса к нему не спадает, — пишет она. — Однако из общей картины европейского символизма в течение долгого времени выпадало одно звено: совершенно игнорировался символизм в изобразительном искусстве России рубежа веков. В последние годы эта несправедливость была в известной мере исправлена, главным образом силами западных исследователей, в первую очередь профессора Джона Э. Боулта, автора серьезной монографии о группе "Голубая роза" и ряда статей о некоторых аспектах живописного символизма в России вообще". Далее Русакова подчеркивает, что, в то время как западный символизм интенсивно развивался "вширь" и пользовался языком разных художественных стилей — академизма, натурализма и изредка даже импрессионизма, русский живописный символизм при самом своем рождении заговорил на особом (для русского искусства того времени), присущем только ему языке, и заговорил достаточно определенно и внятно". Много места она уделяет творчеству Михаила Врубеля. В одном месте она говорит, что "живопись Врубеля в целом не имеет прямых аналогий в искусстве Запада". Позволю себе с этим частично не согласиться. Если мы обратимся к тематике Врубеля, то мы увидим у него значительное заимствование у Запада. Взять хотя бы его известную акварель "Пирующие римляне", определенно навеянную модной в то время тематикой античного жанра. Затем — его многочисленные панно "Полет Фауста и Мефистофеля", "Гамлет и Офелия", "Фауст и Маргарита", эскизы для цветных стекол "Рышарь", "Ромео и Джульетта". Не только тематика, но и характер их исполнения носят следы немецкого Югендштиля. Говоря о произведениях Врубеля, созданных под знаком национального романтизма ("Микула Селяни-

нович", "Богатырь", "Пан", "Морская царевна", "Царевна-Лебедь") сама Алла Русакова признает, что это были "попытки воскресить — в русле стиля *модерн* (полчеркнуто мною) — образы, решения и приемы народного искусства". Что касается многочисленных вариантов "Демона", то, при всей их оригинальной живописной трактовке, динамизме и философско-религиозной направленности, они тоже во многом следуют известным настроениям западного искусства конца прошлого и начала нашего века.

Все вышесказанное не имеет целью преуменьшить значение Врубеля для русского искусства. "Врубель был нашей эпохой", — цитирует Русакова Петрова-Водкина. Влияние его на последующие поколения русских художников было чрезвычайно велико и, как творческая индивидуальность, он, конечно, единствен в своем роде. Однако, мы все же сталкиваемся в его лице с фактом первоначального заимствования у Запада, которое замечается в русском искусстве — и с той значительной поправкой, что гений русского народа всегда перевоплощал заимствованное и создавал свои собственные ценности, часто превосходившие оригиналы. Так ведь было и с иконой, и с русским балетом, и с русским авангардом.

Малобудительной для автора этих строк кажется также характеристика Аллой Русаковой творчества Борисова-Мусатова. Отмечая, что творчество его "вполне сопоставимо с рядом явлений французского искусства", она пишет: "...в конечном же итоге близким Мусатову оказывается синтетизм Гогена, а особенно искания "наби". Эти определения справедливы лишь аналитически. Изобразительное искусство воздействует на нас непосредственно, силой своих живописных образов, и в этом смысле нет ничего общего между архаической упрощенностью и почти фовистским цветом таитянских композиций Гогена и лирическими, полными ностальгии женскими фигурами Борисова-Мусатова на фоне усадеб, садов и прудов. Прекрасная и, повторяю, аналитически верная статья Аллы Русаковой проходит, таким образом, мимо самой визуальной магии и качества образов упомянутых ею художников. Но в высшей степени интересны и детальны ее анализы художников "Голубой розы", "Четырех искусств", она дает широкую картину творческих устремлений русских художников описываемого ею времени.

Пользуясь привилегией говорить лишь о том, что меня лично заинтересовало в 15-м томе, хочу отметить две статьи

Никиты Лобанова "Дмитрий Бушен" и "Владимир Жедринский". (Вторая статья содержит биографические данные о художнике, написанные по-французски его вдовой М. Л. Жедринской).

Дмитрий Дмитриевич Бушен, которому в этом году исполняется 90 лет, работал почти всю свою жизнь во Франции. Русский период его творчества очень короток. Но он принимал участие в выставке "Мира искусства" в Петрограде в 1917 году, а с 1918-го по 1925-й год был куратором Эрмитажа. С 1926-го года и до последнего времени его творческая деятельность заключалась в работе для театра. Бушен создал многочисленные эскизы костюмов и декораций для опер и балетов, поставленных в Париже, Лондоне, Риме, Милане, Лиссабоне и других крупных европейских городах ("Лебединое озеро", "Евгений Онегин", "Жар-птица", "Ромео и Джульетта" Прокофьева, "Коронация Поппеи" Монтеверди, пьесы Жироду "Тесса" и "Электра" и многие другие). "Справочник современного балета" (Париж, 1959 г.) так характеризует его искусство: "Бушен ...обладает даром театральной магии. Его "дизайн" свободен, легок, почти эскизен. Архитектура скорее намечена, чем уточнена. Легкие, чистые краски. Его костюмы просты, ограничены в цвете, со свободным использованием ткани. Театральный мир Бушена — это невесомая, сказочная атмосфера, готовая исчезнуть при первом дуновении ветра".

Скончавшийся в 1974-м году Владимир Иванович Жедринский работал в течение 21-го года в Народных театрах Белграда и Загреба, где им создано было 135 постановок. В 1951-м году он эмигрировал в Марокко, где провел два года. Муниципальный театр в г. Касабланка поставил в его декорациях и костюмах "Кармен", "Сказки Гофмана", "Свадьбу Фигаро", "Самсона и Далилу", "Фауста" и ряд других опер. Вернувшись в 1952-м году в Европу, Жедринский продолжал свою творческую работу художника-декоратора в разных городах Франции, Бельгии и Югославии. Очень жаль, что театральные работы обоих художников в 15-м томе не воспроизведены, хотя Жедринский представлен в нем серией блестящих портретных шаржей известных представителей русской культуры в эмиграции — Мережковского, Куприна, П. Струве и других.

В заключение хочется поблагодарить Русскую Академическую группу и редакторов 15-го тома профессоров Надежду Жернакову и Джона Э. Боулта за столь серьезную и нужную публикацию о русском искусстве. В конце предисловия редакторы посвящают 15-ый том

“неукротимому духу русского искусства” и выражают надежду, что том этот поддержит процесс открытия заново и новой оценки русского искусства. Задачу эту 15-й том выполняет блестяще.

Сергей Голлербах

НОВОЕ ОБ ИКОНОСТАСЕ*

Книга Наталии Николаевны Первушиной (по мужу — Лябрек) важна, интересна и поучительна. В ней мы найдем самое полное исследование по истории православного иконостаса. Иконостас — слово греческое, византийской эпохи. Значило оно в позднегреческом, как указал проф. М. Фасмер, стояние, местопребывание икон: эйкон — образ, вернее, подобие и стасис — стояние. Отсюда иконостас — перегородка, ограда с иконами, отделяющая алтарь от молящихся в церкви. Иконостас отличает православные церкви от католических и других исповеданий, где алтарь открыт. История этой особенности православных и особенно русских храмов давно занимала умы ряда историков (Голубинский), византологов, архитекторов и историков искусства. Делались не всегда вполне обоснованные предположения, что русский иконостас возник в чисто деревянных церквах. Дело же было гораздо сложнее, что доказывает труд доктора философии Н. Н. Первушиной.

Дочь известного профессора Н. В. Первушина, Наталья Николаевна написала свою докторскую работу на тему иконостаса. Книга написана на превосходном французском языке и вероятно вскоре выйдет и по-немецки. Большой труд Наталии Николаевны доказывает, что развитие иконостаса в России связано с его историей у южных славян, ранее нас принявших христианство от Византии. Книга Первушиной-Лябрек украшена рядом фотографий иконостасов и икон великих мастеров православной иконописи. Для широкой публики и иностранцев прибавлены хорошо составленные объяснения ряда терминов типа: Деисус, славянофилы и т. п. Семь глав книги говорят о пути развития иконостаса — от примитивной ограды до полного развития и расцвета. Не забыты и заграничные церкви. Все книга написана с любовью и большим знанием предмета.

Р. Плетнев

*Nathalie Labreque-Pérvouchine. L'Iconostase. Une évolution historique en Russie. Ed. Bellarmin, Montréal. 1982. pp. 298.

РУССКО-НЕМЕЦКИЙ "КРЫСОЛОВ"

Marina Cvetaeva. Крысолов. Der Rattenfänger. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Marie-Luise Bott; mit einem Glossar von Günther Wytrzens. Wien, 1982. 326 S. (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 7).

В 1981-1982 гг., в связи с двойной годовщиной — 40-летием со дня гибели и 90-летием со дня рождения и в СССР и на Западе появилось множество публикаций, так или иначе посвященных Марине Цветаевой. Среди важнейших изданий 1982 года — двуязычный (русско-немецкий) полный текст первой редакции поэмы "Крысолов", вышедший как 7-й специальный выпуск Венского Альманаха Славистики. Этот альманах уже много лет выпускается Институтом славистики Венского университета: в 1981 году был издан специальный выпуск, целиком посвященный Цветаевой.¹

"Крысолов" был написан в 1925 году: начат ранней весной в Чехословакии и закончен осенью во Франции. Поэма из номера в номер печаталась в пражской "Воле России" с апреля 1925 по январь 1926 года. Помимо журнального текста, сохранилась цветаевская правка на отписках, сделанная в 1938-39 гг.: во второй редакции Цветаева внесла незначительные поправки, изменила ряд слов и кое-где уточнила пунктуацию. "Крысолов" вошел в советский однотомник "Библиотеки поэта" с несколькими купюрами, затушевывающими направленность авторской сатиры. Таким образом, в описываемой книге впервые после журнальной публикации воспроизводится полный текст поэмы. Вторая редакция "Крысолова" входит в 4-й том собрания поэзии Цветаевой, который выходит в этом году.

Текст поэмы напечатан параллельно — страница к странице — на русском и немецком языках, в переводе Марии-Луизы Ботт. Ей же принадлежит предисловие и комментарий, который можно без преувеличения назвать образцом исследования цветаевского творчества.

В предисловии прослежена история создания поэмы (в приложении к комментарию даются некоторые источники, несомненно, использованные Цветаевой: это, прежде всего, легенда "Гаммельнские дети" из собрания братьев Гримм, стихи Гёте "Крысолов" и Гейне "Бродячие

1. Marina Cvetaeva. Studien und Materialien. Wien, 1981. 308 S. (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 3).

крысы”), а также краткий обзор откликов современников на публикацию. Особенно интересен отрывок из письма Б. Пастернака, где он описывает Цветаевой свою реакцию: “Силы, двинутые тобой в вещь, страшно близки мне, и особенно в прошлом. Не прочти я “Крысолова”, я был бы спокойнее в своем компромиссном и ставшем уже естественным пути”. Пастернак, сам того не ведая, подтверждает правоту кн. Святополка-Мирского, написавшего: “Несомненно, что “Крысолов”... — не только изумительная по богатству и стройности словесная постройка, — это серьезная “политическая” (в самом широком смысле) и этическая сатира, которой еще может быть суждено сыграть свою роль в росте нашего общего сознания”.

Действительно, в “Крысолове” Цветаева ярче всего выразила свое кредо (в равной мере творческое и жизненное, ибо эти два начала она не умела и не хотела разделять): его краеугольный камень — индивидуальное творчество — музыка, поэзия, — возвышающее человека над биологией жизни и приближающее его к бессмертию более надежному, нежели любая из религий. Музыкант (поэт) вне суда, и Крысолов творит своей музыкой справедливость, хотя бы и справедливость жестокую.

В поэме четко выражена проекция этого кредо на общественные ситуации: поэт не принимает благополучного буржуазного покоя, если в нем не остается места для творчества. Поэтому крысы-большевики появляются вначале как сила справедливого возмездия, и автор готов принять их сторону. Когда же, завладев припасами, они превращаются в новых буржуа, Крысолов, играя на забытых ими идеалах, осуществляет историческое возмездие.

Многозначная и многоплановая цветаевская поэма содержит в себе весь опыт революционности и контрреволюционности. В то же время она намного больше, чем простая аллегория русской революции, ибо сказанное в ней относится не только к любой революции, но и к тому, что больше: к проявлению человеческого духа, место которого не в конкретно-историческом отрезке времени, а в вечности.

Текст “Крысолова” чрезвычайно насыщен ассоциациями, аллюзиями, яркими находками: это одно из высочайших достижений цветаевской лироэпической поэтики. По сюжету (и по авторской привязанности) большое место в поэме занимают немецкие слова и корни, мастерски вплетенные в русскую словесную ткань. Комментарий М.-Л. Бетт позволяет, наконец, оценить словесное и образное богатство поэмы не только на уровне непосредственного речевого сообщения, но и

на уровне тех оттенков смысла, которые выявляются лишь при тщательном изучении текста в трех различных измерениях.

Это, прежде всего, связь "Крысолова" — образная и словесная — с другими сочинениями Цветаевой: стихами, прозой, письмами, — в которых она касается того же круга вопросов, что и в поэме. Следующий важный элемент — связь поэмы с русской литературой, влияния и заимствования у предшественников и современников. И, наконец, третий, чрезвычайно существенный фактор: опыт немецкой литературы, которую Цветаева очень любила и хорошо знала.

К сожалению, объем рецензии не позволяет привести все интересные находки М.-Л. Ботт, — особенного внимания заслуживают параллели с "Бедными людьми" Достоевского, а также последовательный анализ сходства цветаевских слов и образов с Маяковским: из комментария видно, что "Крысолов", помимо всего прочего, это еще и ответ (часто — полемический) Маяковскому с его "Мистерией-Буфф", окнами РОСТА и многочисленными политически плакатными стихами 1918-1924 гг. Интересны и аналогии, выявленные со стихами Пастернака (что легко объясняется тесной творческой связью двух поэтов в эти годы) и — достаточно неожиданно — Хлебникова, Гумилева и даже Анненского.

Разумеется, родной немецкий язык комментатора и глубокое знание немецкой литературы позволили найти интереснейшие языковые и литературные ассоциации с немецкой словесностью. Так, русскоязычному читателю совсем не ясно, почему вдруг из блистательной метрики "Крысолова" выпадает двустопное:

Без головы, чем без
Пуговицы...

(Речь идет о чрезвычайно важной роли пуговицы, лишь застегнувшись на которую человек может считаться благонамеренным, а потому полноценным гражданином). Разгадка оказывается проста: Цветаева срифмовала по-немецки: Копф и Кнопф!

Аллюзии и ассоциации с "Фаустом" Гёте, описанные в комментарии, сами по себе могут составить полноценное исследование. В "Паралипоменах к "Фаусту" у Гёте гаммельнский Крысолов оказывается близким другом Мефистофеля, то есть носителем демонического

2. М. И. Цветаева, Несобранные произведения, Мюнхен, W. Fink Verlag, 1971.

начала. Это существенно дополняет наше знание о заглавном герое, у Цветаевой лишь обозначенном: именно поэтому так важны сведения об истоках этого персонажа.

Восемьдесят страниц комментария, напечатанного самым убористым шрифтом, будут интересны любому читателю "Крысолова" (единственным препятствием к их прочтению может стать незнание немецкого языка).

М.-Л. Ботт проделала гигантскую работу: ведь она еще и перевела поэму на немецкий! Даже не знающий немецкого языка легко может себе представить, насколько труднопереводима Цветаева вообще, и "Крысолов" — в частности. Перевод М.-Л. Ботт — подстрочный, а потому особенно ответственный. Существенное место в комментарии занимают объяснения тех или иных слов, того или иного выбора эквивалентов. Эти объяснения заслуживают упоминания хотя бы потому, что в них переводчик стремится "дойти до сути" трудного слова или оборота, призывая на помощь словари, контекст и языконосителей. По недостаточному знанию немецкого мы не можем проверить точность перевода, однако, по материалам комментария мы убеждены, что выполнен он со всей возможной добросовестностью.

Заключительный раздел книги составляет работа профессора Гюнтера Вытженса, опытного исследователя цветаевского творчества, автора множества публикаций, посвященных Цветаевой и составителя прекрасного тома цветаевских текстов, дополнивших советский том "Библиотеки поэта"². Это — статистический анализ словарного состава "Крысолова". Из него, в частности, мы узнаем, что в тексте поэмы Цветаева использовала 2701 русское слово (все они даны с немецкими эквивалентами) и 33 иностранных слова, из которых 26 — немецкие. К общему словарному своду добавлены сведения о частотном распределении слов в тексте. Можно надеяться, что эта работа станет первым этапом на пути к созданию в перспективе полного словаря языка Цветаевой, который можно с уверенностью назвать одним из самых богатых, разносторонних и выразительных авторских языков русской словесности.

Александр Сумеркин

"КРОЛИКИ И УДАВЫ" ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Имя Фазиля Искандера хорошо известно читателям в Советском Союзе. Его роман "Сандро из Чегема", опубликованный полностью издательством "Ардис" в 1979 году, принес Искандеру известность и на Западе. Хотя Искандер и дает свои жизненные концепции и миропонимание на исторических и бытовых примерах жизни маленькой Абхазии, всякому ясно, что мысль автора простирается много дальше. Фазиль Искандер далёк от конформизма, соглашательства, единомыслия, поэтому, чтобы избежать пут соцреализма, он вынужден прибегать к иносказательности. В СССР существует солидный пласт бездомной или самиздатской литературы, так как многие писатели-нонконформисты заведомо знают, что им не перескочить за рамки "той муторной инерции, — как было сказано в предисловии к альманаху "Метрополь", — которая существует в советских журналах и издательствах". Однако, несмотря на существующую в СССР боязнь и неприязнь всякой "непохожести", произведения Фазиля Искандера печатаются в советских изданиях. Но его "Кролики и удавы", недавно выпущенные издательством "Ардис", вряд ли когда-либо будут опубликованы на родине автора.

Книга "Кролики и удавы", несмотря на иносказательность, совершенно лишена камуфляжа, а потому с позиции апологетов и блюстителей советских догматов опасна и вредна. Книга эта выходит за рамки советской литературы также и по своим художественным качествам, и по тому глубокому философскому смыслу, который в ней заложен. Трудно определить её жанр — это и не басня, и не пародия, и не памфлет, а скорее философская сказка с точной проекцией на современную действительность.

Фабулу этой "сказки" составляет печальная история одного Задумавшегося кролика, посмеявшегося усомниться в силе гипноза удавов. Задумавшийся кролик приходит к выводу, что гипноз удавов не что иное, как страх самих кроликов. "Теперь я твёрдо знаю, — заявляет Задумавшийся своим братьям, — их гипноз — это наш страх, наш страх — это их гипноз!" После такого ошеломляющего заявления Задумавшегося, властям в той "южной-преюжной стране", где происходит действие романа, становится ясно, что "разработанная годами хитроумная система управления кроликами может рухнуть...". Держать племя кроликов в достаточно гибкой покорности Королю помогала, —

кроме внушенного гипнозом страха, — великая мечта о цветной капусте. Если в жизни кроликов возникали стремления, неугодные Королю, и если он не мог эти стремления остановить обычным способом, он, Король, прибегал к последнему излюбленному средству, и, конечно, этим средством была цветная капуста.

— Да, да, — говорил он в таких случаях кроликам, проявляющим неугодные стремления, — ваши стремления правильны, но несвоевременны. Потому что именно сейчас, когда опыты по выведению цветной капусты так близки к завершению...

После своего смелого открытия, что гипноз удавов не что иное, как страх кроликов, Задумавшийся приходит к другому — очень печальному — выводу: "Я всю силу своего ума, — говорит он своему последователю и ученику, кролику по имени Возжаждавший, — тратил на изучение удавов, но о том, что сами братья-кролики еще не подготовлены жить правдой, я не знал..."

Именно в силу этой психологии кроликов, в силу их неподготовленности жить правдой, великое открытие Задумавшегося приводит не к освобождению от удавов, а лишь к смене тактики пожирания кроликов — если раньше, при гипнозе, удавы заглатывали кроликов живьем, то теперь, когда гипнотический период кончился, удавы стали душить кроликов витками своих колец. Вряд ли кто из читателей Искандера не обнаружит аналогии в этой метаморфозе власти удавов с метаморфозой сталинизма.

Книга "Кролики и удавы" — это амальгама иронии и грусти, анекдотного остроумия и философских максим, то есть конкретных формул этических принципов. Примечательно, что Фазиль Искандер, несмотря на выбранную им форму хитроумной сказки про животных, не маскирует тем самым свои взгляды, а лишь придает им фольклорно-наглядный, поучительный характер — "сказка ложь, да в ней намёк, добру молодцу — урок". Крамольность же, по советским понятиям, этой книги вопиюще откровенна. Чего стоит, например, такой афоризм Задумавшегося: "Победа — это истина негодяев. Там, где много говорят о победах, там или забыли истину или прячутся от неё". В советской терминологии слово "победа" неразрывно связано со словом "коммунизм". "Победа коммунизма неизбежна" — главный лозунг страны Советов. Поэтому любому ясно, что имеет в виду Искандер, когда он говорит: "Победа — это истина негодяев".

Когда замечательный драматург-сказочник Евгений Шварц напи-

сал пьесу "Дракон", где образ "старика Дракоши" легко можно было трактовать как беспощадную сатиру на Сталина, советские критики перенесли акцент на антифашистскую и антивоенную направленность, которая якобы вытекает из подтекста пьесы. Смягчить антисоветскую направленность "Кроликов и удавов" очень трудно, если не невозможно, так как эта "направленность" не в подтексте, но заложена в самом тексте. Например, когда Король кроликов выступает перед своими полданными, его речь прерывают "бешеные аплодисменты Допущенных к Столу и стремящихся быть Допущенными". "По какой-то странной ошибке, — продолжает Искандер, — позднее во всех отчётах об этом собрании эти аплодисменты были названы "переходящими во всеобщую овацию". Комментарий, как говорится, к этой цитате не требуется, ибо в ней нет намёка, а только открытый текст. Никакого подтекста нет и в речи Возжаждавшего кролика, который сказал своим собратьям, что "надо, наконец, воспользоваться кроличьим законом, *которым кролики почему-то никогда не пользуются, и при помощи голосования узнать, не собираются ли кролики переизбрать своего Короля*".

Кроме положительных героев — кроликов Задумавшегося и Возжаждавшего — в книге есть много и других интересных и ярких аллегорично-реалистических образов. Реалистических — потому, что Фазиль Искандер не очень-то старается упрятать прообразы своих сказочных персонажей под аллегорической маской. Так, например, один из его героев — кролик Поэт, хотя и является как бы собирательным образом придворного поэта, в основе своей имеет конкретные и даже биографические черты "пролетарского" писателя Максима Горького. Несомненно, Фазиль Искандер читал мемуары Владислава Ходасевича. Описание Ходасевичем Максима Горького не только перекликается, но чуть ли не цитируется Фазилем Искандером, когда он описывает судьбу и внутренние душевные противоречия своего героя кролика Поэта. Искандер пишет: "В характере Поэта причудливо сочетались искреннее сочувствие всякому горю и романтический восторг перед всякого рода житейскими и природными бурями... Поэт ужасно любил воспевать буревестников и ужасно не любил горевестников. Увидит буревестника — воспойт. Увидит горевестника — восплачет. И то и другое он делал с полной искренностью и никак при этом не мог понять, что воспевание буревестников непременно приводит к появлению горевестников".

Благодаря своей безупречной службе Королю кролик Поэт ожидал

БИБЛИОГРАФИЯ

получить звание первого королевского Поэта. "Такое звание при жизни, — поясняет Искандер, — ему ничего не давало, потому что у него уже было все, но после смерти давало ему право на захоронение в Королевском Пантеоне среди самых почётных кроликов королевства". У Ходасевича же о Горьком сказано, что "двойственность его отношений ко всему, что связано было с советской властью" сочеталась с явным желанием пойти на сближение с этой властью: "ему хотелось дать себя обмануть... потому что какова бы ни была тамошняя революция — она одна могла обеспечить ему славу великого пролетарского писателя и воля при жизни, а после смерти — нишу в Кремлёвской стене для его урны с прахом". Более того, — Ходасевич пишет, что сын Горького опекался лично Феликсом Дзержинским и служил в Чека, а у Искандера сын Поэта кролика был работником Королевской охраны, и, как кролик, "приобщённый к тайнам охраны, не имел права иметь родственников удалённых или тем более *добровольно удалившихся* за границу Двора".

Сказка "Кролики и удавы" заканчивается вопреки канону "стали жить-поживать и добра наживать" — как обычно заканчиваются все сказки — на грустной ноте: самопожертвование Задумавшегося ничего по существу не изменило в королевстве кроликов, не подготовленных жить правдой. В авторском заключении Искандер пишет: "Я заметил, что некоторые люди, услышав эту историю кроликов и удавов, мрачнют. А некоторые начинают горячиться и доказывать, что положение кроликов не так уж плохо... Я предпочитаю слушателя несколько помрачневшего. Мне кажется, для кроликов от него можно ожидать гораздо больше пользы, если им вообще может что-нибудь помочь".

Фазиль Искандер не даёт никаких рецептов "перестройки" государства кроликов и удавов. Его сказка — лишь печальный документ эпохи.

Юлия Троль

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

и

Е. Л. МАГЕРОВСКОГО



В 1983 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена на 1983 год 24 доллара
(за 4 книги)

Цена одной книги — 7 долларов
Во Франции — 30 франков



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и сре-
дам, от 10-ти до 12-ти час дня
